

Алексей Макушинский

Пароход в Аргентину

Роман

Глава 1

O welcome, Messenger! O welcome, Friend!
A captive greets thee, coming from a house
Of bondage, from yon City walls set free,
A prison where he hath been long immured.
Wordsworth¹

Когда советская власть, к несказанному нашему изумлению, начала колебаться и внезапные дыры обнаружались в проржавевшем железном занавесе, я отправился в свое первое заграничное путешествие, осенью 1988 года, сначала поездом до Парижа, где прожил месяц, оттуда на попутной машине во Фрейбург, затем в Констанц, в Мюнхен,

¹ Здравствуй, вестник! Здравствуй, друг! Пленник, вышедший на волю из тюрьмы, из-за стен вон того города, где так долго он был заточен, приветствует тебя. *Вордсворт (Здесь и далее - перевод автора)*

обратно в Констанц, из Констанца и снова на попутной машине в Дюссельдорф, из Дюссельдорфа, наконец, в Кельн, где снова сел в поезд, возвративший меня в Москву. Этот второй поезд я помню смутно, зато первый поезд, поезд – туда, в неведомые земли, в свободный мир, запомнился мне на всю, наверное, жизнь – хотя кто может поручиться, что не потеряет со временем свои самые лучшие, самые яркие воспоминания? Однажды записанные, они получают все же чуть больше шансов не погибнуть под завалами того забвения, которое, как песок, замечает любую жизнь, мою в том числе. Пустыня растет, die Wüste wächst, писал Ницше... Из трех человек, провожавших меня на Белорусском вокзале, двоих уже нет на земле. Мы стояли все четверо, на, или так мне помнится, залитой золотым осенним светом, хотя и, конечно, заплеванной, в бумажках и окурках, платформе, причем я, уезжавший, хотя еще и не навсегда, но все же так, как если бы этот еще предварительный и в известном смысле случайный отъезд уже намекал на какое-то другое, окончательное, непоправимое расставание, стоял уже словно сам по себе, лицом ко всем остальным, уже отделенный от них невидимой, но отчетливою чертою – что тут же и было отмечено ироничнейшим и, наверное, проницательнейшим из участников процедуры – и затем вскочил в поезд с той беспечной легкостью, которую мы так охотно напускаем на себя в молодости, подчеркивая нашу готовность к приключениям и авантюрам, мнимые будущим, отбрасывая прошедшее, расставаясь легко, уезжая в синюю даль. Жизнь, скажем просто, лишь понемногу и постепенно превращается из обещания в сожаление.

Был, разумеется, проводник в этом поезде, еще тот советский проводник международного вагона, тот профессионально безликий проводник, иными словами, в котором весь опыт подневольной жизни приучил нас видеть агента охраны, почему и полагалось его задабривать возможно более щедрым *на-чаем* – он же и в самом деле не скупясь снабжал всех желающих в течение всего пути классическим железнодорожным чаем в стакане с подстаканником и двумя плоскими кусками сахара с кремлевскими башнями на обертке – неизменный атрибут русского путешествия, одна из уютнейших вещей на земле; вот под предлогом оплаты этого самого, еще не заваренного, не выпитого чая и следовало дать ему рублей десять, а то и все двадцать пять (*всучить четвертной,*

говоря языком эпохи), каковая простейшая форма подкупа судьбы и *гебни* имела, впрочем, больше смысла, если вообще имела его, по дороге обратно, когда в чемодане у просвещенного путешественника могли оказаться драгоценные ИМКА-прессовские или ардисовские издания, трехтомник Мандельштама, «Вехи», Бердяев, Замятин; подкупленный же тобой проводник указывал, как считалось, пограничникам и таможенникам в Бресте не на твое купе, а, например, на соседнее, чтобы они его, значит, *шмонали*. В 1988 году пограничников и таможенников уже интересовали, впрочем, лишь материальные ценности, магнитофоны и синтезаторы, на книги почти уже и не смотрели они (в духовном смысле, следовательно, опережая эпоху, перескочив через перестройку напрямик в девяностые годы). Но и по дороге туда хотелось все-таки избежать *шмона* – от которого врученный (*всученный*) проводнику *четвертной* меня и в самом деле избавил, так что, переждав в Бресте бесконечную смену колес – поднятый с русских рельсов, вагон, я помню, все висел и висел в воздухе, в ничейном и абстрактном пространстве, прежде чем опуститься на европейские, – я уже спокойно мог, точнее – мог бы, ехать по скучной и плоской Польше, целый долгий день, не обошедшийся, увы, без скандальчика, принесший другие волнения. Не знаю, существуют ли до сих пор такие вагоны и такие купе; в ту, теперь уже историческую, эпоху международные вагоны, почти незнакомые простым советским гражданам, были ниже обычных и состояли из узеньких отсеков с двумя полками – одна над другой – и креслом у противоположной стены; рядом с креслом была дверь в пропахшую дешевым мылом умывальную комнатку, которую обитатели одного купе делили с обитателями другого, и как не вспомнить тут рассказ Бунина, в котором героиня, в волшебном каком-нибудь одиннадцатом году уезжающая с любовником за границу, переходит из одного купе в другое через вот такую же комнатку (в Совдепии, как это ни странно, ни грустно, еще сохранялись какие-то последние, драгоценные отзвуки прошлого – тут же и окончательно отзвучавшие, как только Совдепия рухнула). Героиню, как мы помним, другой любовник, австрийский писатель, застрелил потом в Вене... Купе были первого и второго класса, причем первый превращался во второй, если к двум пассажирам прибавлялся третий, спавший на откидной полке, днем прикрепленной к

стене между полками верхней и нижней, на ночь откидывавшейся и повисавшей на подозрительно потрепанных, засаленных, холщовых ремнях; три пассажира спали, следовательно, друг над другом, как, наверное, спят в трюме океанского какого-нибудь парохода (плывущего, например, в Аргентину...) самые бедные, бесправные пассажиры. Разница в цене между первым и вторым классом была, кстати, довольно ничтожной. Совершались, однако, какие-то смутные перемещения и перестановки; кто-то почему-то переходил из купе в купе, из вагона в вагон; что-то явно выдумывали, к собственной выгоде, как это вообще им свойственно, проводники. Я ехал сначала не помню с кем, затем почему-то один, затем, уже в Польше, в купе оказался немолодой, бородатый, высокий и важный, взмыленный и наглый грузинский художник, которого я уже и до того видел перетаскивающим из вагона в вагон свои огромные, запакованные в серо-желтую бумагу и грязной бечевкой перевязанные картины, чемоданы, баулы, коробки, с помощью другого, тоже бородатого, и по виду тоже художника, но ростом и рангом пониже, да и бородою поуже, и в сопровождении хорошенькой французской жены с нетихим младенцем, парфразируя Боратынского, на руках. А, это вы с нами едете? спросил художник, воззрившись на меня с таким видом, словно его в высшей, самой высшей, он даже не может сказать, сколь высокой степени удивляет присутствие здесь какого-то очкарика с французской книжкой в руках. Скорее вы со мной, сказал я, отрываясь от Шатобриана. Запахло, в самом деле, скандальчиком. Пропуская в купе всю свою свиту со всеми баулами, всеми картонками, коробками и картинами – уезжали они, видимо, навсегда, – художник потребовал опустить откидную третью полку, чтобы на нее, значит, все это и поставить; я заметил, что мы не в теплушке и что вообще-то я заплатил за первый класс. Запах скандальчика делался все сильнее. В Гражданскую войну и не так ездили, *потерпишь*, ответил художник. Довольно опрометчиво возразил я, что Гражданская война по моим сведениям закончилась и что мы с ним не переходили на ты. Вмешалась француженка. Лак цивилизации (*de la civilisation*) удивительно легко слезает с представителей (представительниц) просвещеннейшей нации, когда что-нибудь им не по ребру. Четвертной, накануне врученный и всученный безлико-угодливому проводнику,

возымел свое действие; переселившись с его помощью в другое купе, где чудесным образом обнаружилось свободное место, вполне приятно провел я остаток дня в разговорах с довольно даже хорошенькой, в кудряшках, веснушках, хотя и насквозь прокуренной, с желтыми страшноватыми пальцами, молодой женщиной (ее пальцы были старше ее самой лет на тридцать...), работавшей, как выяснилось, монтажером на киностудии «Мосфильм», где я и сам когда-то проработал полгода помощником режиссера («хлопушкой») – один из безумнейших и, пожалуй, бессмысленнейших эпизодов моей, как, наверное, и всякая другая, безумной и бессмысленной молодости, – так что нам и в самом деле было о чем, о ком поговорить (посплетничать) с ней, сидя в купе, с проплывавшей за окном плоской Польшей, или выходя курить в тамбур, где затхло пахло всеми выкуренными в нем сигаретами, всеми погашенными, раздавленными, в особенное ведро брошенными окурками, и плоская Польша проплывала в грязно-сумеречном, закопченном окошке, – тамбур, в который моя попутчица благородно удалилась без меня, поздно вечером, после того, как мы пересекли отвратительную польско-гедезровскую границу – Раßkontrolle! и фонарем прямо в морду, – проехали невнятную восточную окраину страны реального социализма, обреченного вскоре погибнуть, проехали страшный, темный, как будто брошенный всеми, и людьми, и даже призраками, Восточный Берлин, после очередного Раßkontrolle въехали, наконец, в сияющий всеми огнями свободы Берлин Западный, и за окном на платформе обнаружился мой старинный приятель Манфред Л. с бутылкой шампанского «Мумм» в левой и двумя – крест-накрест – тонконогими бокалами в правой руке, каковое шампанское мы с ним и выпили на коротком перегоне между станциями Berlin-Zoo и Berlin-Wannsee, где, перед новым впадением поезда в темноту Ге-де-эрии, он сошел, я же еще минут пять – поезд почему-то не отправлялся – наблюдал из окна, как объясняется он с неизвестно откуда возникшим на совершенно пустой платформе железнодорожным чиновником, почему-то пожелавшим у него проверить билет. Манфред, тогда еще молодой, в потертой кожаной курточке и смешнейших желтых штанах, одной рукой, со все теми же и так же скрещенными бокалами в ней, маша мне, другой свободной рукою все показывал чиновнику, что он

билет уже выкинул, точнее – как он выкинул этот билет, вполне, конечно, гипотетический: через плечо, лихим и быстрым взмахом покрасневшей на вечернем ветру руки, с марионеточной быстротой вновь и вновь вылезавшей из короткого, съезжавшего вниз рукава его кожаной курточки; когда поезд, наконец, тронулся, Манфред все стоял и махал, одной рукой мне, влево вправо, другой через плечо для чиновника, явно ему не верившего, но упорно шарившего глазами по платформе, в надежде, может быть, все-таки обнаружить там этот билет, давно и навсегда унесенный железнодорожным ветром воображенья.

Наутро в окне был уже Кёльнский собор; затем пошла Бельгия, в золотом и багряном полыхании осени показавшаяся мне такой прекрасной, какой никогда уже впоследствии не казалась, и поезд тихо, уже никуда не спеша, не раскачиваясь, окончательно распроставшись с русской манерой постукивать на стыках рельсов, плыл вдоль каких-то каналов, или вдоль Мааса, уже не помню, с полыхавшими на солнце кирпичными домиками на другом берегу; и на каких-то станциях, где на мгновение мы останавливались, веселые железнодорожные рабочие, все как один сидевшие на скамейках, явно бездельничавшие, или курившие, или поедавшие свои бутерброды, вынимая их из фольги, тоже и в свою очередь поблескивавшей на солнце, кричали стоявшим у вагонных дверей, после въезда в свободный мир тоже как будто подобревшим проводникам, *ça va? ça va?* как дела, мол? и проводники, переглядываясь друг с другом, добродушно-презрительно указывая друг другу на дураков-иностранцев, кричали в ответ: *сова, сова, филин, филин...*, такое удовольствие получая от собственного нехитрого юмора, что один из кричавших оттуда, с той стороны невидимого, уже дырявого, но еще очень железного занавеса, тоже, в конце концов, стал кричать в ответ что-то вроде: *philine, philine...*, полагая, по-видимому, что это по-русски значит: *привет*, или *пока*, или, быть может, *пошел ты...*, и менее всего думая, конечно, о незабвенной Филине из «Годов учения», о которой я, невольный свидетель всей сцены, уже не мог не думать в продолжение пути, не только потому, разумеется, что считал в ту пору «Годы учения» самым главным европейским романом и перечитывал постоянно, но прежде всего потому, что и сам еще, в свои тогдашние двадцать восемь лет, на исходе юности, чувствовал себя –

не подозревая, что очень скоро перестану себя так чувствовать, – героем «романа воспитания», Вильгельмом Мейстером, отправляющимся в путешествие, на поиски приключений и себя самого, готовым к встрече с любой Филиной, Миньоной, Наталией, с арфистом, Лаэртом и Ярно, участником большого осмысленного движения, в котором все диссонансы, так скажем, обязательно разрешатся когда-нибудь – уже скоро! – всеохватывающей, всеоправдывающей гармонией; и поскольку вагон наш, прицепляемый все к новым и другим поездам, оказался последним, долго, я помню, стоял в заднем тамбуре, глядя на убежавшие, пропадавшие, как бы падавшие куда-то за нами и по-прежнему залитые солнцем холмы, величественно полыхающие леса, сказочный замок и еще один, не менее сказочный; и впоследствии, вернувшись из путешествия, так часто воображал себе, что было бы, если бы я – или *кто-нибудь* – сбежал и выпрыгнул, к примеру, из поезда, или просто сошел на станции, посреди этого мифологического ландшафта, этой кем-то придуманной Бельгии (начало *авантюры*, в средневековом и рыцарском смысле; герой, пускающийся на поиски себя и Грааля...), так часто воображал себе все это, что в конце концов, года, наверное, через два, увидел все это во сне, в одном из тех ярчайших, важнейших снов, каких нам немного отпускается за жизнь, каких в моей жизни было, может быть, только два или три, и в этом сне, когда я пытался открыть заднюю дверь, за которой все так же уносились и уносились в небытие мифологические холмы, возник у меня из-за спины проводник, остававшийся во сне таким же безликим, каким был наяву, и вежливо, вкрадчиво попросил меня дверь не трогать, открыть ее у меня все равно не получится, а главное – он, проводник, обязался и, значит, непременно должен довести меня до, почему-то сказал он, Лютеции, в которую я к тому же и сам ведь хочу попасть, и правильно делаю: Лютеция, сказал проводник моего сна, окончательно переходя на латынь, величайший и прекраснейший на земле город, *Lutetia Parisiorum*, сказал и повторил проводник, *urbs grandissima atque pulcherrima est*.

Глава 2

I have come to the borders of sleep,
The unfathomable deep
Forest where all must lose
Their way, however straight
Or winding, soon or late;
They cannot choose.

*Edward Thomas*²

Я познакомился с Вивианой на третий или четвертый день моего пребывания в Лютеции; мне кажется, мы с первого взгляда не понравились друг другу. М., мой бесконечно дальний родственник, внук сбежавшего в свое время от большевиков двоюродного брата моей бабушки, свел меня с неким Пьер-Полем, а Пьер-Поль уже с Вивианой; все они занимались, смешно сказать, комиксами, с комической, в самом деле, серьезностью относясь к занятию своему. Пьер-Поль, с которым в день знакомства моего с Вивианой сидели мы в относительно, по парижским меркам, дешевой, шумной и проходной пиццерии на углу, если память меня не подводит, площади Сен-Мишель и набережной des Grands-Augustins, был маленький быстрый бретонец, всегда готовый к отпору, к сарказму, весь жилистый, мускулистый, с красивыми движениями худых узловатых рук; рисовал он своих суперменов, угловатых уродцев и ресницехлопающих красавиц так же быстро, зло, иногда не без блеска; из разговора с ним, из разговоров с другими понял я, что мир комиксов, по-французски называемых рисованной лентой, *bande dessinée*, или, в сокращении, *BD* – страсть к снобистским аббревиатурам владела Парижем в ту пору, – что этот дотоле совершенно незнакомый мне мир, поближе познакомиться с коим я, следует признать, не особенно и стремился, что мир этот имеет своих героев, своих гениев, своих святых, подвижников и предателей, своего Шекспира, своего Данте, своего Рафаэля, свои неподражаемые американские образцы и убогие европейские копии, свой авангард и своих консерваторов, своих бунтарей, своих главарей. О каком-то Луиджи с итальянской фамилией говорили они так, словно это был не Луиджи, а Леонардо, и рисовал он не супермена с бэтменом, а Джоконду и Тайную Вечерю; все они, и этот итальянец, с

² Я подошел к границам сна, к границам непостижимо глубокого леса, где все рано или поздно обречены заблудиться, каким бы ни был их путь, прямым или извилистым; у них нет выбора.
Эдвард Томас

которым я познакомился после, и Пьер-Поль, и Вивиана, и М. жили не только в своем комическом мире бэтменов-суперменов, карикатурных призраков, закованных в броню негодяев, во все стороны палящих из гипертрофированных револьверов, походов Джека на Марсе и Боба в Стране Сбывшихся Снов, обведенных кружками выкриков, проклятий, объятий, углов и изломов, грозных гримас и ужасных улыбок, фантастических городов и гомерических небоскребов, валящихся прямо на вопящих мышках, или котятках, или древних римлян, почему-то перелетевших в стеклобетонное будущее, не только в этом сказочном и комическом мире жили мои приятели, но вообще в мире, казавшемся мне столь же ненастоящим, как их комиксы и вампиры, мире очень парижском, конечно, но все же странно далеком, или так мне казалось, от того Парижа, который тек, искрился, кричал, шептал и горланил на всех языках этой послевавилонской земли за окнами нашей, например, пиццерии. Этот мир, в котором с упоением жили они, был отчасти мир моды, отчасти мир *андерграунда*, тоже как бы переходящего в моду. Собственно, причастность к этому миру – вот что, как я вскорости понял, ценилось в нем всего более. Надо было в самую первую очередь быть причастным, быть своим, быть подключенным, включенным, *branché*, то есть включенным в игру, подключенным к тем незримым и живительным источникам энергии, которые даруются участием в игре и в то же время даруют силы участвовать в ней. Словечко *branché*, тогда и по-прежнему модное, и означает, собственно, подключение к электрической сети; словечко это было, впрочем, тогда еще модно переворачивать, переставляя в нем слоги, *branché* превращая в *chébrun* – страсть не только к аббревиатурам, но и к хулиганской перестановке слогов владела в ту пору Парижем. Получался особенный язык, которому я с удовольствием учился в мой первый парижский приезд, язык, называемый, вернее – сам себя называвший и называющий *verlan* – перевернутое *l'envers* («наоборот»). В сущности, это очаровательно, казалось мне, и Верлен где-то рядом... Другое словечко, которому тут же научили меня новые мои приятели, словечко для них необыкновенно важное, было – *BCBG*, или *bécébébé*, аббревиатура от *bon chic bon genre*, что мы (примерно) переведем как «шик и стиль». Все шикарное, все стильное должно быть у счастливыхчиков, подпадающих под это определение,

ботинки от Bally у мужчин и у женщин сумочки от Hermès. Это не совсем то же самое, что branché, хотя одно с другим, разумеется, связано. Быть branché (или даже, черт побери, chébrun) можно с помощью двух или трех шарфов, лихо повязанных один поверх другого (вообще, «Париж – это шарф», по незабываемому определению одной остроумной дамы); для ВСВГ (bécébégé) требуется уже совсем иная материальная база, которой ни у кого из моих приятелей и приятельниц не было. Branché они, значит, были; bécébégé быть стремились; так, кажется, и не стали. Все это можно было бы принять, полюбить, если бы не слишком очевидная неискренность, слишком часто проскальзывавшая в их словах и намеках, быстрых взглядах, скрытых улыбках. Им было мучительно важно, кто как одет, кто как себя ведет, кто как ест, кто с кем знаком, кто какие имена называет, но ни за что, ни под какими пытками не признались бы они, что это им важно. Царственную небрежность, равнодушие к мелочам жизни, достойное любого небожителя, аскета или святого, разыгрывали они передо мной и собой, на самом же деле следили за этими мелочами косым, внимательным, недоброжелательным взглядом, так что когда в упомянутой пиццерии на углу набережной и Place Saint-Michel я, отлично справлявшийся до тех пор с советскими серыми макаронами, но не имевший еще ни малейшего опыта по наматыванию на вилку спагетти, сделав опрометчивый заказ, очутился сидящим перед огромной тарелкой этих самых, причем длиннейших, спагетти, плававших в омерзительно хлюпком и брызгучем помидоровом соусе, Пьер-Поль не только отказался помочь мне добрым советом в деле гастрономической европеизации впервые вырвавшегося на волю бывшего ученика средней общеобразовательной школы номер такой-то, но произнес, с типично французскими, как будто отстраняющими что-то движениями своих красивых жилистых рук, небольшой монолог на тему о ничтожестве всего земного, сам при этом, понятное дело, быстрым, острым, поблескивавшим от наслаждения глазком следя за моими faux-ras, как бы внутренне кивая им и поддакивая, ничего другого, мол, и не ждали мы от русского медведя, ours gusse, довольный ими, как все мы бываем довольны, когда ожидания наши оправдываются и надежды сбываются; появление Вивианы положило конец моим мукам.

Она не собиралась ужинать с нами, она пришла, чтобы выпить кофе, поговорить с Пьер-Полем о деле – и затем бежать дальше, куда-то на Монпарнас. Ей было в ту пору уже, но немного еще за тридцать; красивой она не показалась мне; хотя нетрудно было себе представить, какой успех имеют у каких-то других мужчин, увы, не у меня, ее выдающиеся смуглые скулы, впалые щеки, черная челка. На меня и мои еще не совсем доеденные спагетти тоже зыркнула она диким, косящим, как у кобылицы, взглядом; что-то породисто-дикое было, пожалуй, во всем ее облике. Branché и chébrun была она при всем при том в такой степени, о какой ее приятелям и мечтать, наверно, не приходилась; вся была в шарфах и цепях; всегда в том особенном возбуждении, которое дается подключением к электричеству моды, источникам шика. Она же и занималась, помимо пресловутых комиксов, модой; рисунками для модных журналов; собственными какими-то фасонами (les créations de Viviana). Ее зовут Вивиана с ударением на последнее «а», можно и на первое, ей все равно, но ни в коем случае не Viviane, не Vivienne. Кто называл ее Viviane и Vivienne, тот был, очевидно, ее враг на всю жизнь. И не Vivonne, вставил я. Такого имени вообще нет, непонятно, что я имею в виду. Так Пруст назвал речку, протекавшую сквозь мифологический ландшафт его детства... По наступившему молчанию я понял, что лучше мне было не говорить этого. Viviana, короче, Viviana Vosco, вот так, не иначе. Viviana – имя испанское, с другим ударением. Она испанка? Нет, француженка, ответила она очень решительно, зыряка диким глазом. Ее мать испанка, точнее латиноамериканка, еще точнее аргентинка. А отец русский, Alexandre Vosco (имя, по тогдашнему невежеству моему, мне ничего не сказавшее, смешно даже вспомнить...), на самом деле – Александр Николаевич Воскобойников (Alexandre Nikolaevitch Voskoboïnikoff). Тут уж я не мог удержаться, я помню, от смеха. Что здесь смешного, она не понимает. Ее отец, Александр Николаевич Воскобойников, превратился во Франции в Alexandre Vosco, вот и все тут, и смеяться тут нечему. Да нет, я только рад, сказал я. Я же понимаю, что ни один француз фамилию Voskoboïnikoff выговорить не в состоянии... Вот это верно, заметил Пьер-Поль. Она родилась в Буэнос-Айресе, ее родители переехали, если угодно – вернулись, в Париж, когда ей было три года. Она не говорила, как

выяснилось, ни по-русски, ни по-испански; при аргентинской маме и русском папе, ее единственный шанс стать француженкой, или так казалось ей, когда она училась в лицее, заключался в том, чтобы как можно скорее забыть и тот язык, и другой, хотя и на том, и на другом родители говорили с ней в детстве. Удалось ей это так хорошо, что теперь, кроме слов *couritsa*, *capousta* и *avtostrada*, она ничего по-русски не помнит. Расплатившись, мы пошли все втроем по узкой и людной rue Saint-André des Arts, мимо еще и еще каких-то ресторанов и столиков, мимо того дома, где жил в детстве, впрочем совсем недолго, Бодлер, куда его мать переехала с ним после смерти его отца, чтобы вскорости выйти замуж за генерала (в то время еще не генерала) Опики (Aurick) и вновь переехать (на rue du Bac), каковые переезды можно считать прообразом и предвестьем его грядущей бездомности, а замужество матери, по единогласному и неизменному утверждению всех биографов, – первой большой катастрофой в той серии катастроф и несчастий, к которой свелась, в конечном итоге, жизнь любимого нашего, мне в Париже на каждом шагу приходящего на память поэта... Мы затем еще раз встретились с Вивианой в какой-то большой компании (недалеко от считавшегося тогда еще новым Центра Помпиду, с его пресловутыми трубами и прочими внутренностями, вынесенными наружу; мечта о динамите рождается в душе моей всякий раз, когда я его вижу); говорить с ней мне было, в сущности, не о чем. Тем более я был удивлен, когда она вдруг пригласила меня, вместе со все тем же Пьер-Полем, все тем же моим бесконечно-дальним родственником М., еще с кем-то, на ужин к себе домой, между делом и как бы в придаточном предложении сообщив мне, что пригласила и своих родителей, по их просьбе, поскольку ее отец, Alexandre Vosco, он же Александр Николаевич Воскобойников, уже несколько десятков лет не выдавший ни одного человека *оттуда*, тоже хочет со мной познакомиться.

Глава 3

Ein Zeichen sind wir, deutungslos.
Hölderlin³

³ Мы – знак, не поддающийся толкованию. Гельдерлин

Мне было двадцать восемь лет, как уже сказано, я впервые вырвался на вожделенный Запад, в страну святых или совсем не святых чудес, и почему не признаться, что «Макдональдсы» и «секс-шопы», джинсы и пиджаки, парижский шик, *chic parisien* (*chic parisien*, мсье, сказала мне рассерженная маленькая продавщица, которой надоел я своими поисками гармонии дешевого и прекрасного, *chic parisien*, мсье, начинается с тысячи франков...), большие магазины возле Оперы, *Galerie Lafayette* и чудесный английский *Marks and Spencer* (ответ пижона Марксу и Энгельсу...) – что все это занимало меня если не больше, то уж точно и не меньше, чем Нотр-Дам и Версаль, Монмартр, *Musée d'Orsay*, или – что обидней всего – возможность встретиться и поговорить с теми исчезающими людьми, которых в мой следующий, к примеру, приезд, в 1994 году, в отличие от Нотр-Дам и Версаля, уже не было на земле – или они так за это время состарились, что уже стало им не до наших вопросов. Я не понимал, короче, в свои глупейшие двадцать восемь, что это мой последний шанс, что еще живы, но будут живы уже недолго, последние эмигранты, еще знавшие и, как сокровище, сберегавшие в себе потонувшую Атлантиду. Александру Николаевичу Воскобойникову, в тот единственный, чего не могу простить себе, раз, когда я встречался и разговаривал с ним, было, если я правильно считаю теперь, семьдесят семь лет; выглядел он прекрасно (на семьдесят...). Скорее он выглядел так, что я вообще не подумал об его возрасте. Моему собственному отцу, когда я родился, было почти пятьдесят; я всю жизнь считал себя поздним ребенком. Вивиана была, следовательно, ребенком еще более поздним... Никак не могу вспомнить теперь, где она в ту пору жила; помню только, что мы мучительно долго ехали к ней с Пьер-Полем, мучительно долго пересаживались на *Châtelet*, скорее даже не пересаживались, но застряли в этом ужаснейшем из парижских подземелий, на переполненной платформе, в еще не панической, но уже звереющей давке, поскольку поезд, из-за, кажется, забастовки, запаздывал, или вообще поезда отказывались ходить, или только раз в полчаса, сжалившись, куда-нибудь шли, на станцию же, в час пик, толпа набилась такая, что было уже не уйти и не выйти, но можно было только стоять и стоять, переминаясь с ноги на

ногу, в надежде, что поезд все-таки придет, наконец, но без большой надежды в него втиснуться, если придет он, стоять и стоять так, в этой равнодушно-мрачной, все более мрачной толпе, сжимавшей тебя со всех сторон и боков, пыхавшей тебе табачным дымом прямо в ошалевшую морду – в парижском метро тогда еще можно было курить; – и надо всем этим, подобно трем Ниагарам, ревели три сумасшедших рок-бэнда, с изуверской основательностью расположившиеся на обоих концах и посредине платформы, со всеми своими динамиками, ударниками, шнурами, электрогитарами, причем дело явно не шло уже о собирании добровольной дани с обезумевшей публики, которая с радостью, наверное, заплатила бы им всем, чтобы они, наконец, заткнулись, но о том и только о том, чтобы перереветь друг друга, заявить о себе, удостоверить свое существование в подземном и просто мире, в металлическом хаосе, в электрических вихрях; к Вивиане, в конце концов, приехали мы с часовым опозданием, в мыле и злобе, разобранные на детали, части, отдельные винтики.

Шестидесятипяти- или шестилетняя в ту пору, еще очень красивая, Мария Воско, *me Marie Vosco*, вторая, как я впоследствии выяснил, жена А.Н.В. и мать Вивианы, являла собой тот ярко выраженный испано-латиноамериканский тип женщины, в котором почти античная правильность лица и фигуры сочетается с хрипловатой живостью интонаций, внезапной резкостью жестов, вообще с какой-то подростковой, угловатой ужимкой, выводящей такое лицо, такую фигуру из опасной близости к маске и статуе. На ней, я помню, был синий блейзер с золотыми пуговицами и спортивно-теннисною нашивкой на нагрудном кармашке, приподнятом ее высоким и полным бюстом; блейзер, не совсем, показалось мне, сочетавшийся с повязанной поверх белой блузки пестрой косынкой; курила она, отодвигая от себя руку в кольцах, длинные тонкие пахитосы, вставленные в короткий мундштук. А.Н.В. тоже был в блейзере, без всякой нашивки, в шейном платке с классическими загогулинами, индийскими огурцами и, как я заметил, когда он легко, хотя и опираясь на трость, встал из-за стола, в вельветовых, потертых и под коленками пузырящихся брюках, при этом в явно очень дорогих и хороших рыжих ботинках, с классическим, опять же, узором из не до конца пробитых дырочек на острых носках; если

бы ему не было столько лет, сколько было, я подумал бы, что эти потертые вельветовые штаны с синим блейзером есть небрежность намеренная, небрежность как составная часть элегантности (как оно и было, конечно, в случае его еще совсем не старой жены); возможно, впрочем, что у него это была уже просто усталость, равнодушие к сиюминутной жизни с ее привычной, давно надоевшею чепухой. Равнодушия и усталости в нем, впрочем, почти и не чувствовалось; глаза были молодые, живые, с насмешливой, даже, пожалуй, шальной, искринкой, игринкой, только сплошь какие-то темные; зрачок почти сливался в них с радужкой, как если бы художник-импрессионист рисовал эти глаза, презирая линии, работая только цветом (побочное, может быть, следствие глазной операции, перенесенной им незадолго до этого). Был при этом темноволос, даже почти не сед, с едва наметившимися залысинами; говорил с легкой задержкой, заминкой, не доходившей, впрочем, до заикания, как бы вдруг задумываясь над каким-нибудь случайным словом, предлогом или союзом, сам не зная, стоит ли произносить его или выбрать какой-то другой союз, другой какой-то предлог. Нос у него был во всех смыслах выдающийся, массивный, горбатый, уверенный в себе, чуть расплющенный на конце. Он сам был роста не огромного, но все же очень внушительного; был не толстый, но весь какой-то широкий, с широкими плечами, широким лицом, широкими ладонями, даже широкими пальцами; сидя во главе стола, возвышался над всеми, смотрел на всех на нас сверху вниз, и явно с привычкой смотреть сверху вниз, немного как на детей – а мы и были, наверное, детьми для него, – и с очень доброжелательной, но все же усмешкой, от сплошных темных глаз спускавшейся к подбородку в каких-то, я подумал, благородно-собачьих складках. Лицо его назвал бы я, пожалуй, простецки-породистым; не исключаю, впрочем, что многочисленные его фотографии, которые довелось мне видеть впоследствии, накладываются теперь на это первое и единственное мое воспоминание о нем.

Он не курил. Как выяснилось, он вообще никогда не курил – свойство души и характера (с легкой заминкой сказал он), которое Вивиана у него унаследовала. Все прочие курили, и много курили; с тех пор все, кажется, бросили. Пачка «Столичных», извлеченная

мною из кармана, произвела должное впечатление. Мой бесконечно дальний родственник М. долго вертел в руках сигарету, мял ее, нюхал, наконец, закурил, постарался не поморщиться, сказал, что – очень интересно, *très interessant*. Для некурящего А.Н.В. *très interessant* была сама пачка. *Cigarettes*, сказал он, *сигареты*; он не знает такого русского слова, он знает только *папиросы*, *les papirosses*. Я объяснил ему разницу, как мы теперь понимаем ее. Мои объяснения не убедили его, показалось мне. Он все-таки знает только папиросы, *les papirosses*, повторил он, поворачивая широкими пальцами пачку, столь хорошо мне тогда знакомую (с кружком из звездочек посередине и виньетками в стиле сталинского рококо на отгибающейся крышке), рассматривая ее с тем сосредоточенным, отключающим все прочие звуки и впечатления вниманием, при котором мы словно выпадаем на мгновение из жизни и которое казалось мне в юности не единственной, но едва ли не важнейшей предпосылкой и любого художества, и вообще возможности эту жизнь как-то осознать и увидеть, следовательно, ее вынести. Это первая пачка русских папирос, которую он видит за очень долгие годы. Я предложил ее подарить ему. Только пачку, сказал он, содержимое не интересует его. Я не стал все-таки вынимать оставшиеся сигареты и куда-то их перекладывать, уже не чувствуя себя в силах курить продукцию фабрики «Ява» в прекрасной Франции, на родине «Голуза».

Из общего разговора понял я, между тем, что он архитектор (я сам, наверное, и не спросил бы его, чем он занимался в жизни, по тогдашней моей робости, тогдашнему равнодушию...), и даже знаменитый архитектор (известный, поправил он, не будем преувеличивать); я сказал на это, я помню, что как раз в тот день утром, в огромном – и слишком шумном для книжного магазина – книжном магазине на Елисейских полях рассматривал огромный же, и дорогуший, альбом, посвященный современной архитектуре и в нем наткнулся на не огромный, но все же большой раздел о *La Grande Motte*, курортном городе и порте, созданном в шестидесятых годах на пустом месте, на границе Камарга и Лангедока, архитектором Жаном Балладюром (*Jean Balladur*) – редкий, показалось мне, пример современной, отчасти марсианской, конечно, архитектуры, перед и посреди которой ты, наверное, не чувствуешь себя комиковым котенком в тени

всепобеждающих небоскребов. А.Н.В. рассмеялся довольным смехом, шальными глазами посмотрев на Марию. Он хорошо знаком с Балладюром, построившим этот *город у моря* (он, показалось мне, подчеркнул и выделил голосом что-то, но я не понял тогда, что именно); давно не видел его, года два; а вот сегодня утром тот как раз позвонил. Так всегда бывает, сказал он; жизнь состоит из таких совпадений. Madame Marie, я помню, кивнула, как будто подтверждая, что, да, позвонил, да, сегодня, да, состоит. И да, он тоже считает, что это архитектура удачная, соразмерная, скажем так, человеку, хотя среди здешних снобов и принято при упоминании о La Grande Motte презрительно кривиться и морщиться. Балладюр цитирует пирамиды, которые видел в Мексике; идея ему очень близкая, сказал А.Н.В.; потом, я помню, с непоказным удовольствием сосредоточился на приготовленном его дочерью ужине, на мой вкус почти несъедобном – какие-то вареные овощи, с преобладанием квелой морковки, плававшие в жидком бульоне – французское, будто бы, национальное блюдо...; когда ужин, к моему облегчению, закончился, когда уже и сыр был съеден, и традиционный, как раз очень вкусный, перевернутый яблочный пирог (*tarte tatin*) съеден тоже, и прочие участники сцены пересели на диван и в кресла, чтобы там продолжить свой вечный разговор о том, кто *branché*, кто не *branché*, а также – с истинно французской способностью и привычкой бесконечно долго, бесконечно всерьез говорить о еде – о том, кто как готовит вот этот самый *tarte tatin*, только что съеденный нами, и о том, что на углу улицы такой-то и такой-то, скажем, *rue Mouffetard* и *rue du Pot de Fer* (улицы железного горшка; вот название...) есть забегаловка (*brasserie*), где подают замечательный луковый суп, а вот в дорогой и знаменитый своим луковым супом ресторан возле *Les Halles* (бывшего Парижского чрева...) ходить как раз не надо, там только обманывают туристов и вообще дурят голову нашему брату, – когда, следовательно, разговор обо всем этом, с благосклонным, чуть ироническим участием *m-me Vosco*, продолжился на диване и в креслах, мы остались, наконец, с А.Н.В. одни за столом и перешли, наконец, на русский – вернее, он, чуть отодвинувшись от стола и ногу (в рыжем ботинке и в показавшемся из-за вверх поехавшей брючины длинном, в ромбах, в свою очередь съехавшем вниз и готовым собраться в складки носке...) закинув за ногу, вдруг

заговорил со мною на том чистом, без советских провинциальных примесей и мещанских ужимок, эмигрантском русском языке, на котором уже давным-давно никто не говорит, как известно, в России. Всю жизнь обречен я искать в себе этот русский язык, искать его, по крайней мере, вот здесь, на бумаге и в рабочих тетрадях. А.Н.В. знал со слов Вивианы, что я пишу что-то (роман); это был тот самый роман, который писал я с 1985 до 1994 года и в 1998 году опубликовал, наконец, под названием «Макс» (по имени главного в нем персонажа). Он спросил меня, где происходит действие; в согласии с истиной ответил я, что – в Москве, не очень, впрочем, похожей на Москву настоящую, скорее в Москве моего собственного изобретения и производства, а также, сказал я, в Прибалтике. Где в Прибалтике? тут же переспросил он. В самом романе, ответил я, это не сказано, но знающий человек догадается, что в Латвии, в одной из тех рыболовецких деревень, которые, не вплотную примыкая друг к другу, отделенные друг от друга прибрежным сосновым лесом, тянутся вдоль линии берега; чтобы попасть туда, к примеру, из Риги, надо проехать на электричке всю Юрмалу, пересесть на автобус в Слоке и довольно долго еще на нем ехать, по шоссе, в свою очередь тянущемуся вдоль линии берега, отделенному, впрочем, от моря все тем же сосновым лесом, ближе к берегу переходящим, разумеется, в дюны. Я потому, наверное, ответил так подробно, что чувствовал на себе его сплошной темный взгляд; не будь этого взгляда, ограничился бы простым указанием, что – в Латвии, что – у моря. Вы там жили, или живете? Я ответил, в согласии, опять-таки, с истиной, что каждое лето живу в такой деревне у моря, что в детстве жила подолгу в так называемом доме писателей в Дубулты, или Дубултах, как все всегда говорили, – это Дуббельн, тут же сказал он, – и что вообще вся моя жизнь как-то связана с этими местами, этим краем земли. Моя тоже, сказал он, на этот раз без улыбки. Он знает Дуббельн, ему ли не знать? Он жил в детстве в соседнем поселке, в Майоренгофе – это Майори, в мою очередь сказал я ему – да, в Майоренгофе, сказал он, не расслышав или не желая слышать моего замечания, каждое лето. Он родился и вырос в Риге, как выяснилось, в русской и немецкой семье. Отец был русский, а мать была балтийская немка. А он сам был одно время латыш, гражданин Латвийской республики. Он и учился, кстати, в рижском Политехникуме;

слышал ли я о таком? Я сказал, что слышал, но не знаю, где он находится. Там, где теперь должен быть университет, он ответил. Политехникум уже и был частью университета, когда он учился там. То же здание, очень величественное. Собственно, на бульваре Наследника, переименованном затем в бульвар Райниса, если вы знаете, кто это. Я знаю, сказал я. Я все свое детство смотрел на картину «Ян Райнис в горах», висевшую в библиотеке писательского дома в Дубултах (Дуббельне). Это здание Политехникума построил Густав Хильбиг, первый декан архитектурного факультета; мои родители еще были знакомы с ним, сказал А.Н.В., вновь беря в руки пачку «Столичных», рассматривая звездочки и виньетки. С одной стороны парк, с другой бульвар и канал. А маленькие улочки по бокам назывались одна – Архитекторская, другая – Инженерная; символы его жизни. Он может нарисовать это здание по памяти, вот сейчас. Что он и сделал, отодвинув «Столичные», вытащив из кармана пиджака черный блокнот и карандаш из какого-то другого кармана, быстрыми и легкими штрихами (Пьер-Поль, оторвавшись от разговора о tarte tatin и луковом супе, заглядывал ему через плечо); карандаш казался крошечным, ломким в его широких и плоских пальцах; оконные арки вырисовывал он с какой-то детской старательностью, одно окошко, за ним другое, в то же время словно посмеиваясь над своей старательностью, над собою самим. Он в детстве так много раз рисовал все это, что навсегда, конечно, запомнил. А восхитительный югендстиль на Елизаветинской улице, вы его знаете, вы там бывали? Мы там жили неподалеку... Помните синий дом с большими масками на фронте? Большими, повторил он, показывая руками что-то огромное, совсем большими, непропорционально, в сущности, большими барельефными масками по краям фронтона? Ребенком я прямо дружил с этими масками, нарочно ходил смотреть на них. Будете в Риге... непременно буду, сказал я... сходите и посмотрите. Михаил Эйзенштейн построил этот дом, между прочим, отец советского режиссера. Это он для вас, может быть, отец режиссера, вдруг вставил А.Н.В. с насмешливым вызовом, а для меня режиссер – сын великого архитектора. Он рисовал теперь в своем черном блокноте какие-то волнистые линии, вьющиеся узоры, абстрактные завитки... А статуя Свободы стоит еще? Он помнит, как ее ставили, в середине тридцатых годов. Он уже не жил тогда в Риге, он переехал в

Париж в конце двадцатых (он не сказал почему). А в последний раз был в Риге в тридцать девятом, перед самой катастрофой (он снова не сказал ни почему, ни зачем). В народе статую называли Милдой, сказал он только. И до сих пор называют, сказал я. А знаю ли я, как немцы ее прозвали, когда в сорок первом году опять вошли в город? Знаю, коньячной дамой, сказал я. Cognac dame, сказал он. А знаю ли я почему? Потому что три звездочки. Шутники были... Он вдруг засмеялся так громко и резко, что из кресел и с дивана повернулись к нам все, кто там был (марионетки, дернутые им за веревочки...); тут же, впрочем, возвратились к собственному своему разговору. Я эту шутку знаю с детства, сказал я. А между прочим, Сталина, когда он присудил сам себе третий по счету орден Ленина, называли «маньяк три звездочки», что было уж, наверное, поопасней, чем называть коньячной дамой рижскую статую Свободы. Об этом ему говорить не хотелось; хотелось, я видел, говорить еще о Риге, о Взморье. А в его детстве, сказал он без всякого перехода, были такие плетеные кабинки на пляже, очень узкие и высокие – он показал взлетевшими к потолку руками, какие узкие, какие высокие, – даже не кабинки, но такие скамейки, с трех сторон и сверху прикрытые прутьями от ветра и посторонних взглядов; потом они, конечно, исчезли. А богатых дам завозили в море прямо в каретах, море ведь было мелким – оно таким и осталось, сказал я, – вот они и ехали в этих каретах до глубокого места, карета поворачивалась, и дама, прикрытая ею, плюхалась прямо в воду... Глаза его были все такие же сплошные, темные, смеющиеся, живые; пачку «Столичных» не выпускал он из широких и бледных рук. У его родителей была дача в Майоренгофе, большая, двухэтажная, чудесная, деревянная, с мезонинами, с башенками, посреди сосен; теперь она сгорела, наверное. Может быть и нет, сказал я, там таких домов много. И был мальчик, говорил он, на меня не глядя, обращаясь к пачке «Столичных», с которым он дружил в детстве, играл на пляже каждое лето. Володя Граве звали этого мальчика. Они только летом дружили, этого Володю Граве привозили из Петербурга, родители его были богатые знатные люди, не чета моим, говорил А.Н.В. Мой отец служил на железной дороге. А его отец был чуть ли не доверенное лицо государя. И потому мои родители подолгу жили в Майоренгофе, а его только приезжали на две-три недели, а потом уезжали

в Биарриц или еще куда-то, в Швейцарию. Почему-то они часто ездили в Швейцарию, в Давос, или еще куда-то, у его матери было что-то, кажется, с легкими. А ему не хотелось никуда ехать, продолжал А.Н.В., уже явно разговаривая не со мной, но со «Столичными» и с собою, и потому, наверное, не хотелось, что я был его единственным другом, во всяком случае в детстве, или так мне казалось. Потом у взрослого, у него всегда было много друзей, и приятелей, и вообще людей вокруг него, а ребенком он был одиноким. Даже братьев и сестер у него, по-моему, не было. Так бывает, что одинокие дети, когда вырастают, становятся людьми самыми общительными, самыми, как теперь говорят (он поискал и нашел слово, после легкой запинки), самыми, вот, компанейскими. Может быть, это я все придумал себе, я не знаю. У меня-то друзей и тогда было много, а ближе все-таки не было никого. Расставались мы всякий раз патетически. А вот вы ни за что не догадаетесь, сказал он, глядя вдруг мне прямо в глаза, ни за что не догадаетесь вы, когда и где мы с ним, через много лет, встретились.

Как ни был я в ту пору нелюбознателен, я все же не мог, разумеется, хотя бы из вежливости, не спросить его где и когда. А.Н.В., я помню, помедлил с ответом (как сделал бы любой опытный рассказчик, стремящийся заинтриговать своих слушателей; А.Н.В., мне кажется, заинтриговать меня не стремился, а если чуть-чуть стремился, то как бы лишь по привычке, на самом же деле просто думал о другом, о своем); легко поднявшись, сходил в уборную; возвратившись, усевшись, объявил Марии, что нет, еще не поздно, он не устал, он хочет еще говорить по-русски; еще не наговорился. Вивиана (вот вспомнил!) выключила большой верхний свет; остался гореть торшер в углу за диваном; остались еще какие-то маленькие лампочки, расставленные по углам и по стенам; свет на А.Н.В. падал сбоку, обыгрывая благородно-собачьи складки его подбородка... Да, был такой пухленький мальчик, в нашем летнем детстве, на концертах в Эдинбурге, на пляже в Майоренгофе, Володя Граве, очень ухоженный, избалованный боннами; по вечерам ходил с большим бархатным бантом, над которым было нелегко не смеяться... А те места, где вы теперь живете, говорил А.Н.В., на меня не глядя по-прежнему, эти рыбацкие поселки в Курляндии, мы их видели вместе, не помню в каком году, году в тринадцатом, может быть,

или уже в четырнадцатом, перед самой войной. Я, впрочем, и после бывал там, но впервые с Володей там оказался. Наши папы и мамы, говорил он улыбаясь своими складками, вертя в руках пачку «Столичных», затеяли большую, как бы сказать это, *partie de plaisir*, в открытых экипажах, вдоль моря. Эта *partie de plaisir* обернулась целым путешествием, растянувшимся на несколько дней. Хорошо помню маршрут наш. Мы сначала доехали до того места, где Рижский залив встречается с собственно морем и волны – удивительное зрелище! – словно кидаются друг на друга, потом, все так же по берегу, добрались до Виндавы, потом поехали к моему дедушке, в его имение под Газенпотом... Газенпотом? переспросил я... по-латышски это Айзпите, объяснил он... название, которое ничего мне тогда не сказало. А ваш дедушка?... У дедушки и бабушки там было имение, ответил он очень кратко. А уж на пути обратно заехали в Митаву, где почти неделю прожили в гостях у курляндского губернатора, в замечательном его замке. Мне теперь кажется, это была очень счастливая неделя моей жизни, вся поездка была счастливая. В Митаве, через несколько лет... впрочем, неважно. Важно, что это было, что все-таки было это... И вот помню, говорил А.Н.В., сплошными темными глазами всматриваясь в тринадцатый и четырнадцатый год, что первый привал с пикником сделали мы в деревне, знаменитой своими роскошными высоченными дюнами – и проходом между этими дюнами, проложенным, по преданию, для императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра Первого, после какой-то сложной любовной и придворной интриги удалившейся в балтийское уединение. Дюны по обе стороны этого прохода кажутся двумя барханами из Аравийской пустыни, по оплошности перенесенными кем-то на север; такая же редкая колкая трава растет на них. Песок там совсем белый, раскаленный на солнце. А наверху уже сосны, пригнувшиеся от ветра, а между ними, как бы в складках дюн, совсем отдельные, песочные маленькие поляны, где можно укрыться от ветра и так печет солнце, как будто вы и вправду где-то в пустыне, в Аравии, в Мексике. Почему-то все ушли, или мы одни залезли туда, уже память все путает, и долго лежали там, в этих дюнах, глядя на небо, слушая ветер в соснах. Нам было по двенадцать или тринадцать лет, мы рассказывали друг другу наше блистательное, упоительное, ни с чем не сравнимое

будущее... Вот это я на всю жизнь запомнил. А снова, сказал он – снова глядя в упор на меня, мы встретились с ним на пароходе в Аргентину, в 1950 году. Тут, понятное дело, наступила пауза в разговоре. Вот так вот бывает в жизни. Расскажите, попросил я (все-таки, при всем своем тогдашнем нелюбопытстве). Он хотел рассказать, я это видел; он не мне, конечно, но себе самому все это рассказывал.

Я плыл в Аргентину по делам, disons, своей фирмы, рассказывал он; я должен был строить небоскреб (sky-scraper... или, если хотите, gratte-ciel) в Буэнос-Айресе; ничего, кстати, не вышло из этого, небоскреба я не построил, построил зато разные другие вещи, ну да это к делу сейчас не относится. Это был итальянский пароход, старый и грязный, он вышел, должно быть, из Генуи, потом зашел в Марсель, где я и сел на него, потом на Канары, потом на Кабо-Верде, потом в Рио да Жанейро, потом уж в Буэнос-Айрес. Но и это неважно. А важно, говорил А.Н.В., что плыву я на пароходе, и вдруг кто-то сообщает мне, что внизу, в самом трюме, плывут мои компатриоты... соотечественники, русские переселенцы, дипийцы... знаете, кто такие дипийцы?... я знал. Неужели знаете? Мне показалось, он мне не поверил. Ди-пи, сказал я, displaced persons, перемещенные лица, вторая волна эмиграции. Все вы знаете, сказал он, кто вас учил? На это я как раз не знал, что ответить. А стишки знаете: по синим волнам океана везут в Аргентину Ивана? Не знаете? Ну вот знайте. Он опять рассмеялся так громко, что с дивана все на нас оглянулись; его жена, показалось мне, уже сильно скучала, но не настаивала на нашем уходе. Они все сели, я думаю, в Генуе, куда, видно, перевезли их из Мюнхена... А мы с ним больше тридцати лет не видались. Были мальчики, стали взрослые дяди. Я бы, наверное, и не узнал его, это он меня вдруг окликнул. В трюме темно было, подвесные койки, дети, крик, ор и ругань. Кто-то тренькал на гитаре, напевал, совсем неплохим баритоном, даже помню что именно. «На муромской дорожке стояли три сосны...» Знаете такой романс? Я знал такой романс. Тут-то, продолжал А.Н.В., покачивая ногою, он меня и окликнул. Сидел на койке. Одутловатый, лысый, в круглых очках. А больше и рассказывать нечего. Нечего, не удивляйтесь. Ну встретились мы и встретились, через тридцать шесть лет, что тут теперь рассказывать? Он сделал, уже не такое легкое,

движение, чтобы подняться, тут же замеченное и повторенное Марией, но затем опустился опять на свой стул, провел широкой рукой по лицу, разглаживая его, помолчал. Да, сидел на койке, Володя Граве, совершенно лысый и в круглых железных очках. Он плыл под другой фамилией, дипийцы все меняли фамилии, не Граве, а Граббе, или даже Граблин, теперь уже все равно. Их до сорок седьмого года выдавали еще советам... А я ведь мог и не спуститься туда, в этот трюм, мог его и не встретить. Видно, не мог, видно, должен был встретить его на том пароходе. Вы скажете, жизнь причудлива? Жизнь очень причудлива, жизнь много странней и причудливей, чем мы подозреваем с вами. Я ему рассказал свою историю, он мне рассказал свою. Месяц плыли, месяц рассказывали. Он в начале войны попал в плен. Но выжил. Ему удалось доказать, что он природный немец, Volksdeutscher, обращались с ним довольно сносно. А он и вправду был наполовину немец, как и я сам, только у меня матушка была немка, а у него бабушка. И до этого он выжил, уж я не знаю как, даже на инженера сумел выучиться. Мы с ним, как оказалось, в один год женились, в один развелись... А потом что было? А потом он еще двадцать с лишним лет... не двадцать с лишним, вдруг перебил он себя (почти, показалось мне, с возмущением, коря себя за неточность...), а двадцать два года жил в Аргентине, работал на разных стройках, он был инженер превосходный, а умер от разрыва сердца, на улице, в самом центре Буэнос-Айреса, возле тамошнего памятника Свободе, так называемой пирамиды, Piramide de Mayo. Курил очень много, одну папиросу прикуривал от другой. Сигареты все-таки по-русски звучат очень странно. Вот по-испански, да, los cigarillos. Еще пахитосы были, как у Марии, и сигары были, конечно, в Америке. Постарайтесь быть счастливым в жизни, если у вас получится. Это трудно, но если очень постараться, то может ведь и получиться, кто знает?

Глава 4

No, Time, thou shalt not boast, that I do change:
Thy pyramids built up with newer might
To me are nothing novel, nothing strange;
They are but dressings of a former sight.

Через полгода его тоже не стало. Умер он, как я потом узнал, не в Париже, но в той деревне в Лангедоке, где в начале шестидесятых годов, вскоре после возвращения из Аргентины, купил и перестроил по своему вкусу, превратив его в местную архитектурную достопримечательность, старинный, гулко-каменный дом со средневековой рыцарской башнею; Мария пережила его на десять, или может быть двенадцать, тринадцать лет. Ее тоже, хотя я бывал в Париже в девяностые годы, я больше, чего тоже не могу себе простить, не встречал. В тот первый, давний, уже какой-то почти нереальный, не со мной бывший приезд я еще несколько раз встретился с Вивианой, с Пьер-Полем; потом появились в моей жизни другие люди, случились другие встречи; я съездил к приятелям в Шамбери; увидел темное озеро, воспетое Ламартином; моя тогдашняя немецкая подруга – тоже, кстати и как ни странно, Мария – приехала, чтобы повидаться со мною, из Фрейбурга; затем уехала; затем я сам поехал вслед за ней, на заранее найденной попутной машине, во Фрейбург; из Фрейбурга попал в Констанц; наконец, в Мюнхен – по которому ходил три или четыре, уже ноябрьских, почти зимних, промозглых и темных дня, с таким чувством, что вот здесь, именно здесь и только здесь я бы хотел жить, запоминая подробности, вот этот выход к Изару напротив Максимилианеума, низенькой балюстрадой отделенный от трамвайных путей, вон тот узкий, по двору среди голых деревьев, проход от Английского Сада, через Каульбахштрассе, к Библиотеке, и менее всего предполагая, конечно, что буду много лет жить рядом с Мюнхеном и с ним по соседству, что, наконец, перееду сюда в 2007 году, буду снова изгнан отсюда в 2010-м не всегда милостивой судьбою – и что приеду сюда писать, вот сейчас, то, что пишу, вот эту повесть, или этот роман, или сам не знаю еще, что это будет, ходить со своими тетрадками, из одного кафе в другое кафе, вот вчера, вот сегодня – из знаменитого кафе Annast на Одеонсплатц в любимое и затрапезное Drugstore возле Münchener Freiheit, с водевильным театриком

⁴ Не хвастайся, Время, будто я изменяюсь: пирамиды, заново возведенные тобой, для меня не новы и не удивительны; это всего лишь перелицовка уже виденного. *Шекспир*

наверху, в английскую чайную на Türkenstrasse, где подают настоящие scones с настоящими, густейшими, прямо из Англии привезенными сливками и в креслах с высокими спинками сидят усатые джентльмены, – и раскрыв тетрадку, под шум чужих голосов, под музыку, иногда назойливую, иногда все же не очень, пытаться описать мою первую и единственную встречу с Александром Воско и Марией, краткую и, в сущности, случайную, теперь уже четвертьвековой давности парижскую встречу, о которой я вскорости почти, пожалуй, забыл, о которой все же не мог не вспомнить, конечно, когда, возвратившись в декабре 1988 года в Россию, пережив московскую зиму, перестроечную весну, вновь, летом 1989 года, приехал в *мою* латышскую деревню, с тех пор, в свою очередь, превратившуюся для меня в нечто почти мифическое, мифически-недостижимое – не потому, разумеется, что я не мог бы просто-напросто съездить туда – Alexandre Vosco после 1940 года не мог, я могу, – но потому, что она, эта за своей высокой дюной притаившаяся деревня, так прочно и кровно связана для меня с определенным временем, с моей, вообще говоря, молодостью, что без этого времени, вне этого времени уже как будто не существует, и я просто-напросто боюсь туда ехать, страшусь увидеть пустую оболочку прошлого, мертвое место. В 1989 году оно еще было живым, настоящим. Не зная будущего и почти не заботясь о прошлом, я все-таки не мог, конечно, не вспомнить, приехав туда в то лето, оставив вещи в снятой на лето комнате и тут же, что было из года в год повторявшимся ритуалом, отправившись, разумеется, к морю, перебежав по дощатому серому и косому мостику прибрежный ручеек, отделявший деревню от дюн, не мог не вспомнить, конечно, выйдя в эти дюны, в этот, тот же самый, все тот же, проход между дюнами, прорубленный когда-то то ли для императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра Первого, то ли, как утверждали местные жители, для самой – как же иначе? – Екатерины Великой, глядя на взлетавшие в небо, с двух сторон, все те же песчаные горы, не мог не вспомнить, еще и в последний раз, тех двух мальчиков (о смерти А.Н.В, я, наверное, еще и не знал...), в своем каком-то четырнадцатом году вот так же, задрав голову, смотревших на согнутые ветром сосны где-то там наверху, чистое небо над ними, и как они полезли, наверное – переглянувшись, ухмыльнувшись, наперегонки друг с другом

– наверх, и как лежали там, укрытые складкой бархана, в отделенном от прочего мира, крошечном и безопасном мирке, где пахло – и по-прежнему пахло – раскаленной хвоей, раскаленным песком; и будущее, о котором говорили они в тот навсегда исчезнувший день, за год до мировой войны, или в год начала ее, будущее, о котором знали так же мало, как знал о своем я сам, это еще мальчишески-авантюрное, еще не совсем освободившееся от Карла Мая и Майн Рида, но все-таки уже намечавшее свои взрослые контуры, интересы и ориентиры будущее казалось им, наверное, каким-то большим осмысленным музыкальным движением, в которое уже готовились вступить они, которое уже пело в них, как ветер пел в соснах; и море, когда они приподымались на локте, словно спускалось к ним откуда-то сверху, за соснами, играя своими искрами, наклоненное вниз, благосклонное к ним.

Я снова встретился с Вивианой в 1994 году; она показалась мне постаревшей и пожелтевшей; утратившей, может быть, надежды на семью и счастье. Я ничего не знал, странным образом, об ее кавалерах, как будто их и не было вовсе. Мне нравилось, в сущности, что она не рассказывает о них, не упоминает в разговоре никаких amis, настоящих или прошедших. Была она при этом все такой же branchée, такой же chébran, все в таких же цепях и шарфах, так же заряжена электричеством моды, электричеством светской жизни. И мужчины на улицах все так же на нее оборачивались. Странно было и то, если вдуматься, что именно с ней и только с ней одной из всей этой случайной компании любителей комиксов, профессионалов пижонства сохранял я непрерывные отношения, не такие отношения, которые нужно каждый раз, в каждый новый приезд в Париж восстанавливать, но такие, которые просто длятся и длятся, все эти годы. Говорить с ней мне по-прежнему было не о чем (покуда, уже в самое последнее время, я не начал говорить с ней об ее отце и матери, задумав, наконец, писать то, что теперь пишу...); а все же я почему-то, не очень часто, но все же звонил ей, из России, потом из Германии; и она почему-то звонила мне, просто так, в Москву, затем в Эйхштетт, в Регенсбург, в Мюнхен, во все места моих Wanderjahre. Когда годы ученья заканчиваются, начинаются годы странствий... В середине девяностых в Париже поселился мой дорогой и давнишний,

ныне (как трудно дается мне это слово) покойный друг, Павел Двигубский, о котором я здесь много писать не буду, которому я посвятил свою предыдущую книгу («Город в долине»); помню, как познакомил его с Пьер-Полем и Вивианой и как они чуть не скатились от смеха под столик того кафе возле Place des Vosges, в котором сидели мы, когда, забыв свое обещание ни в коем случае не называть его во французской компании П.Д., как я привык называть его с юности, я в самом деле назвал его так; PD, не путать с BD, есть, как нетрудно догадаться, чудное хулиганское сокращение от pédéraste. Еще помню, как мы шли с ним в гости к одной старой эмигрантке, с которой он как раз хотел меня познакомить, и в очередном, на сей раз тесном и душном книжном магазинчике, где-то на Монмартре, куда мы зашли по дороге, я обнаружил толстый, торжественный, в золотой суперобложке альбом, называвшийся «Александр Воско, l'architecte et l'homme, архитектор и человек» (Paris-Montréal, 1991); я, увы, не купил его по причине его непристойной дороговизны, моей тогдашней, еще полустуденческой, бедности. Двигубский торопил меня; у хозяина книжной лавки включено было ядовитое радио; присесть было негде. Все-таки я впервые увидел в тот день фотографии некоторых, не всех, разумеется, зданий, построенных А.Н.В., самых, как я впоследствии понял, знаменитых его зданий: пирамидальной библиотеки в Испании, снятой в разных ракурсах, с разных сторон; черно-белые, под северным патетическим небом, фотографии кирпичного шведского города, вернее – пригорода, исчезающего в сосновом лесу, с подземными гаражами и подъездными дорогами, тоже спрятанными под землю, показанными на отдельном, неразборчивом плане; фотографии, в разнообразных, опять-таки, ракурсах, перелетающего через темный залив, бесстрашно изогнутого и словно склоненного набок моста в Рио-Давиа; прозрачного, в Рио-Давиа тоже, как будто ползущего по холмам, по камням, сползающего в долину университета; восточно-яркие, с цветущей сакурой на переднем плане, фотографии Музея современного искусства в Осаке, построенного в виде яйца, лежащего на боку, с бетонной нижней частью и стеклянной верхней, с какой-то сновидческой структурой этажей и лестниц, проступающих за стеклом, – одна из самых смелых, как сказано было в комментариях к картинке, и самых

безумных его построек, шедевр сумасшедшей архитектуры (*architecture folle*); увидел и первые (с тех пор я их много видел) фотографии самого А.Н.В.: молодого А.Н.В. в смешном узком галстучке; А.Н.В. в Аргентине, очень высокого, очень счастливого, в строительной оранжевой каске; А.Н.В. в блейзере, столь мне памятном, или похожем, уже стареющего, в кресле с переброшенной через колено ногою, перед огромным окном своей мастерской в Лангедоке; А.Н.В. в той же мастерской перед кульманом со смутными очертаниями каких-то задуманных им, не знаю, построенных или нет, продолговатых домов. А вот рассказывал ли я Двигубскому историю парохода, историю встречи Александра Воскобойникова с Владимиром Граве, другом детства, дипийцем и беженцем, я уже не могу теперь вспомнить (и значит, наверное, нет). Двигубский, с его чувством прошлого, интересом к протекшей жизни, событиям и судьбам уходящих эпох, несомненно оценил бы ее. Сам я, как бы то ни было, чем дальше шло время и чем живее делался мой собственный интерес к прошлому, тем чаще думал об этом эпизоде чужой, лишь в самых общих и смутных контурах известной мне биографии, ощущая в нем, разумеется, биение совсем иных, литературных возможностей, зерно сюжета, прорастание прозы. Прошло пять лет после встречи моей с А.Н.В., прошло десять, прошло и пятнадцать. Какой-то частью и моих собственных воспоминаний сделалась эта история; еще не думая о ней как о будущей книге, будущем тексте, я все же вновь и вновь, посреди других мыслей и замыслов, пытался представить себе, как это было, как они встретились, как говорили.

В самом деле, как это было? И прежде всего, что за пароход это был? Был ли это вообще пароход, то есть корабль именно с паровым, а не, к примеру, дизельным двигателем? Возможно, А.Н.В. называл его так (а я точно помню, что он так назвал его) по старомодной привычке, точно так же, как он сигареты называл папиросами. Прекрасно его, кстати сказать, понимаю. В слове *пароход* есть что-то сразу уютное и таинственное, чего нет, разумеется, в безнадежно прозаическом *теплоходе*. И папиросы, если угодно, романтичней, прекрасней, таинственней каких-то там сигарет... Это был, тем не менее и скорее всего, именно теплоход, в 1950 на пару уже вряд ли кто плывал в Америку, в

Северную ли, в Южную, то есть какой-то корабль на дизельном топливе, но вот какой корабль, пассажирский ли, грузовой ли, военный, этого я не знаю. Военным этот корабль, судя по рассказу А.Н.В., быть не мог, хотя русских дипийцев перевозили в Новый Свет, как правило, именно на военных судах; самый первый транспорт в Америку (Северную), узнал я недавно, вышел из Бремергафена 21 октября 1948 года на американском военном судне «Генерал Блэк»; этого Блэка сменил потом «Генерал Баллу» (General Ballou), темный, весь какой-то вытянутый, если судить по фотографиям, которые удалось мне найти, транспортный военный корабль, курсировавший несколько лет подряд между Бремергафеном и Нью-Йорком. На корабле этом плыл, между прочим, Иван Елагин, великий непрочитанный поэт, тоже лишь к пятидесятому году, после берлинских бомбежек и мюнхенских лагерей для перемещенных лиц получивший, наконец, разрешение на безопасность и университетское преподавание в Америке, упоминающий этого Ballou через десятилетия, в конце жизни, в не самой, может быть, удачной своей поэме. «Военный транспорт «Генерал Баллу» к Нью-Йорку плыл сквозь утреннюю мглу...» И в другом, как раз замечательном, стихотворении поминает он этот корабль, «ямину трюма», подвесную койку, волны, бьющие в борт... Полагаю, что и в Аргентину измученных ожиданием беженцев, переживших насильственные выдачи, слухи и страхи, наезды энкавэдэшников, мечты и старания этих энкавэдэшников забрать их всех обратно под сень любимых усов, липовые справки, поддельные паспорта, бесконечные проверки на туберкулез и лояльность, – полагаю, что и в Аргентину, и в другие страны Латинской Америки их доставляли все же именно на военных судах. Получается, что не всех, что некоторых просто на пассажирских; никаких причин нет у меня не верить рассказу Александра Воско. Предположим, следовательно, это был какой-то пассажирский корабль, не очень большой и не очень шикарный, не Queen Mary, уж точно, вообще не из тех океанских дворцов, что, очухавшись от войны и подводных лодок, в конце сороковых, в начале пятидесятых снова плавали в Америку Северную, покуда, к концу десятилетия, не победили их своей дешевизной и быстротой самолеты, но все же какой-то пассажирский, и значит, поделенный на классы, с иерархическим распределением удобств и потугами на

роскошь для удачливых и богатых, корабль. А каким классом плыли беженцы? Вообще, скорее всего, никаким, вне классов, вне общества. Для них главное было, что они вообще плыли, что удирали из Европы, что выжили. Пароход кидало, наверное, была качка, была морская болезнь... Со всех сторон был океан, вот что важно, даже других кораблей видно не было. И вот, следовательно, затерянные в пространстве, в метафизической стихии моря, между Старым и Новым Светом, старой и новой жизнью, вне времени, в предоставленном судьбою антракте, предоставленные судьбою себе и друг другу, оставленные наедине друг с другом, с собою... А где, собственно, сидели они? Ведь не в трюме же, на подвесной койке, под детские крики и приятный баритон, поющий «На муромской дорожке...»? Если качка и ветер позволяли им это, они выходили, конечно, на палубу, сидели в шезлонгах, или стояли, держась руками за релинг, подставив лица воздушным громадам, подставив их солнцу, монументальную мощь набиравшему по мере их продвиженья на юг. А если нет, то сидели, наверное, где-нибудь в баре, глядя, теперь уже в иллюминатор, на поднимающуюся и падавшую стихию, и как должен был чувствовать себя в этом баре Владимир Граве (Граббе, Граблин), в поношенном пиджаке с чужого плеча, подаренном благотворительной организацией (IRO, или Ирочкой, как сентиментальные дипийцы ее называли...), после двадцати с лишним лет подсоветской жизни, после войны, плена и лагерей? Все знали, что он оттуда, снизу, из ниоткуда; бармен и стюарды обслуживали его неохотно, смотрели косо, с холуйским презрением. Надеюсь, им обоим было наплевать и на стюардов, и на бармена, и на других пассажиров.

Но главное, главное – как говорили они о протекшей жизни, протекших жизнях, как рассказывали друг другу эти жизни, такие разные? Я почти ничего не знал, до последнего времени, ни о той жизни, ни, тем более, о другой, я понимал, тем не менее, что рассказать друг другу о прожитых жизнях этим пятидесяти- или почти пятидесятилетним друзьям детства, так странно и неожиданно встретившимся, было почти невозможно. Конечно, и в двадцатые, и в тридцатые годы русские эмигранты знали о Совдепии все (Запад ничего не хотел знать, но эмигранты все знали). Alexandre Vosco, Александр Николаевич Воскобойников, прекрасно понимал, разумеется, разницу между революционным

Петроградом и Ленинградом эпохи НЭПа, понимал, что такое пятилетки, год великого перелома, продуктовые карточки, показательные процессы и прочие прелести бытия, знал советские словечки, аббревиатуры и термины, все эти укомы, крайкомы... Все же знание реальности не заменяет присутствия в ней. Он знал, как это было, думал я, но не знал, конечно, как пахло. Не знал этого затхлого запаха подсоветской жизни, проникавшего во все ее складки и поры, в твои же мысли, в твое же отчаяние. Не ходил через черный ход, не вдавливался в трамвай, не стоял в очередях за селедкой. Не знал этого непрерывного страха и неотвязной скуки, этих портретов, этих собраний, этого ощущения твоей собственной подлости, оттого что ты не кричишь, не падаешь на мостовую, не бросаешься с кулаками на милиционера, идешь как все, глаза в землю и шляпу на брови, не знал этого чувства, что ты уже никогда, никогда не выберешься отсюда, что ни Венеции, ни Вены не существует, и не может существовать, и даже как бы уже не должно, этого звериного блеска в глазах любого чиновника, любого начальника, мечтающего тебя растерзать, упивающегося своей ничтожной властью над тобой, червячком-человечком. А что понимал Владимир Граве в его, Александра Воскобойникова, эмигрантской жизни? Он и старую-то жизнь, может быть, помнил плохо, постарался забыть ее, как постарались, мне кажется, забыть ее мои дедушка и бабушка, в том же самом Ленинграде не спавшие по ночам, прислушиваясь к шагам на лестнице, к шуму машин, подъезжавших к подъезду. Чтобы как-то выжить в тридцать седьмом году, надо было напрочь забыть, конечно, тринадцатый. Моя бабушка в том же тридцать седьмом сожгла на кухне весь семейный архив, все письма, все фотографии, все открытки с видами Гельсингфорса и Гейдельберга, что не спасло от высылки и последующего ареста ее младшего, обожаемого ею, брата, зато навсегда отрезало от прошлого мою мать и меня самого. Владимир же Граве, когда я думал о нем, казался мне похожим на моего дедушку, Максима Владимировича Давыдова, инженера-строителя, как и он, так лихо и ловко скрывавшего и скрывшего свое происхождение и прошлое, что я теперь не знаю о нем почти ничего, не знаю даже, кто были его родители, как их звали, и в результате пиротехнических опытов его жены, моей бабушки не узнаю уже, наверное, никогда, могу только судить обо всем этом по немногим

фотографиям и косвенным каким-то свидетельствам, преданиям моего детства, по его свободному обращению с немецким языком, и чуть менее, кажется, свободному обращению с французским, по его манерам и юмору, о которых мне так часто рассказывали, его обаянию, безотказно действовавшему не только на женщин, но и, что много труднее, на партийных бонз и бурбонов, его барским привычкам, отчаянно и отважно сохраняемым в самые пролетарские годы и при полном безденежье, в которое периодически проваливался он вместе с женою и дочками. Он, кажется, не очень твердо знал, где в доме кухня. Приходя домой после долгого рабочего дня, просто садился и ждал, пока ему подадут чай в стакане с серебряным подстаканником, или подадут ужин с неизменной стопкою водки. Есть детская его фотография, негнущаяся, как все карточки той эпохи, где он стоит с двумя другими, мне неизвестными детьми, озорником-фотографом поставленными по росту и возрасту, самый большой и старший среди троих, с большим белым шелковым бантом под белым же, очень твердым по виду, широким воротничком, в белой жилетке под курточкой – и с выражением такой беззаботности в глазах, в лице и во всей фигуре, в постановке ног, складке губ, пухлой большой руке, с такой печатью веселого и обожающего баловства, очевидно окружавшего его детство, что почти невозможно поверить в его шансы на выживание во мраке, наступившем вскорости после фотосеанса. Шансы эти все-таки были, как были они, очевидно, и у Владимира Граве. Мой дедушка с его инженерным образованием и потаенным прошлым, хотя и держал до самой смерти усатого упыря заранее собранный чемодан под кроватью, на случай ночного ареста, ухитрился даже сделаться чем-то вроде начальника, к своему стакану чая или ужину со стопкой водки из граненого графинчика приезжал на машине с шофером, родственников маминой и впоследствии моей няни, бежавших из деревни от голода и колхоза, устраивал работать на стройках, даже заседал, кажется, в каких-то исполкомах или профкомах... На другой фотографии, которая лежит сейчас передо мною, он еще молодой, уже сильно лысеющий, так что лоб выглядит огромным, высоким, в военной форме с тремя кубиками и значком инженерных войск на черных петлицах, с уже совсем не детским, конечно, но узнаваемом, тем же лицом, с большими, как будто расширенными

от удивления перед чем-то глазами, внимательно и невесело глядящими теперь на меня, с какой-то уже совсем советской, армейской, «под машинку», стрижкой, аккуратно, но все же как-то грубо подровненными бачками и с проступающей небритостью на щеках. Это снимок времен войны с Финляндией – «финской кампании», как стыдливо ее называли, – на которую, зачислив в армию, его отправили из Ленинграда прокладывать какие-то дороги сквозь зимнюю сказку. Есть еще одна фотография, где он и стоит посреди этой зимней финской идиллии, разрытой окопами, в шинели с теми же тремя кубиками на ромбовых шинельных петлицах, в шапке с красной звездой, с пистолетом, подумать, на широком ремне – и совершенно штатским, по-питерски грустно-ироническим лицом, в круглых очках, тех же самых как будто, какие на мне сейчас надеты, и совсем той же, что на первой, детской, карточке, какой-то наивной и невинною складкой губ. Он выглядит здесь еще моложе – из-за шапки, скрывающей залысины, может быть, – но глаза смотрят так же невесело, внимательно, удивленно. А на других фотографиях, военных и послевоенных, вдруг промелькнет и что-то жесткое в этом решительном и мягком лице, что-то печально-суровое и в глазах, и в линиях возле рта.

На большой войне мой дедушка тоже был, в плену, слава Богу, нет. Этот плен Владимира Граве я, конечно, почти не мог, да и до сих пор не могу представить себе, зато, когда в девяностые годы я вновь попал в Мюнхен, стал часто ездить туда, затем поселился там, его дипийский лагерь обрел для меня очертания в виде тех огромных казарм на севере города, что в тридцатые годы с необыкновенною быстротою возведены были потрясенными вдруг открывшейся перед ними дорогой к славе архитекторами Нового Рейха, после войны использовались американцами частью для собственных войск, частью именно для дипийцев, были переданы потом бундесверу, полиции, пожарной охране. Все эти годы приезжал я в Мюнхен с севера или из Мюнхена ездил на север, в Эйхштетт и в Регенсбург, и проезжал, следовательно, эту северную окраину со странным названием Фрейманн («свободный человек»), соседнюю с Фрётманнингом, где несколько лет тому назад, к чемпионату 2006 года, построили огромный, футбольный, круглый, по ночам светящийся разными красками, всю округу озаряющий стадион. Казарм там было

несколько («а казарм настроено сколько по окраинам!»), писал потом в «Беженской поэме» Иван Елагин, именно в Мюнхене, среди прочих *перемещенных*, ждавший решения своей судьбы, покуда ожидание длилось, написавший и напечатавший – на гектографе – свои первые стихотворные сборники; целых два!; библиографическая редкость сегодня...); отраднo все-таки думать, что основной лагерь для беженцев американцы устроили не, например, в гигантской, гигантоманической бывшей казарме СС, хотя беженцы и в ней содержались, одно время в частности все тот же Иван Елагин (теперь там санитарные службы и медицинские институты бундесвера; и меня там чуть не арестовали, когда я начал фотографировать...), а в несравненно более скромной бывшей казарме войск связи люфтваффе (Luftnachrichtenkaserne), в просторечии называемой (переведем так) «казармой радистов», или «радиоказармой» (Funkkaserne), от которой теперь осталось только главное здание, отданное полиции. Все прочее, все «корпуса бетонные», упоминаемые Елагиным, уже снесены. На их месте, по замыслу градоначальников, должны стоять жилые дома, бюро, художественные мастерские, супермаркеты и вообще всякие замечательные вещи, забывшие об ужасах прошлого; сейчас, в промежутке между прошлым и будущим (вчера я был там...), все это являет собою необозримую строительную площадку, с необозримыми, опять-таки, лужами, неглубокими котлованами, одиноким оранжевым вагончиком для рабочих, выставкою экскаваторных ковшей рядом с ним, выставкою еще каких-то звероподобных деталей, гигантских штопоров, гигантских клещей, с беззаботно желтеющими среди всего этого березами, липами, с кучами щебня, кучами строительного мусора, где еще валяются, завтра валяться уже не будут, последние, самые последние остатки снесенных барачков, ржавые трубы, ржавые скобы, неразбившаяся раковина из несуществующей ванной комнаты, глубокая, почти белая, с темной дыркой посередине. Внезапный простор открывается вдруг оттуда, внезапная перспектива с Олимпийским парком в глубине ее, со стрелкою телебашни под низким и блеклым небом... Послевоенных фотографий всего этого мне не удалось разыскать, а вот на официальных, черно-белых, в трагически-вагнеровских тонах выдержанных нацистских снимках конца тридцатых годов сохранившееся до сих пор главное здание, теперь кажущееся довольно

скромным, даже почти уютным, выглядит торжественно и ужасно – типический продукт той псевдоклассической, на самом деле варварской архитектуры, которая в это позорное десятилетие (a low dishonest decade, по незабываемому выражению В. Х. Одена...) не ограничивалась, удивительным образом, счастливыми странами, подвластными усатым и усатеньким гениям, хотя именно там, разумеется, достигла высшего своего совершенства, своего акме и апогея, – продолговатое, под высокой крышей, двухэтажное здание, с квадратными, мелкими, непоправимо напоминающими тюремные, окошками на первом этаже и столь же отвратительно однообразными, вытянутыми вверх, на втором, с пятью арками по фасаду, под одной из которых можно разглядеть стыдливо прикрытую каким-то, что ли, щитом дверь – в никуда. Флагштоки и пустынный плац довершают обаятельную картину. Но всего замечательнее громадные, грозноклювые, друг к другу повернутые орлы перед входом на этот плац, застывшие на высоких, по виду выше человеческого роста, мощноглыбистых обелискообразных постаментах, на не птичьих, а звериных каких-то лапах, упертых в эти обелискообразные постаменты... Орлов этих больше нет, но после войны они, говорят, еще были. И как-то даже не очень трудно, глядя на это фото теперь, вообразить себе Владимира Граве, в потертом, опять-таки, с чужого плеча плаще, подаренном все той же благотворительной Ирочкой, или ее предшественницей (UNRRA), отправляющегося в город в надежде раздобыть папирос, или обменять папиросы на сало, или где-то «по-черному» подработать, или в дом «Милосердный самарянин» на Мауэркирхерштрассе, где был русский бесплатный врач и русская гимназия, в которой, может быть, кто теперь это знает? преподавал он рисование, или черчение, или, может быть, математику. Как небось смотрели на него эти орлы, не желая выпускать его в вольный мир. А мир и Мюнхен еще лежали в развалинах, и остатки стен, мусор, щебень, битый кафель, битые стекла, кирпичную крошку, поломанную мебель, посуду, слезы и страхи, растоптанные надежды, утраченные иллюзии свозили в соседний с Фрейманном Фрётманнинг, или на огромное поле на западе (Oberwiesefeld), где был когда-то гражданский, затем военный аэродром и где теперь росла и росла, до пятидесяти метров доросла эта мусорная гора, позже, в семидесятые годы, сделавшаяся частью

Олимпийского парка... Пешком, наверное, доходил он до Швабинга, а там уже садился в трамвай. Или как раз сходил с трамвая на Münchener Freiheit, шел в хорошую погоду и если были силы, через Английский сад, в своей дальней, для него ближней, части почти дикий, похожий на лес, шумящий листвою, проходил мимо озера, где вопреки всему смеющиеся парочки катались на лодочках, американские GI's с баварскими Mädels, затем все дальше и дальше, мимо сторевшей «китайской башни», мимо раненной бомбами беседки, выходил к Изару и там садился где-нибудь на берегу, закуривал пайковую папиросу, смотрел на зеленоватую воду, быстро и бурно проносившуюся мимо него, вспоминал, может быть, другие какие-то реки, не мог же, думал я, когда вообще думал обо всем этом, не вспоминать их, вспоминал, может быть, широкую, тихую, но опасную, всю в водоворотах, реку с чудесным названием Курляндская Аа, реку полубалтийского своего детства, переименованную в свободной Латвии в Лиелупе, эту величественно-опасную реку, подходящую возле Майоренгофа и Дуббельна так близко к морю, что при взгляде на карту курортный берег кажется случайностью, по забывчивости, что ли, не поглощенной солеными и пресными водами, хлябями..., эту реку, еще раз, на которую убегал он вместе с Сашей Воскобойниковым, рижским и лучшим другом полубалтийского детства, с тех пор и давным-давно потерявшимся в эмиграции где-то, он не знал где, или погибшим, может быть, думал он, когда советы в сороковом году слопали Латвию, сейчас колющим, может быть, колымский лед, вот сейчас; и там, на берегу Аа, подзадоривая друг друга, они нанимали корявую, плоскую, рыбкой, тиной пропахшую лодку у добродушного вислоусого рыбака-латыша и, что им строго-настрого запрещено было делать, перебирались на тот берег, где ничего не было, кроме сначала камышей, затем трав, лугов, облаков и свободы, где начинался совсем другой, не курортный, большой и манящий мир, на поверку оказавшийся столь ужасным, где дошли они однажды, в поисках приключений и по-прежнему подзадоривая друг друга, до одинокого, почти исчезавшего под соломенной крышей хутора и были едва не съедены огромной грязно-мохнатой собакой, никак не желавшей слушаться трясущегося и босоногого старика, откуда-то вышедшего на ее безумный безудержный лай. И неужели все это было вправду с ним, думал он, вот с

ним, Владимиром Граве, одутловатым, лысым, в круглых очках, все и всех потерявшим, всегда голодным, ни во что не верящим больше, такие страхи пережившим, такие ужасы видевшим, но все-таки еще бьющимся, как рыбка в сетке у того латыша, думал он, еще стремящимся в Америку, в Аргентину, в Австралию, в надежде, что одно из этих трех больших А его примет – первая буква алфавита, новое начало, новая жизнь – или отзвук той курляндской детской реки Аа, которая еще куда-то, куда-то его, может быть, вынесет. На мгновение засыпал он, пригретый солнцем, на щебенчатой отмели у изумрудного быстрого Изара. И затем, опомнившись, вскакивал на ноги, и шел все-таки дальше, все дальше, переходил через Изар по не разрушенному мосту, и поднимался в Богенхаузен, район роскошных вилл в югендстиле, где неподалеку от пощаженого войной золотого Ангела Мира (по-прежнему, расправив свои крылья, парившего над городом, благословляя его, на высокой белой колонне...), в тихой, примыкающей к парку улице (Möhlstraße), где теперь я иногда оставляю машину (там стоянка бесплатная, и место найти нетрудно, и до центра недалеко...), в то время шумел, галдел, расцветал под присмотром американской комендатуры, как раз и помещавшейся в одном из особняков, знаменитый на весь Мюнхен и чуть ли не на всю Германию черный рынок, где можно было сменять все на все, кофе на сигареты и сигареты на вечернее платье; сменяя, следовательно, что-то на что-то, шел он, может быть, как и я теперь, бывает, хожу, опять через Изар, по Принцрегентенштрассе – мимо «Дома немецкого искусства», еще одного шедевра нацистской архитектуры, не тронутого бомбежкой, с надписью Officers-Club за победительными колоннами и настоящими победителями, всегда веселыми, курящими Camel под сенью грозно-глыбкого портика, – и дальше, через Хофгартен, Одеонсплатц, по Театинерштрассе к Мариенплатц, в самый центр баварской столицы, по развороченной брусчатке, мимо развалин, казавшихся ему развалинами собственной его жизни, мимо зияющих окон, обнажившихся внутренностей, выпирающих труб и ржавых подтеков, мимо парящей в воздухе комнаты с кроватью, торшером и тумбочкой, готовой сценой для семейной драмы (думал он, или думал я за него...), повернутой к зрителям, с уничтоженными бомбежкой актерами... Все это были, еще раз, мои домыслы. Удивительно лишь, что они впоследствии

подтвердились. Жизнь, сказал мне в ту единственную нашу встречу А.Н. Воскобойников, жизнь странней и причудливей, чем мы полагаем с вами. Владимир Граве, как недавно узнал я, в самом деле провел несколько месяцев в Funk-Kaserne во Фрейманне (свободном, следовательно, человеке...), и на тех фотографиях, которые в конце концов удалось мне увидеть, и вправду до смешного и страшного похож на моего дедушку, разве что есть в нем какая-то болезненная припухлость, которой у дедушки моего, тоже, впрочем, умершего «от сердца» в начале шестидесятых, ни на одной фотографии не заметно, но все же похож до страшного и смешного, в таких же круглых очках, с таким же свободным от волос высоким лбом, с таким же, даже, моей мамой и отчасти мною унаследованным рисунком по бокам чуть распушающихся бровей, и смотрит он на этих карточках (сделанных, похоже, в первые аргентинские годы) так же изумленно и так же внимательно, чуть более хмуро и грустно, пожалуй, с еще более отчетливой жесткой складкой на мягком и добром лице.

Глава 5

Alle Zufälle unseres Lebens sind Materialien, aus denen wir machen können, was wir wollen.

*Novalis*⁵

Осенью 2007 года, когда я жил как раз в возлюбленном и восстановленном Мюнхене, мне позвонила вдруг Вивиана с сообщением, что ее старший, на много лет ее старший, единокровный брат, Pierre Vosco, должен пробыть сколько-то дней в баварской столице и что она просит меня с ним встретиться и показать ему город, тем более что он в Германии никогда не бывал, все немецкое ненавидит и едет в страну убийц с содроганием. Я никогда не слышал ни о каком старшем брате. Да, это сын ее отца от первого брака, тоже архитектор, хотя не такой знаменитый. Зато богатенький, женился в свое время на буржуазке, на скучнейшей, из старинной семьи, французской буржуазной мадам, с которой она, Вивиана, не имеет ничего общего, не имеет и не желает иметь. Они там все прогнили

⁵ Все случайности нашей жизни – это материал, из которого мы можем делать, что хотим.
Новалис

от жадности, *pourris par les frics*. У них дом под Парижем, и замок в Нормандии, и шале в Альпах, и коллекция старинных автомобилей... С владельцем шале и замка я встретился, по мюнхенской традиции, на Одеонсплатц, возле выхода из метро. Он был еще не в таких годах, разумеется, в каких был его отец в эпоху моего с ним знакомства, но выглядел чуть ли не старше, так чопорно и строго держался. Усы придавали ему важности, ухоженные, жесткие и седые. А я человек с предрассудками, к усам и усикам отношусь с недоверием... Такие же седые были волосы, так же хорошо сохранившиеся, как у его отца в ту далекую встречу. И такой же чистый был русский язык, с легким, может быть, певучим акцентом, уютно-удивленным, вполне парижским, потягиванием гласных (знаете, как это бывает...), редким соскальзыванием во французский в сходных словах (не метро, но *métro*; *monument*; *trottoire*...; ну, в самом деле, *trottoire* – это не какой-то тебе там тротуаришко...). Разумеется, величественно ответил он на мой комплимент, у них дома всегда говорили по-русски, исключительно по-русски, непременно по-русски. За моей же русской речью следил он (подумал я) почти так, как Пьер-Поль когда-то за моей борьбой со спагетти (с тем ревнивым вниманием, с каким старые эмигранты обычно следят за речью своих под сенью серпа и молота рожденных соотчичей, помноженным на чисто французскую бескорыстную радость от чужих *faux-pas* и ошибок). У вас совсем не чувствуется советских интонаций, сказал он вдруг, словно удивленный этим странным для него обстоятельством. Под которыми что же вы понимаете? спросил я его. Он изобразил в ответ что-то такое прянично-лубочное, разлюли-малинное, с такими подвываниями, что мне трудно было спрятать улыбку. Я решил с ним все же не спорить. На нем был синий, опять-таки, блейзер, но никаких, конечно, обвисло-вельветовых, а в точности, по-видимому, те самые брюки, которые должны быть в одной компании с блейзером; был правильный песочный плащ с правильным шелковым шарфиком; ни то, ни другое героически не снимал он, хотя явно было жарко ему. Я сам, к тому времени давно оставивший всякие, если вообще они у меня были когда-нибудь, поползновения на *branché*, *chébran* и прочую чепуху, был просто в джинсах, я помню, в какой-то, кажется, курточке; мой наряд его, похоже, фраппировал. Понемногу все-таки оттаивал он; когда я

показал ему Галерею полководцев, Feldherrnhalle, и то знаменитое место, где в 1923 году остановлен был гитлеровский «марш на Берлин», когда мы прошли через Хофгартен, постояли у выложенного изнутри ракушками павильона, где всегда играют Моцарта или Шуберта и в тот день мужеподобная виолончелистка выделявала Вивальди, прошли по подземному переходу под Принцрегентенштрассе, вышли в Английский сад, и ни разу до тех пор не улыбнувшийся Петр Александрович Воскобойников, Pierre Vosco, в своем блейзере, плаще и миллионерских ботинках с недопробитыми дырочками, вдруг, крякнув, перелез через низенькую изгородь, отделявшую от дорожки очередную лужайку, и вытащив из футляра узенькие очки, нацепив их на кончик мощного носа, согнувшись, затем присев на корточки, принялся рассматривать, не срывая его, но потрагивая пальцами, маленький маслянистый гриб, притаившийся в еще совсем зеленой, на солнце ярко и влажно блестящей траве, затем, возвратившись на дорожку и чуть-чуть, похоже, смутившись, объяснил мне, что он, вообще-то, миколог, специалист по грибам, то есть что он всю жизнь проработал как архитектор, но что по-настоящему и с самого детства его интересуют только грибы и что он даже является председателем или сопредседателем, уже не помню, французского, или, не помню тоже, только парижского микологического общества, каковое председательство, или сопредседательство, собственно, и привело его в Мюнхен, поскольку здесь проходил, сегодня утром закончился, международный конгресс микологов, съехавшихся со всего света, из Норвегии, из Китая, – когда он сообщил мне все это, я же, подумав, я помню, что только домашнее безумие, прирученное сумасшествие делает человека человеком, а жизнь переносимой, заговорил с ним, наконец, об его отце, о моей с ним, девятнадцатилетней давности, встрече (о которой он знал, конечно, от Вивианы, но не знал подробностей), заговорил с ним об этих подробностях, о пароходе в Аргентину, о Владимире Граве, – лед еще не был, наверное, сломан, но уже стучал и шел трещинами. Вот как, отец мой говорил, значит, с вами об этом?... Да, сказал я, и отец ваш был, по-моему, очень доволен, даже как-то, по-моему, счастлив, когда узнал, во-первых, что я подолгу жил в Латвии, в местах его детства, и во-вторых, что я рассматривал в тот день, когда мы встретились с ним, альбом по архитектуре с фотографиями La Grande

Motte, а ему как раз в тот же день впервые за несколько лет позвонил по телефону Jean Balladure; мне навсегда запомнилась его какая-то наивная радость по поводу этого простейшего, в сущности, совпадения. Pierre Vosco рассмеялся, впервые за нашу встречу, неожиданным басом. У моего отца были странности в старости, сказал он, свое личное, легкое, он так и сказал, сумасшествие. Он составлял, видите ли, целые списки таких совпадений, где-то они сохранились. Кто-то смотрит дома телевизорную... телевизионную передачу о Прусте, а потом выходит из дому, спускается в метро, и в вагоне, напротив через проход, сидит тоненькая белокурая девушка со вторым томом *A la recherche* в руках... И не случайно, что именно со вторым, вставил я, она сама же – девушка в цвету, *jeune fille en fleur*. Он оценил, мне показалось, мое замечание. Вот такие истории занимали его отца в чрезвычайной степени, какой-то высший и таинственный смысл он усматривал в них. Что же до истории с парходом, то отец его очень часто говорил о ней перед смертью, но, как до сих пор казалось ему, Петру Александровичу, только с ним самим, с ним одним, и только по-русски, хотя ведь он не мог, наверное, не говорить об этом с Марией... Мария отлично знала, кстати, Владимира Граве, Владимира, кажется, Сергеевича Граве, встречалась с ним в Буэнос-Айресе. А он сам, Пьер Воско? Он сам – нет, он никогда не бывал в Аргентине... Чем больше я приглядывался к нему, тем больше сходства находил в нем с его отцом, или с теми фотографиями Александра Воскобойникова, которые мне довелось видеть; теперь, во всяком случае, когда уже множество фотографий лежит передо мною, или я могу посмотреть на них в компьютере, это сходство для меня несомненно. Он не был, конечно, таким большим и широким, каким был его отец, этот Pierre Vosco, во все продолжение нашей прогулки и прогулок последующих искавший глазами грибы, иногда находивший, но что-то широкое и в нем было тоже, широкие были ладони, широкие были и пальцы, которыми любовно ощупывал он свои микологические находки. И нос у него был такой же самоуверенный, крупнокостистый. Взгляд был не без претензии на орлиность. Все-таки, скажу еще раз, понемногу оттаивал он. Конечно, он чувствовал, не мог не чувствовать, мой ненадуманый интерес к его семье и прошлому, а это ведь всегда лестно, любому из нас.

Кто, в конце концов, интересуется нами всерьез? Кому какое дело до наших личных и фамильных преданий, с каждым днем и часом все беспощадней и безнадежней засыпаемых растущей пустыней?.. Еще я думаю, что неожиданное доверие, когда-то, давным-давно оказанное мне его отцом, было в глазах П.А.В. как бы неким патентом на благородство. А еще, может быть, эти три мюнхенских дня были для него каникулами, перерывом в тяжком служении условностям, которое он почему-то когда-то, кто знает почему, возложил на себя, прорехой в том панцире, в который он был обыкновенно закован. Когда я снова встретился с ним через два года, в его нормандском замке и в обществе его совершенно невыразительной, с поджатыми губками, сухой и мелкой жены, прорех уже не было, доспехи блестели, улыбка отсутствовала... В тот первый день мы прошли Английский сад до самого озера – П.А.В. оказался любителем долгих прогулок, впрочем, признался он, скорее связанных с его страстью к грибам, – посидели в кафе у этого озера, глядя на лебедей, лодочки и водные велосипеды, скользившие по его неизменно подернутой ветром глади, огибавшие таинственный, недоступный гуляющим в парке остров, на высокие, в самую синь неба возносящиеся пирамидальные тополя и склоненные к воде ветлы на острове, на этом и на том берегу, затем вышли в город, в тихие переулки Старого Швабинга, Keferstraße (где в первую мировую войну жил Рильке, застигнутый в Мюнхене этой войною, потерявший все свои вещи и бумаги в Париже), Felitzstraße, Mandelstraße, Werneckstraße. Была чудесная баварская осень, дул легкий, но совсем легкий фён, тот фён, от которого голова еще не болит, но мысли и небо проясняются, и видно далеко, и отчетливо проступают очертания предметов, углы и окна домов, их карнизы, колонны, фронтоны, ясной паутинкой рисуется подъемный кран в конце улицы, над крышами, трубами. Где-то возле метро Münchener Freiheit была, в самом деле, стройка, за невысоким забором, разрисованным уродцами, бэтманами и прочими комиковыми драконами, повеселившимися бы, подумал я, Пьер-Поля и Вивиану; мы довольно долго стояли возле этой стройки, я помню, на драконов нарисованных не обращая внимания, наблюдая за другими, железными, за восхитительным и зверским аппаратом, являвшим собою высоченную, в пять этажей, опору, с которой спускалось на

тросе что-то вроде поршня, упертого в землю; внешний цилиндр стоял на земле неподвижно, а внутренний, в дырках, с апокалипсическим грохотом, по команде сидевшего в кабине с открытой дверью голорукого, смеющегося и толстого рабочего в каске, с высоты пяти этажей, из чистого осеннего неба, падал вниз и на тонком блестящем стержне ввинчивался во внешний, затем вывинчивался обратно, разбрасывая вокруг себя землю и щебень. Это свайный молот, сообщил мне Pierre Vosco, сваи забивают им под фундамент. Его отец обожал стройки, всегда ходил с измазанным известкою рукавом. Ему скучно было в чистом бюро, ему нужно было шлепать по грязи в сапогах и в оранжевой каске. Что-то детское было в этом. Вот, пришел со стройки и переодеваться не буду, а вы как хотите, je m'en fiche, мне наплевать. Ему нравился, по-моему, даже этот грохот, скрежет железа. А еще я думаю, говорил Pierre Vosco, глядя на свайный молот, его восхищала осмысленность совершающегося, осмысленные действия очень многих людей. Каждый делает что-то свое, но все их отдельные действия складываются в некое целое, которого они не видят, которое он видит ясно... Что до меня, говорил Pierre Vosco, то я, доложу вам, всегда предпочитал работать за кульманом, а потом уже ехать спокойненько на природу, в горы или в лес за грибами. Для моего отца стройка и была природой, как я теперь понимаю. Природа вещей, la nature des choses, раскрывалась перед его внутренним взглядом, son regard intérieur. Как трудно говорить об этом по-русски. Он любил, правда, море... Я узнал в тот день от Пьера Воско, что архитектором его отец решил стать еще в детстве, на исходе детства, в отрочестве, или, как вдруг выразился П.В., усмехнувшись в свои ухоженные усы, когда был еще... как это?... teenager... говорят ли так в России? Конечно. Незадолго до первой войны, двенадцати- или тринадцатилетними мальчиками, они решили, что будут строителями, Александр, тогда еще, скажем, Саша Воскобойников и его детский друг, Владимир, тогда еще Володя, наверное, Граве; решили и, в общем, выполнили. Где-то там лежали у моря на песке, и вот вдруг решили, рассказывал мне Пьер Воско, передавая, в свою очередь, рассказы своего отца в конце жизни. Я недавно ездил в Ригу, рассказывал он, теперь это так просто сделать, то есть просто слетать туда, даже визы не нужно, а вот найти там что-нибудь... Там уже никого и ничего не осталось. Может

быть, я не так и не там искал... Я даже не знаю, где они жили в Риге, говорил Pierre Vosco, знаю только, что квартира была строго выдержана в модном тогда югендстиле, что вся мебель была соответствующая и что были вьющиеся, гнутые, столь характерные для Art Nouveau, узоры на стенах, которые мой отец любил потом рисовать в своих тетрадках, блокнотах. Югендстиль вообще, похоже, поразил его в детстве, это для нас югендстиль – история, а он пережил все это ребенком, как что-то новое, необыкновенное, сказочное... Еще я знаю, что после войны, и революции, и гражданской войны они жили все в той же квартире, так что моему отцу было куда с гражданской войны возвратиться. То есть он просто пошел домой, как много раз рассказывал мне в моем детстве – и затем в своей старости, когда мы снова... или, может быть, впервые по-настоящему начали говорить с ним... просто, рассказывал мне Pierre Vosco, пошел к себе домой, когда в мае девятнадцатого года балтийский ландесвер (знаете, что это? спросил он меня совсем так же, как его отец меня некогда спрашивал, знаю ли я, кто такие дипийцы... переведем как *отряд земской обороны*, сам же он и ответил), когда, следовательно, балтийский ландесвер выбил из Риги большевиков, дома, впрочем, не задержался, да там никого и не было, вернулся туда лишь в двадцатом, после поражения Юденича. Его военная эпопея мне как раз известна в подробностях, говорил Петр Александрович, когда мы оторвались, наконец, от созерцания свайного молота, все мое детство только и было разговоров, что о войне, о Юдениче, о князе Ливене, полковнике Дыдорове, о ландесвере, о графе фон дер Гольце, графе Дона-Шлоббитене, майоре Бишоффе, Флетчере и как их всех звали. Мой дедушка с материнской стороны, du côté maternel, тоже был ливенец, говорил Pierre Vosco, они там и познакомились, мой отец и дед, в отряде светлейшего князя. Отец убежал в Либаву, когда ему еще и восемнадцати не было. Откуда убежал? Из Берлина. Потому что он сперва бежал с сестрой и родителями в Берлин от большевиков, а в Берлине уже убежал от родителей, завербовался в ландесвер и уехал в Либаву. Замечательно, что он вступил именно в русский отряд при германском ландесвере, я не знаю почему, то ли потому, что с фамилией Воскобойников сражаться за создание Великого Ливонского Герцогства все же немного смешно, то ли потому, что чувствовал себя скорее русским, чем немцем.

Светлейшего князя Ливена они оба хорошо знали, и отец, и тем более дедушка, переписывались с ним до самой его смерти в конце тридцатых годов. Портрет его потом стоял у нас в гостиной на секретере; в детстве, помню, говорил П.А.В. с каким-то, вдруг, отсутствующим видом, словно он на мгновение провалился куда-то, в детстве мне все казалось, что он на меня и только на меня смотрит своими глубоко сидящими глазами. Глаза у него были как две пули после меткого выстрела... Ливен жил на хуторе, оставшемся у него от огромного когда-то имения, которое латышские власти и не думали ему возвращать. Был такой журнал, рассказывал Pierre Vosco, такой, скорее, журнальчик, с корявым названием «Служба связи Ливенцев и Северозападников», сразу видно, что не писатели, а военные его издавали. У нас дома были все выпуски этого журнала, дедушка сам печатал в них свои воспоминания, такие, знаете ли, говорил Пьер Воско, типические воспоминания военного, схемы сражений, даты походов. Все это сохранилось, конечно, говорил он, отвечая на мой вопрос, лежит где-то на чердаке, там, в Нормандии... В вашем замке? спросил я. В моем доме, ответил он сухо. А к Юденичу, рассказывал он, на мой вопрос отвечая опять же, отец попал очень просто, все с тем же отрядом светлейшего князя Ливена. Юденич, когда стал формировать в Ревеле свою армию, потребовал передать ему русские части, расположенные в остзейском крае. Только князь Ливен послушался. Не то, что Бермондт-Авалов, слышали это имя? Не слышали? Мое невежество его, похоже, порадовало. Был такой авантюрист, добавил он почти снисходительно. Как они ругали его, честили на чем свет стоит, особенно, конечно, мой дедушка. Отца все это не так уж и волновало, мне кажется, для него это был законченный эпизод его юности, перевернутая страница. А дедушка имени этого не мог слышать спокойно, говорил Pierre Vosco, улыбаясь воспоминаниям. Бермондт и предатель, и войска к Юденичу не привел, и на латышей напал неизвестно зачем, и никакой он не князь Авалов, а самозванец и проходимец, и вообще лизал всю жизнь прусские сапоги. Они же проделали с отрядом Ливена весь поход на Петроград, стояли уже в Красном селе. Жаль, что не взяли? Конечно, жаль что не взяли, ответил Пьер Воско, впрочем, без всякого сожаления в голосе. Грустно? Ну, теперь грустить уже нечего. Страшное было отступление от Петрограда, вот это было

что-то очень страшное, судя по всем рассказам... Моего дедушку, маминого отца, звали Петр Сергеевич Саламов, рассказывал Pierre Vosco, он не одну войну прошел, но еще и на японской войне успел повоевать, и Великую войну отвоевал всю, от радостного начала и до позорного конца, а Гражданскую войну закончил в Нарве полковником. Юденич перед самым крахом собирался произвести его в генерал-майоры. Уже не успел.

Мы снова вошли в Английский сад возле университета (у меня уже вовсю гудели ноги, я помню, но Pierre Vosco все шел и шел, как ни в чем ни бывало), возвратились на Одеонсплатц и все-таки, к моему облегчению, закончили прогулку, поужинав в очень дорогом и шикарном (в другие он, мне кажется, не ходил) ресторане на шикарной Brienner Straße; к скуластой и коренастой кельнерше П.А.В. обращался на довольно хорошем, хотя и шипящем, как у всех французов, немецком, всякий раз называя ее *моя милая, meine Liebe*, от чего кельнерша вздрагивала и смотрела в мою сторону, словно прося у меня поддержки. Он сел спиной к окну, забранному белыми, атласными, парадно-складчатыми шторами, светившимися уличным светом. Свет тускнел по мере нашего с ним разговора; затем превратился в желтый, фонарный, сливавшийся с электрическим светом большой, в середине зала, настойчиво и неприятно искрившейся люстры... Нет, дедушку с отцовской стороны, Воскобойникова, он не знал, рассказывал мне Pierre Vosco, отвлекаясь от чтения огромного, на белоснежной плотной бумаге отпечатанного меню, этот дедушка Воскобойников, Николай Тимофеевич, умер в Риге в тридцать пятом, или тридцать шестом году, он точно даже не знает в каком. Служил на железной дороге? Ну, он не просто служил на железной дороге, говорил Pierre Vosco, улыбаясь в ухоженные усы, он был, в общем-то, начальник этой железной дороги, был инспектором железных дорог остзейского края, или как-то так называлась эта должность, был действительный статский советник, или как-то, опять же, так... Он сперва был начальником Либаво-Роменской железной дороги, была такая, вот это, говорил Пьер Воско, я запомнил из рассказов отца, а потом, очень скоро, начальником над всеми дорогами в крае. И в независимой Латвии он тоже был каким-то самым главным человеком на железных дорогах, так что они не бедствовали. А бабушку, да, бабушку я отлично помню, говорил Pierre Vosco, отец перевез ее в Париж

вместе с сестрой, моей теткой, в самую последнюю минуту, в тридцать девятом, когда уже диктаторы договорились друг с другом и пресловутый пакт был подписан... Бабушка была строгая немецкая женщина, без эмоций, но к Гитлеру симпатий не питала, надо признать, и *домой в Рейх*, heim ins Reich, ехать бы все равно отказалась. И значит, погибла бы в сороковом под советами, если бы отец мой не настоял на отъезде. Я в детстве ее побаивался, говорил Pierre Vosco, плоскими и широкими пальцами разглаживая скатерть перед собою. То есть я почти и не знал ее в детстве, она переехала в Париж, когда мне было четыре года от роду, говорил он с улыбкой, показывавшей, что он уже и сам не может представить себя четырехлетним дитятей, и что, конечно, я не могу этого, и что он понимает, что я не могу, да, четыре года от роду, а уже через год, или полтора года, мои бабушка и дедушка, то есть настоящие дедушка и бабушка, с маминой стороны, du côté maternel, увезли меня на юг, в свободную зону. Моя мать не поехала с нами, как мы ни уговаривали ее... Так что я, в сущности, познакомился с этой немецкой бабушкой только после войны... я, кстати, никогда не называл ее бабушкой, я вообще не знал, как называть ее, про себя прозвал ее фрау Эльза, но, конечно, никогда не обращался к ней так. Хотелось сказать ей *гнедиге фрау*, но мне бы этого не позволили, сочли бы насмешкой. Она жила возле парка Монсо, в хорошем квартале; какие-то были у нее деньги, вовремя переправленные во Францию. Денег тогда не было ни у кого, мы все были бедные, должен сказать вам, всматриваясь в задумчивую даль говорил владелец альпийского шале и нормандского замка. Жила она почему-то с подругой, компаньонкой, фрау Шенк, балтийской немкой, как и она сама, сухопарой старухой, очень молчаливой и очень доброй. Эта фрау Шенк моей бабушки, по-моему, тоже боялась, ее все боялись, кроме моего отца, я так думаю. Отца она баловала, а меня, мне кажется, не любила. Мы жили с дедушкой и бабушкой, с настоящими бабушкой и дедушкой, в Villancourt, где много жило тогда эмигрантов... Давайте с вами выпьем просто водки, как русские люди? По воскресеньям, рассказывал Петр Александрович, когда мы выпили с ним, действительно, водки, которую оробевшая скуластая кельнерша подержала, по его просьбе и настоянию, пять минут в морозилке, по воскресеньям полагалось ездить в русскую церковь на гие

Дагу, за этим моя бабушка, настоящая бабушка, Елена Васильевна, следила строго. Она-то как раз была не строгая, рассказывал Пьер Воско, про себя и в свои усы улыбаясь, но тут поблажки никому не давала, ни мне, ни дедушке. Она даже не была очень набожной, вот что странно... А после службы отец, сам ни на какую службу не ходивший, ни лютеранскую, ни православную, забирал меня к моей немецкой Großmutter, фрау Эльзе, обедать или пить кофе с кухенами, приготовленными сухой компаньонкой. Почему-то иногда мы обедали, а иногда только пили кофе, и тогда обедали сначала вдвоем в ресторане. Какой был отец в те годы? Отец был грустный и отстраненный, вот какой, или таким он вспоминается мне, сказал Пьер Воско, отвечая на мой вопрос. Да, снова сказал он, как будто еще подумав, еще точнее вспомнив, в те годы, перед Аргентиной, отец был грустный, отстраненный, и озабоченный чем-то, вот именно так, отстраненный и озабоченный. И все время рисовал что-то в своем блокноте, и тут же зачеркивал то, что нарисовал. Эскизы домов, которые не верил, что построит когда-нибудь... Водки мне в ту пору, конечно, не полагалось, а сам он выпивал из графинчика, говорил Пьер Воско, вертя в широких пальцах свою стопку, уже пустую. Русских ресторанов в Париже тогда еще было много. Иногда он словно вспоминал вдруг, мне кажется, что вот ведь перед ним его сын и надо попытаться найти общий язык с этим сыном, начинал меня спрашивать о моей жизни, о лицее, о моих грибных подвигах. Я тогда уже увлекался грибами. Я увлекся собиранием грибов во время войны, когда мы жили в свободной зоне, в Пиренеях, на ферме моего дяди, маминого двоюродного брата, попытавшегося воссоздать в эмиграции родное владимирское имение... Там были горы и были грибы, две страсти всей моей жизни, рассказывал Pierre Vosco, обнаруживая способность шутить, которой я не предполагал в нем. Но с отцом, рассказывал он, я сблизиться в ту пору не мог. В глубине души, как я теперь понимаю, я винил его в гибели моей матери. Мать была героиня, а отец получался злодей... Я и вправду лишь в последние годы его жизни научился разговаривать с ним, или он, может быть, научился разговаривать со мной, я не знаю, в моем детстве и отрочестве, как бы то ни было, мы разговаривать друг с другом еще не умели, рассказывал мне Пьер Воско, так что уж лучше было идти поскорее пить кофе к Großmutter, и я на всю

жизнь возненавидел, признаться, этот жидкий немецкий кофе и кислый яблочный пирог с приторными взбитыми сливками. Я вообще ненавижу сладкое, должен вам доложить, сообщил он, улыбаясь не без самодовольства, даже в детстве я не ел никаких этих, знаете, пряников, никаких этих, знаете ли, конфет. На обед же у фрау Эльзы подавалась страшная вещь под названием Linseneintopf, род чечевичной похлебки с нарезанными и накиданными в нее сосисками, первое и второе блюдо одновременно. Фрау Эльза, рассказывал Пьер Воско, принимаясь за ростбиф, принесенный ему смущавшейся по-прежнему кельнершей, фрау Эльза утверждала, что Франция вообще грязная, и французские длинные булки, baguettes, норовила обжарить на открытом огне, на газу, то есть просто брала такую baguette, разрезала на несколько кусков, наткала их на длинную вилку и держала на огне, покуда они не начинали обугливаться. Но горячими есть не давала, горячий хлеб вреден будто бы для здоровья. Получались горелые сухари, вот и все. Croissant вообще был в ее глазах непростительной роскошью и символом галльского декадентства, французский сыр, как это? camembert или brie, тоже считался вредным, goscfort гнилью и гадостью. Говорила она только по-немецки, доложу вам, громко и решительно, на улице тоже, в лавочке тоже. Они нарочно, мне кажется, громко говорили по-немецки на улице, она и фрау Шенк, то есть фрау Шенк и хотела бы, наверное, говорить не так громко, но фрау Эльза сразу делала вид, что не слышит, и сама начинала кричать. Можете себе представить, как после сорокового года смотрели на них соседи, как смотрели в сорок четвертом. Сразу после освобождения какие-то гавроши, gavroches, пытались с ними расправиться... Запугать ее было трудно. Между прочим, во время войны оказалось, что фрау Шенк наполовину еврейка, чего по ней совсем незаметно было. Все-таки их не тронули... Я только теперь, состарившись, стал понимать, что она была не такая уж карга и гримза, как мне казалось в детстве, говорил Pierre Vosco, разрезая свой ростбиф. Руки его двигались уверенно, с сознанием своей правоты... У нее тоже, говорил он, было свое романтическое прошлое. Вышла же она за моего дедушку Воскобойникова, русского и незнатного, пускай в чинах, но все же внука заводчика из-под Пензы, взяла и вышла, к ужасу своей баронской родни. То есть, кажется, просто влюбилась и вышла

замуж, ни у кого не спросившись. Правда, сына отправила в немецкую гимназию, а дочь в немецкую Mädchenschule, настояла на этом. Еще отец мне рассказывал, в свою очередь рассказывал мне Пьер Воско, что она занималась благотворительностью, сурово и тихо, всю свою жизнь, впрочем, как мой отец выражался, в соответствии с собственными, довольно оригинальными представлениями о нужном и должном. Пастор ее прихода отбирал для нее добропорядочных бедных девиц, она с ними беседовала, и если девица нравилась, снабжала ее приданым. Иногда и жениха ей подыскивала. И очень бывала недовольна, знаете ли, если девица отказывалась идти за того, за кого она, мадам Воскобойникова, урожденная баронесса Фитингоф, ее выдавала. Словом, самоуправствовала. Все это в Риге двадцатых и тридцатых годов уже было совершенным анахронизмом, как вы понимаете. Это годилось для ее собственной бабушки, моей, следовательно, прапрабабки, добавил Pierre Vosco с какой-то, показалось мне, иронической гордостью, тоже, разумеется, баронессы, не выезжавшей, будто бы, из своего замка под Газенпотом, потому как ничего хорошего в мире все равно нет, а если кому нужно, то к ней пускай приезжают. И приезжали, между прочим. Со всей Курляндии съезжались к ней на охотничьи партии, parties de chasse... нет, так нельзя сказать по-русски... на охоту, скажем просто и кратко. Она сама была знаменитая охотница, эта моя прапрабабка, и трубку, говорят, курила, и шнапс пила не хуже любого мужчины. Все это уже из области преданий. Таких преданий было много. Когда кофе бывал выпит, фрау Эльза начинала рассказывать мне в поучение, какая замечательная была жизнь у них там в Курляндии. Меня это совсем не трогало, да и понимал я по-немецки довольно плохо. Это были рассказы какие-то прямо... эпические, говорил Pierre Vosco, вновь улыбаясь воспоминаньям (я подумал, что его французской жене, французским же сыновьям никакого дела нет, наверное, до всех этих эпических рассказов, курляндских легенд...). Все предки, и родственники, и даже знакомые, и даже знакомые знакомых – все это были, если верить ей, богатыри и герои, бесстрашные воины, великолепные наездники, замечательные охотники, хлебосолы, острословы, красавцы. А все женщины, конечно, красавицы. Вообще у нее получалось так, что только балтийские немцы хорошие, все остальные не очень. Латышей и эстонцев

она презирала как неотесанных мужиков, латыши, по ее словам, были вообще не народ, а так... племя, *der Stamm der Letten*, говорил, уже прямо смеясь, баском, Пьер Воско, но и к не балтийским, *имперским* немцам, к *Reichsdeutschen* большой любви она не испытывала, называла их всех педантами, обывателями, а после войны и садистами. Лучше всего она относилась, наверное, все-таки к русским. Да и считала себя до самой смерти, как многие балтийцы, подданной *русского кайзера, царя, des russischen Kaisers, des Zaren*, никаких других государей и государств, в общем, не признавала. К французской республике относилась с презрением. Но и русские, ясное дело, никакого сравнения не выдерживали с балтийскими немцами, балтами, как она называла их. Балты, *die Balten*, вот это были люди, не люди, а настоящие рыцари. Вот у них бы никогда не было ни большевиков, ни нацистов, они бы не допустили. Читала она почему-то одного Шиллера... или так мне это запомнилось. С большим чувством декламировала на память *Die Kraniche von Ibykus*, по-русски это как называется? *Ивиковы журавли*, вот как? и требовала, чтобы я восхищался. А я не восхищался, я и не понимал половины, хотя на всю жизнь запомнил, конечно, что *es gestehn die Bösewichter, getroffen von der Rache Strahl*. Мне вообще все это было совершенно не нужно, говорил Pierre Vosco. Стыдно сказать, но я в свои четырнадцать лет даже как-то не заметил ее смерти, так был занят своим и другим. Просто прекратились вдруг эти воскресные визиты, этот кислый кофе с апфелькухеном, эти рассказы о балтийских богатырях. А потом и отец уплыл в свою Аргентину. А фрау Шенк, между прочим, дожила до неправдоподобно-глубокой старости, отец потом навещал ее, когда вернулся в Париж, раз в месяц, все в той же квартире.

Мои родители, рассказывал Pierre Vosco, познакомились в самом конце двадцатых, или может быть, в тридцатом году. Отец вообще нередко навещался в Париж, по архитектурным ли делам или по делам бывших ливенцев, я не знаю, говорил Петр Александрович, покончив с ростбифом, разглаживая усы. Я только знаю, что ему было тесно и скучно в Риге, хотелось в большой мир, на европейский простор. Он строил вообще немало, строил пакгаузы в Виндаве, тогда уже Вентспилсе, гимназию в Гольдингене, тогда уже Кулдиге, частные дома в Риге и в Туккуме. Я кое-что из этого

видел, когда ездил в Латвию в прошлом году, говорил Петр Александрович, разгладив усы, принимаясь разглаживать скатерть. Хорошая солидная работа, функционализм с элементами ар-деко, скажем так. Но это еще не он, не его стиль, не его ритм. Он участвовал даже в строительстве знаменитого рижского рынка, переделанного из цепенелиновых немецких ангаров, но все-таки на вторых ролях, под началом Павла Дрейманиса, своего товарища по университету. В общем его обходили, или так он смотрел на это, так чувствовал. Тот же Дрейманис, всего на пару лет его старше, уже был знаменитостью, главным рижским модернистом... Никакого десерта, только эспрессо, объявил он скуластой кельнерше с таким высокомерно-возмущенным видом, что уже не мольбу о поддержке, но крик о помощи прочитал я в ее глазах... Что же до, собственно, знакомства его родителей, рассказывал П.А.В., то состоялось оно в синематографе где-то на Монпарнасе, куда его дедушка, полковник Саламов, пошел со своей дочерью Ниной, его, Петра Александровича, будущей мамой, смотреть новую фильму Чаплина. Теперь говорят *фильм*, он знает, но его *grands-parents* говорили *фильма* и Чаплина на французский манер называли *Шарло*. Нет, сказал он, отвечая на приведенную мной цитату, он не помнит этих стихов Ходасевича, он стихов вообще не читает и плохо в них разбирается. Его мама писала, кстати, стихи... А вот то, что они именно так и там познакомились, это он знает точно, ему об этом слишком часто рассказывали... Почему-то они пошли вдвоем в синема, его мама и дедушка. И там встретили его будущего папу, совершенно случайно. Потом дедушка пригласил отца в гости, как бывшего товарища по оружию... Какая именно *фильма с Шарло*? Вот этого как раз он не знает, никогда их об этом не спрашивал, даже странно, отвечал П.А.В., сам, показалась мне, удивляясь, что не додумался до такого простого вопроса. А теперь ведь спросить уже некого... Его маме, рассказывал он с какой-то хмурой нежностью, было тогда лет двадцать, она была, как он теперь понимает, довольно экзальтированная молодая особа, писала, в самом деле, стихи и мечтала пойти в артистки, к ужасу своих благородно бедствовавших родителей. Она погибла, когда ему было шесть лет, и конечно, он из нее сделал святую. Святой, как не трудно догадаться, она не была, но была из тех русских женщин, которые жаждут жертвы и подвига; она их и

получила. Собственно, с его отцом, говорил Pierre Vosco, они совсем не подходили друг к другу. Отец не был флегматик, но экзальтации никогда в нем не чувствовалось и чужую восторженность переносил он с трудом. Он любил сидеть в кафе и смотреть на прохожих. Или рисовать в своем неизменном блокноте что-нибудь, иногда даже не связанное с архитектурой, а просто и втихомолку людей за соседним столиком. Вот этого бородатого он бы точно нарисовал, говорил П.А.В., окончательно оттаяв, указывая коротким кивком на сидевшего наискось от нас сурового господина с седой и гладкой бородкой. Тот заметил, или почувствовал, наши взгляды, обернулся с возмущенным недоумением... В общем, он хотел, кажется, чтобы его оставили в покое, рассказывал П.А.В., а у мамы каждый день должно было происходить что-нибудь, какое-нибудь событие, огромное, важное, чуть ли не мирового значенья. Ей хотелось переживать, а из переживаний делать стихи. О стихах я судить не берусь, наверное, многие барышни писали тогда такие. Она даже печатала их, под своей девичьей фамилией, Нина Саламова. В «Современные записки» ее не брали, но в каких-то более скромных и скоротечных изданиях стихи ее появлялись. В начале тридцатых они ходили, кажется, на все русские литературные собрания, всех знали, и Мережковских, и того же Ходасевича, и Алданова и даже, кажется, Бунина, не говоря уж о молодых парижских поэтах, с которыми мама дружила. У меня есть письма к ней Поплавского, Юрия Фельзена. Отец мой никогда себя в этой среде своим не чувствовал. А расставаться они начали, похоже, после того, как я появился на свет, рассказывал Pierre Vosco, вновь улыбкой показывая, что понимает невозможность вообразить его завернутым в пеленки младенцем (*пеленашкой*, написал бы Лесков; словечко, кстати, процитированное А.Н.В. в одной поздней записи...). Может быть, не сразу, говорил бывший *пеленашка*, ныне Петр Александрович Воскобойников, владелец нормандского замка, может быть, через год, через два. Они не развелись, но мы жили почти всегда, или так мне теперь это помнится, у дедушки и бабушки в Billancourt. А ведь сперва они снимали отдельную квартиру в Париже, возле Gare de l'Est, отец потом жил в ней до отъезда в Аргентину, один. То есть моя мама, получается, просто ушла от отца, взяв меня с собою, и мне никто никогда не мог сказать почему. Отец, когда я потом его

спрашивал об этом, через много лет, спустя вечность, как вы изволите выражаться, уже не помнил, или не хотел вспоминать, тех ссор и страданий... Ссоры были, во всяком случае, это он сам помнит точно, продолжал Pierre Vosco, хотя вообще-то почти не помнит ее, свою маму, его увезли на юг, она осталась в Париже, так что он в последний раз видел ее, когда ему было лет пять. Так, говорил он, поглядывая по сторонам, на господина с бородкой, или сквозь него, щурясь, хмурясь, смягчившимся голосом, какие-то совсем смутные воспоминания пробиваются сквозь темноту, немоту. Он помнит ее слезы, да, вот это он помнит. Помнит, как они сидят за столом и шьют, мама и бабушка, бабушка все время шила что-то для денег, сидят и шьют, а он сидит на сундуке в углу, болтает ногами и смотрит на бабушку и на маму, которые то и дело просят его не стучать ногами по сундуку, потом снова забывают о нем, говорят о своем. И он это потому, наверно, запомнил, что день за окном был какой-то необыкновенно яркий. Или день, наоборот, кажется таким ярким, потому что он запомнил его. День сияет изо всех сил за окном, солнце лежит на скатерти. Скатерть в красноватых ромбах, так ему это запомнилось, говорил Pierre Vosco, хмурясь, щурясь по-прежнему, по скатерти разбросаны обрезки, ножницы, нитки. А мама плачет и тычет иголкой в такую, знаете, подушечку, в которую втыкают иголки. И слезы ее прямо сияют на солнце, катятся по щекам и сияют. И ей это самой становится смешно, так что она утирает эти сияющие слезы, и смеется, и продолжает плакать. А бабушка отбирает у нее подушечку своей еще не старой рукой в серебряных русских кольцах, которые никогда не снимала, которые вспыхивают, в свою очередь, и потому он так ясно теперь их видит, на солнце, и протягивает ей тоже серебряный, и тоже сияющий на солнце, наперсток... В Резистансе участвовало много русских, как вы, может быть, знаете, сказал Петр Александрович без всякого перехода, само слово *резистанс* придумал Борис Вильде, назвал так свой подпольный листок. С группой Вильде она не была связана, хотя они встречались на Монпарнасе. Она была связана с анархистами, как потом выяснилось; еще в тридцатые годы была связана с ними; когда началась война в Испании, уговаривала отца ехать туда воевать. Отец отвечал ей, как мне потом рассказывал, что навоевался уже на гражданских войнах. Все-таки она чуть не уехала вместе с какой-то «анархистской

группой пятнадцатого округа», не спрашивайте меня, что это. Они жили не в пятнадцатом округе, тогда, кстати, совсем не таком шикарном, каким он сделался после войны, но как-то она к этой группе примкнула, почти, действительно, уехала с ними. Отец в последнюю минуту убедил ее остаться в Париже. В конце концов, у нее ведь был маленький ребенок, говорил Pierre Vosco, невесело, в усы, улыбаясь. От ее родителей эти левые симпатии надо было скрывать, как самую большую, самую страшную тайну... Нет, я не думаю, что они с отцом расстались из-за политики, во всяком случае, не только из-за политики, из-за одной политики не расстаются. Как бы то ни было, в Испанию она не поехала, мужа бросила, жила у родителей, помогала бабушке шить, воспитывала меня, или не воспитывала, уже все равно, писала стихи, а в сорок первом или в сорок втором ушла в Резистанс, как другие уходят в скит. Анархистская группа была малюсенькая, и ничего они особенного не делали, так, разбрасывали листовки. Анархисты вообще большой роли не сыграли в Соппротивлении. Почему ей взбрело в голову убить именно этого офицера, никто понять не мог. Он даже не был эсэсовец, был просто офицер вермахта, стоял, смешно сказать, на набережной у пресловутых букинистов, перед их черными ящиками, мирно рассматривая книги. Как вы это и теперь делаете, не сомневаюсь, всякий раз, когда приезжаете в Париж. Я точно знаю, говорил П.А.В., где он стоял (на левом берегу, на quai des Grands-Augustins), и какую книгу держал в руках (первое издание *Les nourritures terrestres* André Gide'a), и как звали этого офицера (капитан Вальтер Шликевич). Она подошла к нему вплотную и молча, быстро ударила в грудь кинжалом. Кинжалом (poignard) этот кинжал называли потом в газетах, poignard – это мифология, воспоминания о Бруте и Кассии. Это был обыкновенный нож, кухонный, длинный, с деревянной рукояткой. Все это ужасно было глупо, как я теперь понимаю, говорил Pierre Vosco, морщась, хмурясь, крутя ложечкой в керамической чашке с эспрессо, принесенной преодолевшей страх скуластою кельнершей, хотя крутить там ложечкой никакой нужды не было, сахар он, очень гордо, отказался туда насыпать, и между прочим немцы, говорил он, после этого расстреляли нескольких ни в чем не повинных заложников, так что это вообще был поступок с моральной точки зрения довольно сомнительный. Все же ее объявили после войны героиней, и он сам в детстве

считал ее героиней, прямо какой-то Jeanne d'Arc или Charlotte Cordé... А через много лет, уже в шестидесятые годы, рассказывал Pierre Vosco, его разыскала дочь этого офицера, Беттина Шликевич, так ее звали, и они встретились в кафе, и просидели часа два, глядя друг на друга. Она была студентка, очень левая, как все студенты в то время. У него сохранилась фотография, как они сидят за столиком, снимала ее приятельница, она пришла с приятельницей, видно, боялась одна идти на такое свидание. Приятельница потом ушла, а они остались сидеть. О своем отце рассказывала она, с чужих слов, что тот был убежденный наци, яростный антисемит, но, кажется, ни в чем таком кромешном замешан все-таки не был. Был при этом образованный человек, знал древние языки, оставил большую библиотеку в ненужное ей наследство. Фотографию он мне может прислать, если уж меня так сильно это интересует, говорил Pierre Vosco, допивая свой горький эспрессо; совсем крошечной казалась чашечка в его широких и плоских пальцах. Он может мне прислать разные фотографии по электронной почте, если я хочу, говорил Pierre Vosco, он теперь как раз занимается... как вы называете это?... дигитализацией архива. Смешное слово, но пусть будет так. Этот Hauptmann Schlickewitz умер на другой день в больнице. А его, Петра Александровича, невообразимая мама, Нина Петровна Саламова, даже не пыталась бежать или скрыться в толпе, так что ее тут же схватили, продержали полгода в гестапо, судили военным судом и расстреляли, в конце концов, в той крепости Mont Valérien, где потом расстреляли Бориса Вильде с его группой и где они вообще расстреливали участников Резистанса. Ее пытали перед смертью, конечно. Держалась она героически, никого не выдала, ни одного имени не назвала. Он всю жизнь старался, и теперь старается, не думать об этом. Если думать об этом, то как тогда жить? Если всерьез и в самом деле об этом задуматься, то как тогда... все равно. В Германии он до сих пор не бывал и вряд ли снова приедет. Хотя Мюнхен – красавец, говорил Pierre Vosco – вот не помню, в заключение этого, или в начале следующего разговора и дня, в Олимпийском парке, куда, как архитектор и сын архитектора, он непременно хотел съездить, куда я отвез его на машине, Мюнхен – красавец, этого он отрицать не может, говорил Pierre Vosco, поднимаясь вместе со мною на ярко зеленый, еще не тронутый

осенью холм в Олимпийском парке, тот холм, в который, готовясь к олимпиаде 1972 года, превратили знаменитую гору мусора, оставшуюся после войны, и откуда Мюнхен виден весь, так же ясно, со всеми его куполами, как, особенно если дует фён, раскрывающий пространство, очищающий зрение, видны далекие, снежные, всегда и всякий раз неправдоподобные Альпы.

Глава 6

I was the world in which I walked, and what I saw
Or heard or felt came not but from myself;
And there I found myself more truly and more strange.
*Wallace Stevens*⁶

Грибы в Олимпийском парке в основном были древесные, особенно в дальней его части, через которую мы шли к холму и стадиону от боковой улицы, где я поставил машину; из всех латинских и не-латинских названий, произнесенных Пьером Воско, я запомнил только *уудино ухо*, в латинском своем варианте (*Auricularia auricula-judae*) получающее странное удвоение, как бы дополнительный завой, вторую, тоже ушную, раковину; так названными оказались ухообразные, в самом деле, висло- и лопухие, прозрачно-склизкие, просвеченные солнцем, семейственные существа, к которым Пьер Воско, удовлетворенно крякнув, устремился по сыроватой возле канала траве. Еще больше, конечно, было сморщившихся созданий из той породы, объяснил мне Pierre Vosco, которую по-русски зовут без долгих рассуждений *опятами*, по-французски *armillaires*, хотя на самом деле все они относятся к очень разным родам и семействам; на высоких, в два или три человеческих роста пнях, которые довольно часто встречаются почему-то возле мюнхенских рек и каналов, на осязаемо-волокнистой, живым мхом покрытой, живым плющом увитой коре торчали они желтыми, бурыми, розоватыми гроздьями; внутренняя плоть их была сухой, твердой, известково-белой, напомнившей мне ту замазку на окнах, между стеклом и рамой, которую в детстве мы отдирали пальцами, на даче где-нибудь,

⁶ Я сам был тем миром, где бродил, и то, что я видел, слышал, ощущал, исходило от меня самого; там я обрел себя иного, подлинного и незнакомого. *Уоллес Стивенс*

когда она рассыхалась, и затем долго крошили в руках, оставляя белые отметины на полу, на диване. Что же до олимпиады 1972 года, подумал и сказал я Петру Александровичу, то это была, пожалуй, единственная олимпиада, не считая московской, которую я вообще заметил, запомнил. Для предыдущих я слишком был мал, а последующие уже не интересовали меня. В 1972 году мне было двенадцать лет, я ходил, смешно вспомнить, в какую-то спортивную, как тогда это называлось, секцию, в которую, скорее, заставляли меня ходить в бесплодной и абсурдной надежде, что из увальня и лежебоки я чудесным образом превращусь в лихого и легкого прыгуна, бегуна, сжав зубы и собрав волю в кулак побивающего рекорды изумленных товарищей, из Обломова в Штольца, из Пьера Безухова в князя Андрея...; чудеса, конечно, случаются, но они случаются сами, по собственному своему произволу, тогда и там, где они хотят, не там и не тогда, когда мы хотим этого. Чудом, хотя и крошечным, рассказывал я Пьеру Воско, был скорее значок этой мюнхенской олимпиады, кем-то мне привезенный из мифической заграницы. Само слово *Мюнхен* там, за железным занавесом, отзывалось чем-то чудесным, воздушно-недостижимым. Значок этот остался в памяти голубеньким, вверх вытянутым прямоугольником со спиралевидной, улиточною эмблемой. Я подарил его другому мальчику, на три или даже четыре года старше меня, то есть, в моих тогдашних глазах, почти взрослому, и воплощавшему все то, чем я не был, побивавшему рекорды и собиравшему волю в кулак, видевшему мое восхищение им и чуть-чуть, пожалуй, меня опекавшему, ко мне снисходившему. Он прицепил значок к майке и гордо бегал с ним по гаражной дорожке, гордо прыгал с шестом. У него волосы падали на лоб косою прядью, трящейся от бега и прыга, намокавшей от пота. Вот не могу только вспомнить теперь его имени. А на другой день, в раздевалке, он стал душить меня шарфом, при всех. Из этих всех никто не вмешался. Я замотал шарф вокруг шеи и собирался надеть пальто, когда он вдруг схватил этот шарф за оба конца, повалил меня на пол и молча, своими сильными, с отчетливо выступавшими костяшками пальцев руками, принялся затягивать у меня на шее петлю, так что, уже задыхаясь и почти теряя сознание, я очень ясно видел, навсегда запомнил его склоненное надо мною, с прыгавшей прядью и безумными, злыми,

смеющимися глазами лицо, и вскоре после этого я перестал ходить в спортивную секцию, чуда не случилось, Обломов остался Обломовым, но самым поразительным кажется мне теперь то, что в свои тогдашние двенадцать лет я как будто и не слышал о теракте во время этой олимпиады, не могу, во всяком случае, вспомнить, чтобы слышал о нем тогда, рассказывал я Пьеру Воско, то ли потому, что советская пресса вообще говорила о нем вполголоса, в прямую одобрить его не решаясь, но и осуждать не желая – все-таки палестинцы были закадычные друзья всех советских людей, рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции впридачу, а израильтяне по определению плохие, вообще евреи и даже, по большому счету, жида, – то ли потому, что меня это просто не интересовало, а интересовал только бег, прыг и скок, что, впрочем, маловероятно, поскольку, кажется мне теперь, в двенадцать лет я был куда более политизирован, чем в двадцать или, например, в сорок пять, и тогда же, например, или незадолго до того случившийся уход американских войск из Вьетнама спровоцировал меня, все в той же патетической раздевалке, на антисоветские высказывания, исполненные горячей до слез любви к империализму и американской военщине, на что мой будущий душитель, тряхнув косой прядью, пробурчал, обращаясь ко всем прочим полуодетым участникам сцены, что он в мои годы заботился только о том, где взять девять копеек на мороженое, а вовсе не о судьбах Вьетнама, Лаоса или Камбоджи. Все это теперь кажется сном, но все это вправду было со мною. Пьер Воско сообщил мне в ответ, что он никогда, наверное, не видел своего отца плачущим, но все же, или так ему теперь кажется, заметил в его глазах подозрительную влагу, когда стало ясно, что первоначальное известие об освобождении заложников было ошибочным и что они все погибли при бездумной и бездарной попытке их освобождения, предпринятой растерявшимися баварскими полицейскими. Отец его любил Мюнхен, несколько раз бывал здесь в шестидесятые, семидесятые годы, нарочно ездил сюда перед самой олимпиадой, чтобы посмотреть на стадион и выразить свое восхищение его создателям, Фрею Отто, придумавшему гениальную крышу, и Гюнтеру Бенишу, придумавшему все остальное. Отец хорошо знал их обоих, он сам, Пьер Воско, встречался с Бенишем несколько раз, даже участвовал с ним и его коллегами в одном совместном

проекте. Стадион был весь виден нам с той, на развалинах и обломках, погибших надеждах и утраченных иллюзиях возведенной горы, с которой, если смотреть в другую сторону, так ясно в тот день видны были снежные горы, так ясно виден был, на фоне гор, город. Сверху, хотя мы совсем близко от него находились, стадион за озером и лужайкой казался не очень даже большим, с его распластанными шатрами, скорее маленьким, скорее игрушечным, во всех смыслах слова, не для олимпийских, вообще спортивных, но для детских и подлинных игр предназначенным, тех ранних и лучших игр, способность к которым мы навсегда теряем, вступая на путь состязания, тщеславия и борьбы...; дальше, за ним, видны были здания олимпийской деревни, место трагедии. Шамаханские шатры, сказал Пьер Воско. Это не его слова, это он нашел в отцовских записях... или, может быть, на обороте одной из фотографий, сделанных А.Н.В., он точно уже не помнит. А.Н.В. фотографировал очень много, в конце жизни особенно; вполне всерьез занимался фотографией; среди его снимков есть, скажем просто, шедевры... Шатры и горы, говорил Пьер Воско, поворачиваясь обратно к горам. Не совсем тот же рисунок, но все же сходства нельзя не заметить, не правда ли? Это моему отцу было близко, то есть это была вообще его самая заветная мысль. Архитектура воспроизводит природные формы и вписывается в ландшафт. Он пропагандировал, нет, пропагандировал это еще до войны, когда никто в Европе не хотел его слушать. В Америке был, конечно, Фрэнк Ллойд Райт с его органической архитектурой, да и в Европе что-то похожее намечалось в двадцатые, потом замерло, возобновилось где-то, сказал бы я, в середине пятидесятих годов. Тогда и наступил его звездный час, шестидесятые, семидесятые, лучшие годы в жизни моего отца, как я теперь понимаю. Вас это удивляет? Нет, сказал я, почему это должно удивлять меня? Потому что ему было пятьдесят девять в шестидесятом и шестьдесят девять в семидесятом году... Он строил до самого конца, между прочим, и последние работы, может быть, самые лучшие, самые гармоничные... Шестидесятые годы ему как-то были сродни. Он был опять молодой и счастливый, как ни странно, в свои шестьдесят и семьдесят, а время ведь тоже было молодое, живое. Он строил тогда по всему миру, в Японии, в Америке (Северной). Нет, конечно, ни в каких студенческих волнениях он не участвовал,

отвечал П.А.В. снисходительно, улыбаясь в усы, но студентам скорее сочувствовал. Он ведь сам был немножко хиппи. Всегда был немножко хиппи, а в это время даже стал одеваться как хиппи, не совсем как хиппи, конечно, но все-таки бросил носить галстуки и стричься тоже стал очень редко. Я хорошо помню, как он вернулся из Аргентины, рассказывал Pierre Vosco, когда мы спускались с ним к стадиону. Я почему-то решил его встретить в Марселе. Мне было пятнадцать лет, когда он уехал, а когда он вернулся, уже двадцать пять. Это был март... или апрель?... шестидесятого года, то есть они уплыли из Аргентины в начале осени, а приплыли в начало весны. Я сразу узнал его, но не уверен теперь, по собственным ли воспоминаниям, или все же по фотографиям. В конце пятидесятих годов во всех архитектурных журналах были снимки его моста в Рио-Давиа, его музея, его вокзала, его домов, его парков, его самого на фоне этого музея, моста. Вивиане было три года, она капризничала и не хотела сходить по трапу. Мария показалась мне, когда я впервые ее увидел, ослепительной восточной красавицей... Самое смешное было потом, когда таможенники принялись за их багаж, наполовину состоявший из камней, ракушек и обглоданных морем веток. А.Н.В. всю жизнь собирал такие вещи. Лиц таможенников, говорил, смеясь в свои усы, Pierre Vosco, не забуду уже никогда. Один из них был совершенно комический персонаж, напоминавший тех толстяков, которых Чарли Чаплин (Шарло) использовал в эпизодических ролях, чтобы они оттеняли его собственные трюки и выходки. Чиновник этот полчаса, наверное, тряс животом и щеками, давясь от хохота, перебирая переложенные соломой ракушки, собранные А.Н.В. на берегу Атлантического океана. Потом еще полчаса, и по-моему нарочно так долго, ставил со всего размаху штампы на каких-то бумагах, прищелкивая языком и подмигивая коллегам, чтобы они, значит, тоже полюбовались на чудака с французским паспортом и аргентинской женой, привезшего из Нового Света чемодан, набитый камнями и палками.

Изнутри и снизу шатер стадиона напоминает, скорей, паутину, полотна плексигласовой паутины, развешенные на шестах, укрепленные тросами. За небольшую плату можно войти внутрь, даже когда никто не бежит, не прыгает, не поет. Мы сели в одном из верхних рядов в узкие неудобные кресла. Солнце лежало на противоположной

стороне стадиона, не закрытой плексигласовой паутиной, на бледно-зеленых креслах, наискось перерезало ярко-зеленое футбольное поле с широкой гаревой красной дорожкой вокруг него. Что-то происходило на этом поле, часть его, не совпадавшая с солнечной, была закрыта серым брезентом, посередине намечалась эстрада, какие-то трубы лежали в углу блестящую кучею, редкие рабочие в ярко-желтых касках ходили от труб к эстраде, от эстрады к трубам, маленький и тоже ярко-желтый погрузчик с выставленными вперед вилками тихо ехал в ему одному понятную сторону. Вообще все казалось маленьким там внизу, на поле, и оттого что казалось маленьким, казалось, что и движется медленно. Мы долго сидели молча. Неожиданный покой был во всем этом, в этом медленном и бесшумном движении маленьких машин и людей, в этом скрещении двух линий, брезентовой и солнечной, поделивших поле на четыре части, по-разному освещенные, в этом по-прежнему сине-глубоком небе над стадионом. Рядом со мной сидел человек, с которым я познакомился накануне и который, почти ничего не зная и почти не расспрашивая меня – обо мне, готов был говорить со мной о своей семье и прошлом так, подумал я, как он, может быть, не говорил о них никогда и ни с кем. Он был все в том же плаще, том же блейзере, седой, очень благообразный господин из другого, очень благополучного мира. Глаза он щурил, глядя вдаль, почти так же, как делал его отец. Еще я подумал, я помню, что этот его отец, Alexandre Vosco, с которым, как получалось из его рассказов, он никогда не жил, с которым не так уж часто и виделся, все же был, наверное, самым важным персонажем всей его жизни... Это я теперь, сказал П.А.В., отвечая на мои мысли, стал так много думать о нем. Теперь, когда я сам состарился, я так понимаю его, как не понимал ни в детстве, ни в юности, ни потом. В детстве он был для меня странный далекий отец, оставшийся почему-то под немцами. Этого я понять не мог. Мать осталась и погибла, потому что была героиня. А он остался и не погиб. Он, кстати, был совсем не трус, говорил Pierre Vosco, человек, в семнадцать лет убегающий на гражданскую войну, конечно, не трус. Но мне казалось, что трус. Потом, после войны, мы встречались по воскресеньям, как я уже вам рассказывал, он забирал меня у церкви на rue Dagu и мы шли к фрау Эльзе пить ее страшный кофе. Изредка он к нам приезжал в Billancourt, привозил

гостинцы, жареный миндаль в бумажном пакетике. Очень мне был нужен его миндаль. А потом он вообще уплыл в Аргентину, присылал одно письмо в две недели. Отвечать на эти письма было мучением. Спасибо, я учусь хорошо, по геометрии закончил год первым, по литературе тринадцатым. Я в самом деле обожал чертить в детстве... Денег он не жалел на меня, отдадим ему должное; когда дела его пошли в гору, присылал достаточно, так что я мог и в хорошем лицее учиться, и поступить потом в *École d'architecture*. Это было уже после армии, перед самым его возвращением. Мне в армии вообще нравилось, говорил *Pierre Vosco*, улыбаясь каким-то своим дальним воспоминаниям, или может быть нравилась экзотика, Африка, пустыни, пальмы, арабские города. Все-таки в армии я не остался, хотя мне предлагали остаться, и слава Богу, что не остался, *j'étais demobilisé*, как по-русски? был демобилизован, нет, демобилизован перед самой алжирской войной. А вот почему я поступил в *École d'architecture*, этого я сам не знаю теперь. Никакого особенного интереса к архитектуре у меня не было. А вот все-таки стал учиться на архитектора, наверное, втайне, в самой тайной тайне, хотел походить на отца, тем более он тогда вернулся из Аргентины звездой. И вообще вернулся другим, не таким, каким уезжал, или это мне теперь кажется так, в ретроспекции, или, как правильной? в ретроспективе. Во всяком случае, говорил *Pierre Vosco*, глядя, как погрузчик со своими вилками тихо едет по кругу, подъезжает к трубам и снова от них отъезжает, съезжается с рабочим, тихо толкающим перед собой тачку с блестящим на солнце металлическим ящиком, делает петлю вокруг него, заезжает за сцену, во всяком случае, говорил *Pierre Vosco*, когда я теперь думаю обо всем этом, я вижу двух разных людей, до Аргентины и после. По-видимому, тридцатые, сороковые годы были самые тяжелые, бесплодные годы его жизни, да он так и говорил мне в старости, когда мы научились с ним разговаривать. А ведь это лучшие годы в жизни мужчины... Наверное, в самом начале, когда он только переехал во Францию, все было не так грустно, как стало потом, и наверное, они были счастливы с моей матерью, хотя бы первые два, три года, до того, как я появился. Он сразу нашел работу, когда переехал, – в архитектурном бюро «*Lavale et compagnons*», очень тогда известном, – и ему самому было ведь всего тридцать лет, или даже тридцати еще не

было, говорил Pierre Vosco, глядя на футбольное поле и очевидно пытаясь представить себе своего отца тридцатилетним, молодым, повернутым в будущее. Конечно, он воевал в молодости и много видел всякого горя, но все же это ведь еще начало жизни, тридцать лет, вспомните сами. Конечно, отвечал я Пьеру Воско, следя вместе с ним за маневрами подъемника и рабочего в каске, вновь успешно разминувшихся на облитом солнцем брезенте, конечно, это начало жизни, отвечал я, но это уже *конец начала*, это тот возраст, когда все становится всерьез и жизнь уже пишется начисто. Я сам примерно в этом возрасте впервые попал в Париж... И вот как-то, рассказывал Pierre Vosco, к середине тридцатых годов, к моему рождению, все стало меркнуть и хмуриться. Юность прошла, успеха не было, любовь обманула. И появилось, может быть, чувство, что он так и проработает на вторых ролях, на чужих проектах всю свою жизнь. Не знаю, отдаете ли вы себе отчет, что такое подготовить проект к конкурсу, сколько это требует сил и старания. А ведь он мог это делать только урывками, по воскресеньям и по ночам. То есть он уходил каждое утро в бюро Лавалья, оно тогда находилось у Пантеона, потом, после войны, снова открылось недалеко от Бастилии, и там, собственно, до сих пор существует, хотя Фредерик Лаваль уже давным-давно умер, конечно, уходил туда каждое утро, к девяти утра, в набитом и мучительном метро доезжал, я так думаю, до Аустерлицкого вокзала, там пересаживался на десятую линию и от станции Cardinal Lemoine шел пешком к Пантеону, и вечером проделывал всю дорогу обратно, и если хотел подать свой собственный проект на какой-нибудь конкурс, объявленный в архитектурном журнале, то должен был делать расчеты и чертежи по ночам, или делать их, к примеру, тайком, в промежутках между другой работой, как-нибудь так, чтобы ни патрон, ни коллеги не видели, хотя они это прекрасно, разумеется, видели, такие вещи в архитектурном бюро утаить очень трудно. Он не выиграл в тридцатые годы ни одного конкурса, насколько мне известно, потом уже, после войны, начал что-то выигрывать. Никому не нужно было то, что он делал. А он был человеком упрямым и продолжал делать по-своему. Никого не занимала его «целостная архитектура», как он называл это, *l'architecture integrale*... Мне кажется, к сорока годам он начал чувствовать себя неудачником, а это чувство, как все мы знаем, свинцовое. Он не

всегда, наверное, себя чувствовал так, но были, видимо, какие-то особенно безнадежные вечера... Хорошо себе представляю его, в холодной квартире возле Gare de l'Est, как он сидел там, работая над никому не нужным проектом, или как сидел, чтобы не сидеть дома, в кафе, глядя на машины и зонтики, проплывавшие за окном, под дождем... Я знаю эти парижские одинокие вечера, сказал я, эту черноту и фонарные отсветы на асфальте, и это сидение в кафе, когда законный дождь кажется пожизненным приговором к печали, а раскрытые зонтики подводными существами, чуждыми человечества, медузами беды и каракатицами отчаянья, и пойти некуда, спуститься в метро нет сил, и потому ты сидишь и сидишь за своим столиком, оглушаемый чужими, равнодушными, близкими, но все равно подводными, как бы сквозь скафандр доходящими до тебя голосами, оглушаемый, бум-бум по башке, грохотом посуды, ножей и вилок, которые ошалевший, взмыленный, старый гарсон с таким остервенением швыряет в ящик узкого комода с приборами и посудой, почему-то всегда стоящего в двух шагах от тебя, словно стремится добить твои последние надежды, прикончить последние твои утешенья... К тому же пропала и Латвия, сказал П.А.В., выслушав мой монолог, значит – отчий дом, места его детства, балтийские дюны. До сорокового, или, скажем, тридцать девятого года он мог ведь еще *вернуться*, теперь вернуться стало некуда, теперь он стал эмигрантом. Он мог, правда, вернуться туда уже при немцах, в сорок первом или сорок втором, но это ему и в голову, похоже, не приходило, да он и не верил, что немцы долго продержатся. Я *закатывался*, говорил он мне в старости. Так, по-моему, по-русски сказать нельзя, но он мне так говорил. Он никогда не жаловался ни на какие боли, а тут вдруг пожаловался – я приехал к нему в Лангедок, – что колени очень болят и что ему трудно стало вставать с кресел, трудно подниматься по лестнице. А ему нужно было подниматься по лестнице, чтобы попасть в мастерскую. По-видимому, я *закатываюсь*, говорил он, говорил Pierre Vosco, все так же глядя на футбольное поле. Я уже однажды *закатывался*, не физически, а душевно, я не знаю, что хуже. Он потому, может быть, и не бежал из Парижа, что – *закатывался*, что ему было уже все равно, наплевать, *il s'en fichait, voilà*. Что-то надломилось в нем, не воля к жизни, я думаю, воля к жизни так просто не ломается, но воля к осмысленной жизни. А

может быть, он остался из-за своей матери, фрау Эльзы, не пожелавшей снова бежать, снова переезжать. В конце концов, при всей ее ненависти к фюреру и рейху, она ведь была немка, eine Baltendeutsche, прямая опасность не угрожала ни ей, ни ему. Нет, фрау Шенк тогда еще, кажется, не было, фрау Шенк как раз и появилась во время войны, то есть фрау Эльза приютила и спрятала ее у себя, но я не знаю подробностей, говорил Pierre Vosco. А еще, может быть, он остался из-за моей матери, в несбыточной и не сбывшейся надежде уберечь ее от беды, он однажды намекнул мне на это, незадолго до смерти, но, вот странно, я сразу перевел разговор на что-то другое. То ли я постеснялся, то ли побоялся его расспрашивать, удивительно, а теперь уже не расспросишь. Во время войны почти ничего, конечно, не строили, Фредерик Лаваль уехал в свободную зону, потом в Англию, бюро закрылось, отец работал в фирме, занимавшейся ремонтом и содержанием жилых домов, то есть он не то чтобы сам красил стены или чинил chauffage... отопление, но все же это была работа инженера, к архитектуре уже никакого, или почти никакого, отношения не имевшая. Когда начались бомбардировки, они же и восстанавливали то, что было можно восстановить. Париж ведь бомбили довольно сильно, теперь об этом помалкивают... Наш Billancourt совсем разбомбили... А что он еще делал, я не знаю. Он даже не писал, мне кажется, ничего, его важнейшие статьи написаны или в тридцатые, или уже в пятидесятые, шестидесятые годы. В Аргентине, прежде чем начать строить, он начал писать, написал целую серию статей, их часто теперь цитируют... Потом выяснилось, что какую-то, совсем небольшую роль в Сопротивлении он все же сыграл, рассказывал Pierre Vosco, какие-то кому-то передавал документы, каких-то беженцев пару раз укрывал у себя. Почему, кстати, он и получил французское гражданство после войны. Еще и как муж погибшей героини, наверное, они ведь разведены с моей матерью не были. После войны он снова стал строить, стал даже строить сам, из этих первых послевоенных построек сохранился вокзал в Нормандии, недалеко от Кана, школа в Шербуре и несколько частных домов, тоже в Нормандии, пострадавшей при наступлении союзников. Вообще во Франции тогда строили много, хотя и строили наскоро, миллионы ведь остались без крова. Здесь уже начинается настоящий Воско, скажем так; я только не понимаю теперь, когда

смотрю на эти, все еще, как ни удивительно, ранние работы моего отца, говорил П.А.В., почему они сделаны в сорок восьмом и сорок девятом, а не, например, в тридцать втором или тридцать третьем году. То есть между его работами в Латвии и вот этими послевоенными – провал в шестнадцать-семнадцать лет, как если бы он куда-то выпал из жизни... Он снова стал сотрудничать с Лавалем, возвратившимся в Париж после войны, уже, скорее, как компаньон, и, собственно, это был их совместный проект, ради которого он отправился в Аргентину. Они должны были строить небоскреб где-то на окраине Буэнос-Айреса. Ничего, кстати, не вышло из этого, Аргентина страна непредсказуемая, так что пришлось ему ехать еще дальше на юг, чтобы начать действительно строить. Все-таки, говорил Pierre Vosco, он уплыл в Аргентину с отчаяния, или так мне теперь кажется, или, может быть, так казалось ему самому, когда он в старости рассказывал мне об этом. С отчаяния, от отчаяния. То есть он уплывал от отчаяния, в смысле – прочь от отчаяния, говорил Pierre Vosco, широкими ладонями как будто отстраняя от себя что-то, куда-нибудь прочь от отчаяния, куда-нибудь подальше, и неважно куда. И уплыл от отчаяния, в смысле – из отчаяния, из-за отчаяния. Еще мне кажется, что смерть его матери, фрау Эльзы, в сорок девятом году оказалась для него последним ударом. Он был, по-моему, очень связан с ней, очень любил ее, хотя я в детстве не понимал, как можно ее любить. Она ведь не была еще по-настоящему старой, была, во всяком случае, до самого конца бодрой и крепкой, в здравом уме и себе на уме, говорил Pierre Vosco, сам, похоже, удивляясь и радуясь каламбуру, и он, мне кажется, просто не ожидал, или не предполагал, что она так скоро умрет, не подготовил себя к ее смерти, просто, может быть, не думал об этом. Вдруг выяснилось, что он один на свете, и может ехать, куда ему вздумается. Он и уехал к черту на кулички. Как он уезжал, я не помню, говорил Pierre Vosco, помню, как он через десять лет возвратился, а вот его отъезда даже как-то не заметил, как не заметил смерть фрау Эльзы, так был далек от отца в пятнадцать лет, от всего, что с ним связано. Просто вдруг стали приходить письма из Аргентины, экзотические открытки. Поначалу, кажется, предполагалось, что он скоро вернется, никто не думал, что он там проживет десять лет. Мои дедушка и бабушка умерли, пока он отсутствовал, незадолго до его возвращения,

сначала дедушка, Петр Сергеевич, потом бабушка, Елена Васильевна, так что я тоже, в общем, остался совсем один. Впрочем, я скоро женился. Отец вернулся из Аргентины, а мы уехали с женою в Америку, где я работал, кстати, у Луиса Кана, у *самого* Луиса Кана, произнес Pierre Vosco с неожиданной гордостью, быстро, сбоку посмотрев на меня, как будто оценивая, смог ли я оценить красоту и мощь сообщения. А с отцом он строил что-нибудь вместе? Только в самом конце его жизни, отвечал Pierre Vosco, в восьмидесятые годы они построили две виллы под Парижем и выиграли конкурс на строительство стадиона в Нью-Дели. Стадион построен не был, но конкурс они выиграли. Между прочим, он унаследовал от отца его бюро на бульваре Гренель, точней – возле, и сотрудников, и другие проекты. Бюро еще существует? Нет, говорил Pierre Vosco, уже вставая, одергивая свой плащ, бюро он лет десять тому назад закрыл, решив посвятить себя, на старости лет, грибной своей страсти, своим детям, вообще спокойной жизни вдаль от Парижа. Довольно в семье одного великого архитектора, прибавил он с кривоватой улыбкой. Он не мог закрыть бюро, пока была жива Мария, еще он прибавил. Мария, пока была жива, приходила в бюро едва ли не каждый день, следила за всеми проектами, вела документацию, писала налоговые отчеты, или как называется это по-русски, то есть делала все то, что делала при жизни своего мужа. Это и была ее жизнь... Я же думал, в очередной раз, о том, как просто мог встретиться с мадам Воско в девяностые годы, а значит мог и побывать в этом архитектурном бюро на бульваре или возле бульвара Гренель, поговорить с сотрудниками, увидеть кульман, за которым работал мэтр, и в очередной раз не мог простить себе, что не побывал и не встретился.

На обратном пути к машине зашли мы, по его просьбе, в домик русского отшельника, батюшки Тимофея, к тому времени уже покойного, в построенную им часовенку – и другую часовенку, тоже построенную им из мусора и фольги: тайная мюнхенская достопримечательность, смешное, трогательное, нелепое место. Игрушки, бусы и куклы развешены были на ветках яблонь, окружающих домик, сам домик походил на вросшую в землю мазанку, в часовнях был собран, казалось, весь набожный кич, который удалось отыскать в округе, все пухлявые ангелочки, все ласковые, лаковые мадонны, с голубками,

с овечками. Все же это были две церковки, и настоящие иконы в них были тоже. Pierre Vosco крестился широким жестом, как его в детстве учила, наверное, бабушка Елена Васильевна, жена полковника Саламова; потом долго рылся в карманах в поисках монетки; извлек две, достоинством в евро и в пятьдесят центов; подумал, или мне так показалось, какую же бросить в кружку; бросил евро; взял свечку; поставив ее перед иконой, перекрестился опять. Этот фантастический персонаж, Väterchen Timofej, как зовут его в Мюнхене, появился в баварской столице в начале пятидесятых, повинуюсь будто бы голосу свыше, распорядившемся, чтобы он сюда пришел из Вены, где то ли ему не понравилось, то ли его оттуда прогнали, и чтобы построил здесь церковь из развалин и на развалинах разбомбленного города; выдавал он себя за монаха, но был при этом женат на некоей Наташе, был вообще неизвестно кто, чудак и юродивый, простой крестьянин, по видимому, выхваченный войной из России, тоже, следовательно, *перемещенное лицо*, displaced person, таким необычным способом совладавший со своей перемещенностью, своей бесприютностью; на фотографиях и газетных вырезках, теперь развешенных в бывшей его хибарке, превращенной в музей, виден вполне классический русский старец, с лицом, скорее, суровым и недобрым, как часто бывает у православных, даже святых, с хитроватыми несмеющимися глазами. Его, разумеется, должны были выселить отсюда, когда превращали свалку в парк к олимпиаде семьдесят второго года; все-таки не выселили; газеты его поддерживали, окрестные жители подписывали письма в его защиту; Гюнтер Бениш, если верить местной легенде, согласился, после распитой с анахоретом бутылки водки, перенести ипподром, который должны были здесь построить, в другое какое-то место; полагаю все же, что бутылка водки относится к области благочестивых преданий. Мой отец встречался и разговаривал с этим человеком в семидесятые годы, рассказывал Pierre Vosco, и очень потом смеялся, возвратившись в Париж, показывая всем желающим фотографии этой идиллии на развалинах, этого клочка лубочно-луковичной России в восхитительном городе Виттельсбахов; особенно фольга на потолке часовни его умиляла; на все это я мог только ответить, что и моя мама встречалась со святым человеком в восьмидесятые годы, когда была в Мюнхене, и что он показался ей скорее

мошенником, чем отшельником; наверное, был он и тем, и другим одновременно, как это вообще нередко случается... О Владимире Граве, другом перемещенном лице, Pierre Vosco немного мог рассказать мне, только то, что запомнилось ему из рассказов отца. Владимир Граве учился в Петроградском, потом Ленинградском «Институте гражданских инженеров», как он тогда еще назывался, в самом начале двадцатых годов; почему он не стал архитектором, как они задумали в детстве с его отцом, Pierre Vosco не знал, кто это теперь знает? Он знает, рассказывал Pierre Vosco, что Владимир Граве в те же двадцатые годы оказался связан со строительством электростанций, со строительством, в частности и среди прочего, электростанции на реке Свирь, к северу, если он правильно понимает, от Петербурга, и хотя строительство увлекало его, все же там работали заключенные, *зэки*, говоря советским языком, говорил Пьер Воско, и ему, Владимиру Граве, по его же словам, пересказанным А.Н.В. сыну, а сыном пересказанным мне, ему в общем не очень понятно было, почему, собственно, сам он по эту, а не по ту сторону проволоки. Он женился в тридцатом году на очень молодой, очень, по его же рассказам, пересказанным Пьеру Воско, пересказанным мне, красивой еврейской девушке, приехавшей из классических мест бывшей оседлости, из Бердичева или из Пинска, покорять столицы, в Москву не попавшей, но попавшей все-таки в Ленинград, где у нее были родственники, даже, кажется, по-советски сановные. Имени ее он не знает, говорил Пьер Воско. То ли он забыл, то ли отец забыл и потому не называл ему этого имени... в общем, имени нет, имя утрачено. Известно только, что она была музыкантша, что закончила консерваторию, хотя и неизвестно, по какому классу, и что была, еще раз, красавица, настоящая еврейская красавица, настоящая Суламифь, что концертной карьеры у нее все же не получилось, несмотря на красоту и талант, и что она преподавала в музыкальной школе, откуда ее благополучно выгнали в тридцать седьмом году после ареста ее революционных родственников. Они оба, и она, и ее муж, тоже ждали ареста, конечно, арестованы почему-то все-таки не были... Их дочка родилась в тридцать пятом, ее имя тоже утрачено, рассказывал мне Пьер Воско, я же узнал потом оба имени, имя дочери Владимира Граве, имя его жены, но узнал их так внезапно и удивительно, что, пожалуй, назову их, когда сам

буду рассказывать о том, как их узнал... Еще он рассказывал моему отцу, рассказывал мне Пьер Воско, что как раз тогда и начал распадаться их брак, то есть в самом деле тогда же, когда и мои родители начали отдаляться друг от друга, говорил Пьер Воско, и это как-то было связано вот с этим самым ожиданием ареста, этим повальным страхом и повальным исчезновением знакомых, шагами на лестнице, скрипом тормозов у подъезда. Странно, казалось бы, они так нуждались друг в друге в такие ночи, такие дни. А вот поди ж ты, они только ссорились и раздражались друг на друга, а потом, может быть, и ссориться перестали, но, если верить тому, что рассказывал Владимир Граве Александру Воско на пароходе, увозившем их в Аргентину, глядя на поднимающийся и опускающийся в иллюминаторе горизонт и что Пьер Воско со слов отца в Олимпийском парке, по дороге к машине, пересказывал мне, но все в том же тридцать седьмом или, скажем, тридцать восьмом году, или, может быть, раньше, кто теперь это знает, пустились, почти одновременно и несмотря на общую скудость их жизни, в какой-то им самим омерзительный ресторанный разврат, не вместе, понятное дело, но каждый по-своему, со своими собутыльниками, кавалерами в ее и легкими дамочками в его случае, любовниками и любовницами, сменявшими друг друга карусельной, карнавальною чередой. Совершеннейший был пир во время чумы, упоение на краю бездны. Откуда у них были на это деньги, его отец не говорил ему, говорил Пьер Воско. За нее платили, разумеется, кавалеры... Оба понимали, что делают что-то ужасное, но не могли остановиться. Прятали глаза друг от друга, иногда вдруг мирились, рыдали, клялись, что начнут новую жизнь, и тут же принимались за прежнюю. Кончилось тем, что она ушла-таки от Владимира Граве, эта безымянная жена его, и причем ушла, как он рассказывал А.Н.В., рассказывал мне Пьер Воско, к какому-то большому начальнику, все-таки, кажется, не чекисту, но к какому-то крупному партийному воротиле, за которым, наверное, чувствовала себя в безопасности и которого как раз и посадили, конечно, то ли на самом исходе террора, то ли когда террор уже утих и стали брать тех, кто его делал, уже неизвестно, во всяком случае так он и сгинул в Гулаге, этот безымянный второй муж безымянной жены Владимира Граве, рассказывал мне Pierre Vosco, когда мы шли с ним вдоль канала к машине. Вода канала

казалась желтой на солнце и зеленой в тени; перевернутые и волокнистые стволы старых ветел, вислоухие, ярко-желтые на солнце грибы, прилепившиеся к стволам, листва и ветви, небо и облака – все это так неподвижно стояло в воде, как если бы там, в воде, времени не было, или оно уже было отменено, уже преображено там, в воде, и только здесь, на суше, где шли мы, еще возвещало о себе лаем собаки, криком вороны. Канал этот связывает Олимпийский парк с Нимфенбургским, чудесным и старинным парком, бывшей летней резиденцией Виттельсбахов, местным Версалем, куда, словно повинувшись течению этой неподвижной воды, мы съездили с Пьером Воско на другое утро, прежде чем я отвез его на аэродром, и где тоже были, конечно, каналы, пруды и мостики, и восхитительная, я помню, на солнце светящаяся паутина на чугунных перилах одного из этих мостиков, перед самым большим прудом, и у пруда, возле в восемнадцатом веке, в благословенную эпоху позднего барокко построенного купального замка с дорическими пилястрами, полукружиями арок над французскими окнами и продолговато-круглыми окошками под архитравом (точнее – фризом, сказал Pierre Vosco...) – обнаружилась шедшая нам навстречу, человек в девять-десять, горластая группа юных, похоже, бразильцев, все в майках и некоторые с надписью на этих майках – Brazil, молодых и очень веселых, всю ночь, может быть, пировавших и плясавших бразильцев, непонятно что делавших здесь в тот ранний час, в которой мы здесь оказались, и непонятно, как и почему не мерзших в своих, с надписями или без надписей, майках в то солнечное, но еще и уже по-осеннему холодное утро, впервые сделавшее уместными шарф и плащ моего спутника, подробно объяснившего мне разницу между архитравом и фризом – и затем вновь, вдруг, заговорившего о никогда им не виданном Владимире Граве и о страшной смерти в блокаду его безымянной дочери, безымянной жены. И дочери тоже, вот что было самое страшное. Раздетые молодые бразильцы обогнули нас своим говорливым потоком, как вода огибает случайные старые камни. Владимир Граве, получается, сам узнал об их невообразимой блокадной смерти только в пятьдесят пятом или пятьдесят шестом году, когда вообще начали поступать *оттуда* первые сведения, рассказывал мне Pierre Vosco со слов своего отца, нарочно пришел как-то к поезду, на котором Александр Николаевич, уже с Марией,

но еще без Вивианы, в очередной раз приехал в Буэнос-Айрос из Рио-Давиа, где строил тогда все подряд, мост, музей, вокзал и так далее, и отведя А.Н. в сторону, посреди очень шумной и плотной толпы, обтекавшей их, сухими яростными глазами на него глядя, сообщил ему, что его жена и дочка, оказывается, уже давным-давно умерли в Ленинграде от голода и что он, Владимир Граве, наверное, тоже не хочет больше жить на земле. После чего он, впрочем, прожил еще почти двадцать лет, и даже еще женился во второй раз, тоже на русской, тоже дипийке.

Глава 7.

There are only hints and guesses,
Hints followed by guesses; and the rest
Is prayer, observance, discipline, thought and action.
T.S. Eliot⁷

Я думаю, Александр Николаевич Воскобойников посмеялся и порадовался бы, узнав, что готовя предыдущие главы, читая, в частности, разные вещи, связанные с гражданской войной в Прибалтике, исследования и воспоминанья (автор всегда должен знать немного – или много больше того, что сообщает читателю), я два раза натолкнулся на слово «Буэнос-Айрес», причем оба раза в морском и пароходном контексте, в мерцании волн, в шуме прибоя. В первый раз – в изданной в 1920 году, по еще дымящимся следам событий, книге уже упомянутого графа Рюдигера фон дер Гольца с патетическим заглавием «Моя миссия (meine Sendung) в Финляндии и в Прибалтике». Этот Рюдигер фон дер Гольц был человек по-своему замечательный, чистейшее воплощение германской железной дисциплины и прусского милитаризма. С морозного февраля по промозглый октябрь 1919 года фон дер Гольц – главнокомандующий всех антибольшевистских вооруженных сил в Прибалтике, каковые силы, поначалу не сильные, включали в себя остатки регулярной армии, после ноябрьской революции в Германии, впрочем, быстро разлагавшиеся, мародерствующие,

⁷ Есть только намеки и догадки, намеки вслед за догадками; а прочее – это молитва, обряд, дисциплина, мысль и действие. *Т.С. Элиот*

если кому подчинявшиеся, то уж скорее своим солдатским советам, созданным по роковому русскому образцу, а кроме этих быстро исчезающих остатков – добровольные, так называемые свободные корпуса (Freikorps), знаменитая «Железная дивизия» (Eiserne Division) в их числе, отряды земской самообороны, в основном немецкие (Baltische Landeswehr), а также латышские (под командованием полковника Калпака, после его глупой гибели – Яна Баллода, как называют его русские источники, по-латышски Яниса Балодиса, будущего латвийского военного министра), и, наконец, русский отряд, тот самый, где и служил А.Н. Воскобойников, отряд, созданный в самом начале девятнадцатого года светлейшим князем Анатолием Павловичем Ливеном, тоже, по-видимому, по-своему и совсем по-другому, замечательным человеком. Собственно, фон дер Гольц был послан в Прибалтику ненавистным ему, только что возникшим социал-демократическим правительством для защиты Восточной Пруссии от надвигающегося большевизма (победе которого так сильно поспособствовало только что свергнутое правительство кайзеровское...); его собственные тайные цели были другие, куда более наполеоновские: во-первых, отвоевать Прибалтику для немецких поселенцев; во-вторых, создать там плацдарм для уничтожения поганой в его глазах Веймарской республики, которой, следовательно, служил он с полной боевой готовностью предать ее в подходящий момент (как никогда, конечно, не предал бы Гогенцоллернов...); наконец, в-третьих и если получится, вмешаться в русскую гражданскую войну, разгромить большевиков и вместе с союзной дружественной Россией повернуться против мерзкого Запада, меркантильной Англии, декадентствующей Франции, заодно уж, по-видимому, восстановив и возлюбленную монархию в фатерлянде. Короче, германская гегемония в Европе, прусский порядок, стальной шлем, блестящие сапоги. Ничего, как мы знаем, не получилось из этого, ни в тот раз, ни в следующий, двадцать лет спустя. Замечательно, кстати, что ни фон дер Гольц, ни его соратники, примерно так же мыслившие, так же чувствовавшие, как он, и много сделавшие впоследствии, чтобы погубить первую, робкую, несчастливую немецкую демократию, замечательно, что все-таки они еще никакие не наци, как бы судьбы и взгляды их ни складывались в дальнейшем. Их мир мне кажется простым и понятным,

слишком понятным, слишком простым. Это мир чести и долга, веры и верности, великодержавной любви к отечеству и кайзеру, мир полковых прусских традиций, высокой жертвенности, бескорыстия и, уж конечно, полной личной порядочности. Даже для сострадания, похоже, еще есть в этом мире место, даже и пожалеть в нем можно кого-нибудь. Они готовы, ясное дело, убивать, умирать и посылать других на смерть во имя своих сомнительных идеалов, во имя этой своей чести, своего долга, этой своей великой Германии, но они еще совершенно не готовы, и даже помыслить не могут, что будут готовы когда-нибудь, прикончить кого бы то ни было просто потому что тот – еврей, или буржуй, или, наоборот, пролетарий, или потому что у него нос картошкой, или уши торчком... Фон дер Гольц сперва помогал финнам, и лично генералу Маннергейму, освободиться от большевизма; а вот почему (военный?) корабль, на котором он возвратился из освобожденной и примиренной с самой собою Финляндии в охваченное революцией отечество, назывался «Буэнос-Айрес», я не знаю, но все же именно так назывался он, не иначе. Когда наш «Буэнос-Айрес» прибыл в Штеттин, рассказывает фон дер Гольц, в ночной темноте раздались звуки патриотических песен, распеваемых моими гвардейскими уланами (meine Gardeulanen). Они затянули «Германия, Германия превыше всего». Подросток-юнга, при виде родины вновь обретший свое революционное бесстрашие (seinen revolutionären Mut), заметил: «Эту песню вы поете в последний раз». Засим следует фраза почти классическая в своей краткости, достойная записок Цезаря: «Искусству корабельного врача удалось через несколько дней поставить на ноги сорванца (den Bengel wiederherzustellen)». Сорванцу повезло. Сам же фон дер Гольц отправился вскорости в Либаву, единственный в ту историческую минуту курляндский город, не захваченный большевиками, где поселился, и разместил свой штаб, в замечательном, между прочим, с дубовыми панелями в вестибюле и вдоль парадной лестницы, особняке, куда я, конечно, заехал в поисках прошлого, когда был там этой весной (теперь там местный музейчик); оттуда-то, из Либавы, и началось, добавлю уж для порядка и ясности, постепенное освобождение Прибалтики; в марте отвоеваны были Виндава, Гольдинген и Туккум, наконец – Митава; в конце мая взята Рига, чудесным образом, для всех

неожиданно. На фотографиях фон дер Гольца, которые мне удалось разыскать, виден седой, седоусый, с короткой мальчишеской стрижкой, весь в крестах и орденах, генерал, с узко посаженными и очень решительными глазами, с властительно выставленной нижней губою. «Он пугает, а мне не страшно». Александр Николаевич Воскобойников, в своих разрозненных воспоминаниях, которые я буду еще цитировать, пишет, что почувствовал что-то хрупкое в его облике во время своей единственной и случайной встречи с главнокомандующим. На фотографиях тоже выглядит он как человек, чем-то раненный, гибелью сына, может быть, в самом начале большой войны положившего себя – и, похоже, с радостью, в пылу патриотического восторга – на алтарь все тех же кровавых божеств, того же отечества, той же воинской чести; в сурово сведенных глазах моложаво стареющего прусского генерала, упорно и всему назло верующего в этих богов, видно, и в какой-то мере с ним примиряет, страданье.

А все же корабль назывался «Буэнос-Айрес»... и вот еще один «Буэнос-Айрес», и тоже в записках военного, вернее – в любопытнейших дневниках, которые вел все в то же время контр-адмирал Владимир Константинович Пилкин, ближайший соратник Юденича, морской министр в его, впрочем и увы – эфемерном, Северо-Западном правительстве. Покуда фон дер Гольц помогал финнам совладать с большевиками, Пилкин лежал в легочной санатории все в той же Финляндии, в скольких-то километрах от Гельсингфорса, уже полупреувратившегося в Хельсинки, затем присоединился к Юденичу, большой роли, впрочем, в Гражданской войне не сыграл, да к ней, похоже, и не стремился. Коротенький отрывок из его дневника, благо он написан по-русски, я позволю себе просто процитировать; это запись от 1 января 1919 года: «Ясный морозный день; море начинает замерзать. В воздухе тишина. Двадцать лет тому назад я начал в этот день, 1 января, вести мой журнал-дневник. Это было на клипере «Разбойник»; мы подходили под парусами к Буэнос-Айресу. Помню, что с 4 часов утра я вступил на вахту, и мне пришлось лечь в дрейф, чтобы принять лоцмана. Рядом шло много купцов; один из них, что приходится редко видеть, был с лиселями. Некоторые из купцов тоже ложились в дрейф. Эта картина так живо встала перед моими глазами, как будто я ее видел вчера. Вспоминаю я рассказ

Михаила Коронатовича Бахирева, как они шли на «Джигите» в Буэнос-Айрес и как милейший «святой человек», Степан Алексеевич Говорливый, их старший офицер, вел разговор с лоцманом-испанцем: «Там... la-bas (указывая рукой)... Буэнос-Айрес?» – «Si, si, señor, Buenos-Aires!» – «Сын у него в Буэнос-Айресе, – поясняет Степан Алексеевич, – в гимназии учится». – «А там, la-bas... Montevideo?» – «Si, señor, Montevideo!» – «А другой сын, маленький, остался с матерью в Монтевидео». И т. д. и т. д.» Конец, как говорится, цитаты. Хорошая, между прочим, фамилия у старшего офицера, знатока романских языков; придумай такую фамилию для старшего, или даже не самого старшего офицера в романе, никто тебе не поверит, сочтут в дурном смысле литературой. Степан Говорливый... ну ладно, ладно, не сочиняй. А ведь вот был же такой человек, даже, если верить Пилкину, «милейший», даже больше – «святой», и в Буэнос-Айрес плавал, и по-испански как здорово изъяснялся...

Что все это доказывает? Это, может быть, вообще ничего не доказывает. В жизни много совпадений, созвучий и перекличек; всегда остается возможность считать их простыми случайностями. Не только простыми, но еще и мелкими случайностями, конечно, и случайностями, конечно, смешными. Все это мелочи, все это несерьезно, взрослому, тем более старому человеку, думать об этом даже как бы и неприлично. Что ж удивительного, что списки таких совпадений, составляемые А.Н.В., казались его окружению причудой, если не преддверьем деменции... А если все-таки не считать их случайностями, если видеть в них иронический, но все же намек на какие-то скрытые связи, скрытые силы, улыбку неизбежности, усмешку, может быть, провиденья, тогда – что же? – тогда случайным, скорее, окажется почти все остальное, серая серьезность ни с чем не соотношенных событий, ни к чему не отсылающих действий. Тогда все это как раз – случайно, а неслучайное – вот оно, вот эти совпадения, эти созвучия, золотые нити смысла, вплетенные в грубый холст бытия. Кто-то, может быть, подшучивает над нами, кто-то словно намекает нам на то, что он – есть. Несомненно для меня только одно – что эти поиски соответствий, это внимание к отзвукам, отзывам, к потаенному эху за углом ежедневности, что для Александра Николаевича Воскобойникова все это было как-то – но

я не знал и не знаю как именно – связано с архитектурой, с его проектами и замыслами, стилем и духом его работ и что, назовем это так, то особенное ощущение осмысленного покоя, которое я испытывал и по-прежнему испытываю всякий раз, рассматривая фотографии построенных им зданий, или сами эти здания, во Франции, в Швеции, как-то – но я, опять же, не знаю как именно – сродни тому изумлению и тому успокоению, которое чувствуем мы, когда очередное смешное совпадение показывает нам, что все не так просто и что жизнь устроена совсем иначе, чем обычно мы думаем... Я очень остро почувствовал все это через пару дней после моей встречи с Пьером Воско, сидя в огромном, стеклянностенном, с галереями и лесенками зале Баварской Государственной библиотеки, так называемой Stabi (Staatsbibliothek) – не путать со Stasi (Staatssicherheit), гдээрзовскою гэбухой, – рассматривая заказанные и полученные мною книги об А.Н.В.; почему-то простейшая мысль задать имя Alexandre Vosco в поисковой системе этой библиотеки, что теперь можно сделать и по интернету из дома, до тех пор не приходила мне в голову. Я читал тогда лекции в так называемой Высшей школе философии на Каульбахштрассе (институте, между прочим, созданном и руководимом иезуитами... рассказал бы кто-нибудь моим когда-тошним учителям и пионервожатым, куда занесет меня жизнь... или тому мерзавцу в советской спортивной секции, как в судьбе полузадушенного отзовется олимпийский синенький значок, подаренный когда-то душителю...); кленовая аллея между тихой Каульбах- и шумной Людвигштрассе была все такой же прекрасной; в чистом по-прежнему небе, едва тронутые желтизной, краснотой, колебались ее высокие кроны, соревнуясь в росте с белыми башнями университетской церкви, проступавшими сквозь листву. Среди принесенных мне книг был, конечно, и тот альбом *Alexandre Vosco, l'architecte et l'homme*, который попался мне когда-то в Париже, который я не мог тогда с должным вниманием рассмотреть, потому что так торопил меня Павел Двигубский, мой друг, скончавшийся от рака печени в январе как раз 2007 года, за сколько-то, значит, месяцев до вот этого, теперь воскрешаемого мною, сентябрьского, в Мюнхене, дня; был со скучным названием «Александр Воско и тенденции развития современной архитектуры» (*Alexandre Vosco und die Entwicklungstendenzen der modernen*

Architektur) сборник статей, материалы конференции, проходившей в начале девяностых в Берлине; были разные другие статьи в разных сборниках; разные репродукции в разных альбомах; были его лекции по истории архитектуры, прочитанные, как я понял, еще в Аргентине, затем в Лондоне, в Амстердаме; был, наконец, – самое для меня интересное – сборник его собственных статей, интервью с ним и воспоминаний о нем, изданный его сыном в сотрудничестве с неким Мишелем де Боттисом (Michel de Bottis) в Женеве. Все эти книги и сейчас лежат, конечно, передо мною; с тех пор я разыскал и купил их. Тогда, я помню, я листал их в некоторой даже растерянности. В них были замечательные фотографии его построек, были его собственные фотографии – в обоих смыслах, то есть фотографии, им сделанные (таковых было, впрочем, немного), и фотографии, его изображающие (за исключением двух или трех относившиеся к эпохи его зрелости, его славы), – но в них, во всех этих альбомах и книгах, даже в воспоминаниях, даже в интервью с ним, даже в книге, слово *человек*, l'homme, вынесшей в заглавие, все-таки довольно мало говорилось о нем самом, об Александре Воско-человеке, речь шла в первую очередь об архитекторе Александре Воско, о его стеклянной библиотеке в Андалузии, его университете, его мосте и всех прочих его знаменитых постройках в таинственном Рио-Давиа, обо всех тех бесчисленных частных домах и в пейзаж растающих виллах, которые строил он в шестидесятые и семидесятые годы, в лучшем случае об его взглядах, его теории так называемой «целостной архитектуры» («l'architecture intégrale»), которую сформулировал он еще в рижские двадцатые годы, или, может быть, в самом начале тридцатых, причем впервые, кажется, в статье, написанной им по-немецки (*Die ganzheitliche Architektur*) и опубликованной в 1931 году в журнале *Deutsche Bauhütte*, выходившем в ту пору в Ганновере. Есть некий печальный парадокс в том, пишет немецкий историк архитектуры с оригинальной фамилией Мартин Мейер в вышеупомянутом скучно-названном сборнике научных работ, некий печальный парадокс в том, что этот манифест Воско приходится как раз на те годы, в которые органическая архитектура, своеобразным аналогом которой можно считать его целостную, по видимости окончательно сходит со сцены, побежденная, с одной стороны,

радикальным функционализмом, с другой – псевдоклассицизмом, в особенности свойственным нарождающимся тоталитарным системам; вряд ли кто-то мог предвидеть в то время ее внезапное возрождение в пятидесятые, возрождение, которому, парадоксальным, опять-таки, образом она оказалась обязанной, среди прочего, некоторым представителям того самого радикального функционализма, который так презрительно относился к ней двумя или тремя десятилетиями ранее... Эти темы развиты в статьях пятидесятого года, тех самых статьях, о которых упоминал Pierre Vosco, которые его отец писал в Аргентине прежде чем начал строить... Вот в этих статьях он как раз говорит о себе, наверное, больше говорит в них о себе, чем где бы то ни было (имею в виду опубликованные его тексты); иногда, впрочем, говорит о себе и в интервью, как бы походя и словно на полях своих чертежей, своих планов, например, в одном, очень позднем (1982), которое взял у него в его лангедокском доме корреспондент (или взяла корреспондентка; за инициалами M.S. может скрываться и Майкл, и Мэри, Майкл Смит, Мэри Старр...) лондонского *Architectural Design*. Важнейшим для архитектора ему кажется чувство пространства (a sense of space), говорит он, или, если угодно, интуиция пространства (an intuition of space), пространства замкнутого и пространства открытого, пространства, поделенного на части, структуры и формы и, наоборот, пространства бесформенного, бескрайнего. Он вспоминает теперь, как в детстве с отцом ехал в поезде, где-то в Тамбовской губернии, если вы знаете, что это (if You know, what it is), или где-то уже в губернии Пензенской, что, впрочем, сейчас не имеет значения. Мой отец, говорит А.Н.В., был родом из города Нижний Ломов (from the town of Nizhny Lomov), можете себе это представить (can You imagine)?... Хочется все же верить, что это была корреспондентка, не корреспондент, не Майкл, но Мэри, молодая и очень хорошенькая; ясно вижу, как он улыбается ей, сощуривая глаза, покачивая вельветовой ногой. Мы вообще много ездили с отцом по России, говорит он (улыбаясь хорошенькой Мэри); мне кажется, моему отцу хотелось показать мне эту страну, свою родину (this country, his native land), мы ведь жили в остзейском крае, в Риге, на Взморье (on the sea-side), а это не совсем Россия, и даже совсем не Россия, и я ходил в немецкую гимназию, и был крещен в

лютеранской церкви, и моему отцу было важно, наверное, чтобы я не вырос окончательным немцем, и я до сих пор благодарен ему за эти детские путешествия, – как если бы он предчувствовал, что Россия скоро сгинет и что это мой последний шанс увидеть ее, – но вот зачем и куда мы с ним ехали в тот раз, я теперь не могу уже вспомнить. Было самое мрачное время года, когда листья уже опали, а снег еще не выпал, и ничего как бы нет, только, просто (solely and simply) пространство. Мы ехали и ехали, говорит А.Н.В., и чем дальше мы ехали, тем сильнее и настоятельнее (insistant) делалось во мне это чувство – и счастье пространства, так скажем (this sense and happiness of space, let's put it like this), пространства, в котором как будто мы уже потерялись (in which we were already lost), и все, что я видел в окне, все эти желтые, сжатые или уже черные, даже не черные, а какие-то, скорее, темно-синие, на зиму распаханые поля, все эти овраги и балки, которых в тех местах много, голые рощи и прозрачные перелески, поворачивавшиеся то одним, то другим боком, то анфас, то в профиль, и какие-то пологие, очень далекие, на самом горизонте перемещавшиеся холмы, и все эти размытые дороги с колеями, похожими на каналы, и скомканной глиною между ними, эти деревни с колодцами, так называемыми журавлями (the so-called shadoofs, literally cranes... по ходу дела он объясняет очарованной собеседнице, что это, как устроено...), эти издали приближавшиеся и нехотя отступавшие колокольни, эти станции с деревянными дебаркадерами, эти будки, эти сторожки, даже эти бабы (peasant women) в серых платках, эти мужики, эти понурые лошади, эти телеги, – все это казалось мне не столько самим по себе существующим, сколько порождением и проявлением какого-то всеохватывающего целого, всеобъемлющего пространства, его складками – или улыбками, приметамы – или причудами (its plies and fancies, signs and smiles). Все это было хорошо, потому что у всего этого было свое место в мире, все было как-то на месте, было, казалось мне, как-то очень правильно, очень удачно в этом всеобъемлющем пространстве расставлено... А в последний раз вы были в России... когда же? спрашивает покоренная корреспондентка. Осенью 1919-го мы чуть не взяли Петроград, отвечает А.Н.В. (и я снова вижу его собственную улыбку, сощур глаз, качанье ноги); с тех пор я в России, разумеется, не

бывал. А хотели бы? Давайте останемся в пределах мыслимого, отвечает он. А между прочим, вдруг словно перебивает он сам себя, я чуть было не уехал в Россию сразу после войны. В самом деле (oh, really)? восклицает изумленная Мэри. Тогда многие эмигранты уезжали в СССР, поясняет он; почти все они там и погибли. Вы, что же, начали верить в коммунизм? спрашивает, похоже – с надеждой, милейшая, наивная, левая Мэри Смит. Скорее, начал сомневаться в себе. Нам ведь всем иногда кажется, что мы сделали неправильный выбор. Или нам кажется, что где-то там идет настоящая жизнь, совершается великое историческое дело, а мы к нему непричастны, мы стоим в стороне. А мы, может быть, уже устали стоять в стороне. Потом не забывайте, какая была война, какая победа. Почему же вы не уехали? Некоторые люди, более умные, чем я сам, отговорили меня от этого шага в бездну (this step into the abyss), отвечает он, не поясняя, кого имеет в виду. А что вы думаете об Андропове? спрашивает настойчивая Мэри. Об Андропове, отвечает он, я не думаю ничего, ровным счетом. Сохраняю за собой право просто-напросто об них обо всех не думать. Вернемся к архитектуре... Осенью восемьдесят второго года они не могут, конечно, вернувшись к архитектуре, не говорить о концертном зале в Гроссето, открытом как раз к началу сезона, за месяц или за два до интервью, позднем шедевре Воско. Как вам вообще пришла в голову мысль процитировать ионические колонны? спрашивает по-прежнему изумленная Мэри. Он смеется (курсивом набрано – *laughs*). После всего, что было понастроено в двадцатом веке, мне это показалось забавным... На самом деле, я приехал тогда из Рима, даже не из Рима, а из Тиволи, то есть мы заехали в Тиволи по дороге из Рима в Гроссето, хотя это и не совсем, разумеется, по дороге, но мы все же заехали, потому что я всегда стараюсь заезжать в Тиволи, когда бываю в Риме, и на виллу д'Эсте, и, главное, на виллу Адриана с ее потрясающими развалинами, еще раз посмотреть на вот эти (он показывает на фотографии, висящие на стене, сообщает курсив) колонны и статуи у воды, на вот эту мозаику, и когда мы к вечеру приехали в Гроссето, говорит он, не уточняя, кто – мы (наверное, он и Мария), и я увидел тот холм, на котором предполагался концертный зал, с такими же пиниями, такими же масличными деревьями, как в Тиволи, с их всегда потрясающими, узловатыми, словно в дырках,

стволами, я подумал, что в этом небольшом, отдельно от других стоящем здании может и должно быть что-то от античного храма, только оно должно стоять не на вершине холма, как хотел муниципалитет, а на склоне. Вообще, если вы строите дом на холме, то не ставьте его на вершину холма. Дом на вершине холма подчиняет себе холм, разрушает ландшафт, дом на склоне становится частью ландшафта. А сама идея проста (very simple), это стеклянный куб, более ничего. Этот стеклянный куб хорошо виден на прилагаемых к интервью фотографиях, куб, накрытый волнистой крышей, словно приподнятой над этим кубом, так что фронтона нет, и фриза, соответственно, нету тоже, но есть, в самом деле, колонны по фасаду здания, колонны, однако, идущие наискось, слева направо, и уходящие вверх, то есть понемногу, уходя, вырастающие – колоннада, скажем иначе, которая, в самом ближнем к восхищенному зрителю и самом дальнем от стеклянной стены углу цоколя, начинается маленькой, в человеческий рост колонною со срезанным верхом (обхваченным, как и вершины всех прочих колонн, стальными, спиралевидными, блестящими, напоминающими сразу нотный ключ, ионический ордер и раковину улитки обручами), затем понемногу вырастает и удаляется, заканчиваясь даже не в дальнем правом углу, но уже заступив за угол, последней, и самой высокой, колонной, тоже, впрочем, так и не достигающей до волнистой, волну, действительно, напоминающей крыши, которая, на почти невидимых тросах, как будто летит куда-то над миром и кубом, по собственной воле или собственной прихоти. Этот бег и рост (this race and growth) колонн по фасаду, говорит А.Н.В., задает движение, которое он не мог не продолжить внутри самого здания, так расположив ряды кресел, что они расширяющимися ступенями, волнами уходят все туда же, от левого нижнего угла, предназначенного для оркестра или рояля, наверх и вправо, к прозрачному потолку. Все это мне увиделось сразу, говорит А.Н.В., но мы еще долго работали с замечательным аргентинским инженером, моим старинным другом Пабло Гассманом над разными увлекательными техническими проблемами, и прежде всего над проблемами акустики; полагаю, что небезуспешно (not without succes). Цитаты? Самой важной для него цитатой, когда он работал, было чудесное стихотворение Поля Валери о колоннах (*douces colonnes, ô l'orchestre de fuseau... chacun*

immole son silence à l'unisson...), а будет ли его собеседница или не будет называть все это постмодернизмом, ему в высшей степени безразлично. Я думал, глядя на фотографии, что это ощущение осмысленного покоя, которое вызывают во мне А.Н.В. построенные дома, само по себе иронично, потому что смысл – есть, но смысл неуловим, не сводим ни к функции, ни к стилистическим цитатам, ни даже к законам гармонии (будь то золотое сечение или последовательность Фибоначчи, о котором и о которой в статьях, в интервью Alexandre Vosco говорит, вообще, немало) и что именно эта ироническая неуловимость смысла, смысла, который мы угадываем, но который в то же время от нас упорно ускользает, упрямо не дается нам в руки, что вот она-то и роднит, может быть, архитектуру, не архитектуру вообще, думал я, но вот именно эту, создаваемую Александром Воско, с теми по видимости случайными совпадениями, которые так сильно занимали его и, поскольку я занялся им самим, начали занимать и меня... Он, собственно, и сам говорит о чем-то подобном, или так я понимаю это, в конце интервью очарованной и наивной Мэри Смит, Мэри Старр. Чего вы ищете в архитектуре? Он щурит глаза, он качает вельветовой ногой... Как можно ответить на такой вопрос, such a question? Как бы мы на него ни ответили, любой ответ будет только словами, более ничем, just words, nothing more. Сказать, что мы ищем красоты и гармонии, правды и совершенства, значит ничего не сказать. Мы ищем в архитектуре того же, что мы ищем, в конце концов, в жизни, говорит он (как будто решившись...). Мы обречены, говорит он, на поиски некоего смысла (a sort of sense). Вновь и вновь переживаем мы откровения смысла, проблески смысла, промельки смысла... Мы не можем его высказать, но можем его осуществить (realise). Мы создаем структуры, рождающие ощущение осмысленности. Никто не сумеет, наверно, сказать, привносим ли мы в мир этот смысл или открываем какой-то смысл, миру изначально присущий. И то, и другое верно. Я даже самоуверенно полагаю, говорит А.Н.В., по-прежнему качая, небось, ногою, что никакое другое искусство не дает нам такого переживания осмысленности мира, как именно архитектура; впрочем, никакое другое искусство и не вторгается в мир так решительно, не изменяет его так сильно. Может быть, конечно, я говорю это, потому что сам архитектор... Так ли, иначе ли, но

смысла прибавляется в мире. Мир становится более осмысленным, значит и менее невыносимым... Сделать этот невыносимый мир чуть менее невыносимым, говорит он, хорошая задача для архитектора. To make this intolerable world a little bit less intolerable, a good task for an architect... На этом и порешим... Еще я думал, конечно, не мог не думать, глядя на колебавшиеся клены в окне Баварской библиотеки, что лето 1982 года было каким-то особенно счастливым летом моей жизни, что я провел его все в той же, на этих страницах уже упомянутой, латвийской деревне, с ее высокими дюнами, соснами, колкой травой, с ее окопами в дюнах, в которых с моими тогдашними, за прошедшие годы не утраченными друзьями мы собирали чернику, не задумываясь ни о Первой мировой войне, ни о Второй, ни о Гражданской, и если ездили, например, на велосипедах в соседний, в двадцати с чем-то километрах от нас расположенный Тукумс (Туккум, как, разумеется, назвал бы его А.Н.В.), то менее всего думали о том, что происходило в этом курляндском городке в девятнадцатом, допустим, году, как там расстреливали заложников, как оттуда выбили красных, и как они туда возвратились, и как их снова прогнал ландесвер, и что там было во время бермондтовщины, да ничего мы и не знали об этом, имен и названий этих не слышали никогда, но видели печальнейший провинциальнейший советский городишко, пятиэтажки, разбитый булыжник, какие-то автобазы, пустой универмаг, кулинарию, где хоть можно было выпить кислый кофе с творожным пирожным, огромную рыночную площадь, такую огромную, что она как будто заваливалась за себя же саму, как будто падала за свой собственный край; всякий раз с радостью мы уезжали оттуда; всякий раз легко ехалось нам – обратно, потому что – обратно к морю, чуть-чуть вниз и почти весь путь под уклон; изредка, но совсем-совсем редко обгонял нас какой-нибудь «Запорожец»; никого больше не было на шоссе; ровной линией, белея песком у обочин, ромашками по канавам, убегало оно среди пологих холмов, не скошенных или, наоборот, снопами сена утыканных косогоров; стучала каретка; начинался лес, еловый и темный; уже вечером сворачивали мы на прибрежное, чуть более оживленное шоссе, с тем же белым песком, полями с одной и соснами с другой, морской стороны; и случалось, что аист вдруг пролетал где-то рядом с нами, над нами, в сумерках, едва не задев нас; мы

останавливались, конечно; и во вдруг опускавшейся, после шума, ветра, возбуждения, стука и скрипа почти осязаемой тишине, следили за этим аистом, через уже окутанное синеватой вечернею дымкой поле улетавшим к дальнему, совсем синему, лесу; медленно, с какой-то дополнительной затяжкой на взлете, поднимались, так же медленно падали его огромные крылья, единственное, что вообще двигалось между застывшим небом и замершею землей; все, что было на небе, на земле, и розовые закатные росчерки, и автобусная остановка, озаренная ими, скамейка и столбик, все это тоже, казалось нам, следило, как и мы сами, не в силах от нее оторваться, за этой белой точкой, еще видимой, готовой исчезнуть. И когда уже почти в темноте въезжали мы в *нашу* деревню, таким, я помню, мягким светом светились окна в домах, таким спокойно-зовущим светом за изгородами, соснами, шторами, таким, в самом деле, *домашним*, хотя ни в одном из этих домов нас не ждали, ни в один из них нас не звали, каким впоследствии уже никакие окна, наверное, не светились, светиться уже не будут... Что же до города Нижний Ломов, наконец, то город этот до сих пор был известен мне по названию, причем в сочетании с очаровательным словом *розлив*: в восемнадцать лет я проработал однажды месяц (странная была причуда, первый опыт совсем другой жизни...) экскурсоводом в музее Лермонтова в Тарханах (б. Пензенская губерния, б. Чембарский уезд; в советское время: село Лермонтово Белинского района Пензенской области; Белинского потому, что в захолустном Чембаре родился неистовый Виссарион); любовь местного начальства к литературе обернулась сухим законом, то есть во всех окрестных деревнях водку продавали, а в селе Лермонтово Белинского района не продавали, полагая, по-видимому, что негоже проводить экскурсии по местам поэтической славы под говор пьяных мужичков, каковые мужички, не плошая, привозили водку из окрестных, счастливейших, деревень; вся эта водка имела подзаголовок «Нижне-Ломовского розлива» и сделана была, по всей видимости, из отходов местной лесопилки или местной смазочной мастерской – страшная вещь, короче, раз и навсегда покончившая с моей карьерою алкоголика.

Я написал о своих библиографических разысканиях Пьеру Воско, попутно, не удержавшись, сообщив ему и свои смутные мысли – скорее даже ощущения, чем мысли –

о связи строительства с поисками многозначных случайностей...; его ответ был кратким, вежливым, равнодушным; переписка вскоре заглохла; все-таки он сдержал свое обещание, прислав мне отсканированные (смешное слово, но пускай остается...) фотографии, о которых говорил в Нимфенбурге, в парке Английском и Олимпийском, прислал и другие, о которых не говорил, целую папку фотографий, запакованную в формате, кажется, ZIP, с которым мой компьютер не сразу сумел совладать, в конце концов все-таки справился. Из этих фотографий некоторые были, конечно, и в книгах, которые читал я теперь. Ни в одной книге не было и не могло быть карточки, запечатлевшей самого Пьера Воско с дочкой убитого его матерью офицера вермахта, за типично парижским, с чугунной ногою, столиком уличного кафе, в 1967 веселом году. Пьер Воско всю жизнь, наверное, выглядел старше своего возраста. Все-таки он здесь еще молодой, еще не усатый, какой-то светски-спортивный, даже на черно-белой фотографии видно, что должным образом загорелый, как будто недавно ходивший в горы или три раза в неделю играющий в теннис, как оно, конечно, и было, с еще не совсем замкнувшимся, но все же строгим и напряженным лицом, костистым носом и костистой, сильной рукою, лежащей на столике рядом с чашкой и черными, в ту пору очень, наверное, модными, прямоугольными, сверху и только сверху схваченными увесистою оправой очками. На нем все вообще модное, костюм сидит, как на Джеймсе Бонде в исполнении Шона Коннори, рубашка и галстук такие, как будто он в них родился. Беттина Шликевиц в джинсовой курточке, темно- или рыжеволосая, с перекинутым через плечо и спускающимся на грудь толстым *конским хвостом*; на столике рядом с ней видна пачка табака *Drum* и маленькая пачечка с бумажками для изготовления самокруток, видна книга, вынутая, похоже, из висящей на спинке стула холщовой сумки (Маркузе? Вальтер Беньямин? план Парижа по округам?...). Смотрит она растерянно. Смешно все же, как буржуазно выглядит сын анархистки и какой анархисткой смотрится дочь национально мыслящего арийца с пристрастием к прусской дисциплине и классической древности. Она, конечно, сочувствует его матери и мечтала бы избавиться от отцовского мучительного наследия, а все-таки это ее отец, и о том, как рыдала ее собственная мама, со свадебной фотографией в дрожащих руках, после краткого визита

полкового командира, принесшего роковое известие, шелкнувшего каблуками, ушедшего навсегда, в сверкающий страшный день, обо всем об этом она тоже не может не думать. У нее молодое, наивное и в веснушках лицо; ей правда не нравится война во Вьетнаме. Александру Воско она тоже не нравилась. Бывший солдат Юденича и доброволец в балтийском ландесвере, он сам, рядом со своим консервативным сыном, выглядит так, словно только что пришел с демонстрации за мир, на той единственной фотографии – тоже шестидесятых годов, – которую можно при желании назвать семейной, где все они запечатлены на какой-то большой, солнечной, явно южной террасе – Пьер Воско в другом, светлом, но таком же строгом костюме, при галстучке, строго сидящий в плетеном кресле; его маленькая и уже тогда совершенно невыразительная жена, m-me Chantal Vosco, с поджатыми губками и скошенными набок ногами – костлявые коленки глядят в объектив – сидящая в кресле, таком же плетеном; семи- или сколько-то-летняя Вивиана, втиснувшаяся между ними и вся перекрутившаяся, явно паясничая; прекрасная, внимательно глядящая в объектив Мария за спинкой того кресла, в котором сидит ее пасынок; и рядом с Марией, положив на плечо ей руку, но все же сам по себе и отдельно от всех стоящий Александр Воско, большой и широкий, расставивший ноги в холщовых белых мятых штанах и отчетливо различимых, на босу ногу, холщовых же тапочках (*эспадрильях*), в майке *поло* с распахнутым воротом и в темном пиджаке как будто от другого костюма; тени на полыхающем полу готовы раскрыть все их тайны; тень А.Н.В. – большая, длинная, летящая к балюстраде, тень Вивианы – изломанная, тень Марии теряется в тени ее мужа, тени Chantal и Пьера – круглые, глыбистые, густые. Этот распахнутый ворот рубашки виден на многих снимках, и ранних, и поздних; пятнадцатилетний, скорее, уже шестнадцатилетний, еще не знавший войны и крови (хотя война, разумеется, рядом, кровь льется неподалеку) Александр (для русских родственников, конечно же, Саша) Воскобойников стоит на одном из них на фоне каменной, серой, зримошершавой стены, где-то в Риге или где-то у моря, уже никто никогда не узнает, уже очень широкоплечий, темноволосый, в двубортном, в полоску, пиджаке с продетой в петлицу тонкой ленточкой, спускающейся и падающей в нагрудный карман, в котором скрывается,

значит, что-то, и уже никогда никто не узнает, что именно, и с раскрытым, действительно, остроконечным воротом белой рубашки, двумя небрежными крыльями падающим на лацканы пиджака. Для 1916 или 1917 года, в котором мы, очевидно, находимся, это смело и странно. Что-то словно переполняет его, какое-то очень сильное, счастливое чувство, какое-то внутреннее веселье, не без вызова – миру, людям, фотографу, мне, через почти сто лет разглядывающему фото в компьютере. Он как будто не в силах сдержать этот вызов, это веселье. Они прорываются, сдерживает он их или нет, – в улыбке, тенями и складочками дрожащей в уголках рта и на щеках возле них, в смеющихся и сощуренных, у висков чуть-чуть книзу загибающихся глазах... Глаза и губы образуют как бы две иронические линии в этом лице, повторенные ровной, по краям тоже чуть-чуть загибающейся книзу линией бровей, легкой линией теней под глазами, легчайшей тенью под нижней губой. Он выглядит здесь как мальчик, накануне вечером потерявший невинность, отсидевший в гимназии, вот только что, скучнейший латинский урок, *Gallia est omnis divisa*, и думающий, понятное дело, – ни о чем, ни о ком другом думать не в состоянии, – о той замужней даме в шелках и кольцах, случайной знакомой родителей, которая соблазнила его накануне и к которой он непременно опять поедет сейчас, вот сейчас, на дачу в Майоренгоф, где она уже ждет его, может быть, напевая и про себя усмехаясь, к удивлению строгой служанки. Эта веселая сила всегда была в нем, конечно; я почувствовал ее даже в нашу единственную встречу, в его старости, в моей еще-почти-юности. Как-то даже не предполагается в этом шестнадцатилетнем, обращенном в будущее лице, что оно может когда-нибудь погаснуть, а сила в нем – затаиться. Все же на фотографиях тридцатых годов он выглядит каким-то потерянным, задумчивым, едва ли не мрачным, даже на том смутном, смытом и блеклом снимке, являющем его и беспощадно перекошенную, потому что с краю сидящую, Нину в обществе монпарнасских ли, не монпарнасских ли собутыльников, в каком-то как будто подвале, в табачном, даже на черно-белом снимке осязаемо-сизом дымом. Они сидят не рядом друг с другом, но голорукая большеглазая Нина рядом с каким-то набриолиненным, едва ли и не напудренным, молодчиком с отвислой нижней губой, а строгий, в галстук, с плывущими

пьяными глазами А.Н.В. – прямо в центре, в обществе вполоборота к нему повернутой полнолицой и полноплечей дамы, что-то, похоже, воркующе-веселое ему говорящей. Куда как невесело смотрятся они оба, Нина и А.Н.В., на том неожиданно туристическом снимке, с видом на Эйфелеву башню и далекие серые крыши, который сделан, мне кажется, году в тридцать третьем или тридцать четвертом на балюстраде снесенного в тридцать пятом старого дворца Трокадеро, замененного нынешним (дворцом Шайо) ко всемирной выставке 1937 года, той самой знаменитой выставке, на которой советский павильон с пресловутым рабочим и не менее пресловутой колхозницей, как в зеркало, гляделся в нацистский с имперским орлом на крыше, уже готовым схватить Лютецию стальными своими когтями. Этих павильонов на снимке еще нет, их вообще еще нет, не видно и самого (чудовищного) дворца, оставшегося за спиной у (наверное, уличного, за плату предлагавшего свои услуги) фотографа. Они только что вышли, может быть, из тогдашнего музея архитектуры, располагавшегося в старом дворце, как теперешний располагается в новом; понятно, что это А.Н.В. затащил туда свою не вдохновенную визитом жену; а вот идея сняться у фотографа в роли счастливой пары была, наверно, ее. Счастливой пары не получается. Они держатся за руки, а стоят все же порознь, каждый сам по себе и в обществе своих собственных мыслей. Он в шляпе, как ни смешно, с перекинутым через руку плащом. Она, наоборот, в плаще, слегка тронутым весенним, или осенним, теперь мы не узнаем уже, ветерком, просто-, гладко- и русоволосая, с большим пучком на затылке, отчего голова кажется маленькой, а глаза такими огромными, как если бы они могли сами по себе существовать где-то в другом, лучшем месте, в Стране Загадочных Взглядов, или, наоборот, Отчаянных Взоров, и вот только случайно, ненадолго оказались здесь, на этом лице, в этом Париже, на этом ветру. Ей здесь плохо, ей, наверно, везде было плохо. Она высокая, стройная, легкая; ей двадцать два, двадцать три, может быть, года. Еще есть что-то не определившееся, совсем юное, не детское, но девическое в этом лице. Он и полюбил в ней, наверно, это девическое, это хрупкое, трепетно-ломкое, столь иногда привлекательное для уже не совсем молодых мужчин... Их общих снимков мне больше видеть не довелось, а вот упомянутые ее сыном стихи Нины Саламовой

разыскать оказалось не сложно; два или три ее стихотворения, нельзя сказать, что лучшие, лучших у нее, увы, нет, но все-таки два или три, всегда те же стихотворения и в наше время, случается, попадают в антологии «парижской ноты» и «первой волны». Они выглядят произвольной пародией на эту «парижскую ноту»; всякое литературное направление (или «течение», или «группа») с помощью своих экзальтированных эпигонов пародирует себя самое. «Мы проходим легко и бесслезно в этом сумраке улиц и лиц, умираем светло и беззвездно в суеде нам ненужных столиц». В каком – «этом» сумраке? и как можно проходить – «бесслезно»? «беззвездно» умирать? почему не наоборот? и что вообще это значит? Такие мелочи вряд ли ее волновали... «Стихи молодой поэтессы, не согреты, но скорее отягощенные столь модной на русском Монпарнасе «телогрейкой новейшего уныния», все порываются куда-то, все пробуют если не полететь, то хоть побежать, но, увы, всякий раз спотыкаются об одни и те же обесмысленные словосочетания, аляповатые аллитерации, испробованные еще сорок лет тому назад в московских «декадентских» салонах, беспомощные или банальные рифмы, в конце концов, просто о нежелание или неумение всерьез задуматься о своем ремесле, овладеть простейшей поэтической грамотой. На красных лапках далеко не уплывешь, и на бесслезной беззвездности в поэзии тоже не выплывешь». Все-таки Ходасевич удостоил ее этим ядовитым отзывом («Возрождение», 5 апреля 1937 г.), так что свое скромнейшее место в примечаниях к истории русской литературы у нее, как ни странно, есть.

В отдельной папке (то есть папке, конечно, компьютерной; почти уверен, впрочем, что и настоящие карточки, негнувшиеся и блеклые, лежали, и до сих пор лежат, у Пьера Воско в какой-то отдельной папке, с тесемками или без) были собраны фотографии поколения предшествующего, фотографии его бабушек, и дедушек, и даже, похоже, прабабушек, исчезающих в серой стихии времени, заметаемых растущей пустыней...; тут ждали меня неожиданности. Полковник Саламов, отец Нины, первый тесть А.Н.В., оказался, впрочем, на той единственной фотографии, которую прислал мне его внук (в его честь, конечно, и названный) более или менее таким, каким я и представлял его себе по рассказам; явлен был на этой фотографии не с кем-нибудь, но с самим генералом

Юденичем и еще одним, безмянным для меня, офицером в смутно-сводчатом помещении, перед огромной картой, разложенной на столе; пятидесятилетный в девятнадцатом году Юденич, тяжелый, плотный, почти какой-то обрюзгший, с круглой лысой тугой головою, совсем маленьким кажется – еще и потому, впрочем, что склонился над картой – рядом с высоким стройным сорокалетним Саламовым во френче с отчетливыми нагрудными карманами, смотрящим серо и хмуро, словно сомневаясь, что по этой карте выйдут они куда-нибудь, например – к Петрограду, не забредут в болото, в гибель и топь, на красные пулеметы. У него широкие татарские скулы и, конечно же, как почти у всех тогдашних офицеров, усы, причем усы, как-то трогательно повторяющие, все-таки не решаясь вполне и вправду повторить их, начальственные усы самого Юденича, то есть не улетающие, как у Юденича, за овал лица, к плечам и погонам, но замирающие на полпути, не посягая на генеральство... Совсем нетрудно представить себе этого человека постаревшим, таким же стройным, с той же военной выправкой, в двубортном штатском костюме, его единственном, с поседевшими усами, висками, по очень пыльной, очень печальной, почти русской, с дешевыми русскими трактирами, русскими лавочками и русскими тополями, биянкурской горбатой улице возвращающимся с работы – все-таки, слава Богу, не таксистом и не на заводах «Рено», тут же рядом и расположенных, каждый вечер выпускающих из ворот черные толпы бывших борцов за честь и свободу отечества, но, как рассказал мне его внук при нашей позднейшей с ним встрече, с относительно приличной, чистой, хотя и бесконечно скучной ему работы в агентстве недвижимости, *agence immobilière*, куда помог ему устроиться его зять, благодаря своим архитектурным связям, когда сам перебрался в Париж. До этого он и вправду работал, кажется, у «Рено»... По грязной и гнутой, с чугунными перилами, лестнице поднимается он на пятый этаж, в ту квартиру, от которой выросший и молодой П.А.В. отказался в начале шестидесятых, женившись на своей буржуазной богачке и уехав в Америку, квартиру, думаю я теперь, где в шкафу, все эти годы, и двадцатые, и тридцатые, и так далее, висела, берегаемая нафталином, парадная форма полковника, и в сундуке, по которому маленький Петя дубасил толстыми ножками, среди других каких-нибудь, случайно спасенных вещей и

воспоминаний, хранились, с тех пор, наверно, пропали, его погоны, его Георгиевский крест. Пропало все, пропадут и наши надежды. На фотографии Елены Васильевны Саламовой виден тот круглый стол, за которым она шила гладью, одна или с дочерью, виден, на заднем плане, комод или секретер, разглядеть все же трудно, и что-то белесое в рамочках, как хочется верить, что тоже фотографии, те же фотографии, вот эта с Юденичем, только что мною описанная, вот эта, в интернете найденная мною, фотография светлейшего князя Ливена с глубокими голубыми глазами, двумя пулями после меткого выстрела...; сама же Елена Васильевна на карточке, присланной мне ее внуком, запечатлена уже в старости, после войны и, значит, после Нининой гибели, высокая, тоже и по-прежнему стройная пожилая женщина с пучком полуседых волос на затылке, горькой, нежной складкой у широкого рта и большой, сухой, очень красивой рукою в серебряных кольцах, не опирающейся на стол, но как-то почти застенчиво, кончиками пальцев, касающейся белой, на этот раз безромбовой, скатерти.

Поразили меня фотографии другой бабушки Пьера Воско – Эльзы (если по-русски, то – Генриховны) Воскобойниковой, урожденной баронессы Фитингоф, поразили меня так сильно, что, помнится, я даже написал П.А.В., не перепутал ли он подписи к отсканированным снимкам, названия файлов и неужели правда вот эта прелестная молодая женщина, или девушка, быть может – еще до замужества и, значит, в девяностые какие-нибудь годы снятая либавским фотографом (дата отсутствует, но слова *Photographie A. Küssner, Libau* читаются легко), со сложной старинной прической, незримыми миру шпильками удержанной на затылке, горделивыми буклями, набегающими на высокий выпуклый лоб, – эта девушка из девятнадцатого века, еще не знающая, какой двадцатый стоит на пороге, в свободном летнем платье с рюшами, как белые гребешки волн окружающими неглубокое декольте, – неужели эта девушка, глядящая так внимательно, такими огромными, в таких горестных тенях, если к кому-нибудь, то лишь к ней самой, к ней одной строгими, ее одну, ее саму испытующими глазами, с такой еще почти детской припухлостью возле рта, вокруг полных, чуть вывернутых наружу губ, – неужели это правда та суровая немка, о которой мне рассказывал ее внук, которой он боялся, как,

якобы, все боялись ее, которая французские булки обжаривала на огне, не снисходила до круассанов, презирала демократию, отвергала рокфор? Она же в зрелые годы, в двадцатые, наверное, годы наступившего двадцатого века и уже с лицом, на которое не просто время, прошедшее после первого снимка, но именно новый век, новое время наложили свой отпечаток, рижская дама с короткой, или так кажется, стрижкой, без всяких, разумеется, буклей, в лихо, наискось, надетой шелковой шляпке, такой же, видимо, черной, как пальто и платье с камеей, и с той, ее сыном унаследованной, я думал, что от отца, но получается, что унаследованной и от матери, шальной искринкой в глубоких глазах, как бы медлящих на едва уловимой грани между грустью и смехом, готовых то ли сообщить миру, что им все нипочем, все пройдет, все пустяки, то ли взять, вобрат, впустить в свою глубь все горе этого мира, все стенание всей твари, всех пожалеть, разрыдаться над всеми. И вот эта читательница Шиллера – и не только же Шиллера, эта женщина, напоминающая, скорее, гетевскую «прекрасную душу» из когда-то столь любимого мною романа, искательницу внутреннего пиетистского совершенства и потаенной душевной гармонии, эта женщина с такими ясными глазами, с таким тихим лицом, превратилась под конец во вздорную старуху, нарочно громко кричащую по-немецки на французской улице, чтобы позлить лавочников и прохожих? Ее вообще невозможно представить себе кричащей, вы что-то путаете, Петр Александрович, вы перепутали файлы и папки. Петр Александрович ответил мне очень кратко – последний всплеск затихающей переписки – что никакие файлы он не перепутал, это точно она, фрау Эльза, что же до внешнего сходства его бабушки с его мамой, о котором я тоже спросил его, то он этого сходства не видит, ни на фотографиях, ни... вообще. Если сходство было, то только внешнее, большие глаза. А я и не думал о внутреннем. Скорее уж было какое-то, написал мне Пьер Воско, но именно внутреннее, нисколько не внешнее сходство между его бабушкой и второй женой А.Н.В., хотя он даже и представить себе не пытается, как отнеслась бы фрау Эльза к этой экзотической женщине, привезенной из Аргентины.

Аргентинские фотографии были тоже. Среди этих аргентинских фотографий А.Н.В., в отдельной, опять-таки, электронной папке присланных мне его сыном, было две

замечательных; на одной, сделанной, похоже, вскорости после его – и Владимира Граве – прибытия в эту – для меня – мифологическую страну, видны они оба, друзья детства, так чудесно встретившиеся на пароходе, за год или за полгода до снимка, сидящие, разделенные квадратным крошечным столиком, в уютнейшем, или таким оно кажется, буэнос-айресском кафе, с темно-деревянной стойкою бара, разновозрастными и многообразноэтикеточными бутылками, фотографиями Хэмфри, кажется, Богарта или Гарри, может быть, Купера и афишей какого-то Cabaret Folie на стенке за стойкой, с шахматными квадратами пола. Такое ощущение, что они и сами играют в шахматы – хотя никаких шахмат нет между ними, есть только кофейная чашечка перед Александром Воско и тонкий стакан с чем-то прозрачным перед Владимиром Граве – по крайней мере, играли в них, покуда не подошел к ним усатый бармен в белой курточке, чтобы подлить прозрачное это что-то в рюмку В.Г., сидящего вполборота к неведомому фотографу, в объектив не глядя, но глядя на А.Н.В., сквозь свои неизменные круглые металлические очки. Он здесь не кажется ни болезненным, ни одутловатым, просто чуть-чуть, но совсем чуть-чуть, полно- и круглолицым, а значит и совсем, но совсем чуть-чуть, беззащитным, со своим высоким лбом, далеко убегающими залысынами, чудесными, ироническими, совершенно петербургскими тенями в уголках губ, уверенным размахом вылетающих из-под очков пушистых бровей. Александр Воско, в этом редком ракурсе, сбоку и сзади, являет зрителю неожиданно, тоже, полную щеку, буйную, на затылке особенно буйную шевелюру, еще не тронутую, по крайней мере не видно ее, сединою, уже отчетливые, благородно-простецкие, какие-то, в самом деле, собачьи складки вокруг рта, вблизи подбородка, широкую руку рядом с чашечкой на обшарпанной деревянной столешнице. Все же кажется, что они играют во что-то, в какую-то свою собственную, совсем особенную, без ферзей и пешек, игру; сидят прямо, молча, в ожидании следующего хода, новой комбинации, рокировки или гамбита. Еще кажется, что никого в кафе нет, кроме них, хотя не так уж и трудно вообразить себе другие столики вокруг них, и других посетителей. Все-таки кажется, что никого больше нет, что они здесь вдвоем, втроем – с барменом, погруженные в эту свою безмолвную, нескончаемую игру (друг с другом, с

собою, с судьбою...). Второе, не менее, по-моему, замечательное, аргентинское фото сделано, как я впоследствии понял и узнал, в Рио-Давиа, впрочем, сведенном на снимке к смутному абрису каких-то темных кремнистых холмов; все интересное происходит (создается и строится) за спиной у фотографа, незримое нам; на него-то и указывает, неожиданным, опять-таки, жестом, горстью вытянутой широкой руки – как если бы он что-то драгоценное держал в пальцах, боялся сломать, предлагал оценить – А.Н.В. в строительной каске и явно знакомом с известкой и щебнем костюме – стоящему рядом с ним, в почтительном окружении – позади на полшага – каких-то второстепенных персонажей, высокому, едва ли не выше, чем он сам, старому, с седой бородкой и совсем не седыми бровями, во что-то довольно экзотическое, черное с золотой тесьмой одетому господину. Тот смотрит, сказал бы я, как человек, которого удивить вообще-то нельзя – видал виды! – которого вот, наконец, на старости лет, удивили, и это, может быть, самое для него главное, самое радостное. Это бургомистр (intendente) Рио-Давиа, как я впоследствии выяснил, в жизни А.Н.В. сыгравший одну из главных ролей, обеспечивший его теми заказами, без которых ни один архитектор не может состояться, тем менее может прославиться... Затем идут снимки времен этой славы, поздние и очень поздние снимки, шестидесятых и семидесятых годов, снимки, сами по себе знаменитые, воспроизведенные во всех альбомах, в книгах, теперь в интернете. А.Н.В. и Пьер-Луиджи Нерви, «гений бетона», под сенью автострадной эстакады, поделенной надвое, с полосой южного неба между уходящими вдаль, нам зримыми с ребристой изнанки, прямыми бетонными лентами на остро-треугольных, атлетически-легких ногах. Нерви элегантен и строг, в итальянском старинном стиле, в черной шляпе, черном костюме; А.Н.В., в костюме тоже, смотрит на него с восхищением. Они же под тревожно-таинственными, в знаменитых нервиевских ромбах, бетонными сводами непонятно чего (стадиона в Риме?), стоящие точно так же, в тех же костюмах и позах, с двумя, на заднем плане, одинокими фигурами у белоснежных, или так кажется на снимке, колонн, фигурами – их лиц не видно, только черные костюмы, черные шляпы, – как будто поставленными там, в глубине картины, в синеватом сумраке, остроумным художником, де Кирико или, скорее, Магриттом;

фотография, которую впоследствии обнаружил я на стене лангедокского дома А.Н.В., вовсе, конечно, не стремившегося демонстрировать себя случайным посетителям в обществе других знаменитостей, но, очевидно, оценившего сюрреалистическую красоту композиции. Александр Воско и Ле Корбюзье на пляже в, надо полагать, Roquebrune Cap-Martin, пресловутом прибежище так, по счастью, и не сумевшего перестроить весь мир швейцарца. Ле Корбюзье, конечно, голый, в очках и трусиках, как и на всех своих морских фотографиях; Воско в своих тоже уже классических закатанных холщовых штанах и выпущенной наружу, все же не до конца расстегнутой длинной белой рубашке, глядящий на песок под ногами (наклонив голову, собрав собачьи складки у подбородка); видно, в общем, что они друг другу не нравятся. Снова они же, у не менее пресловутой хижины (le cabanon), роковым образом напоминающей обыкновенный русский сарай, элементарной, по замыслу, ячейке земного существования, построенной Ле Корбюзье для собственного уединения и удовольствия, в соответствии с принципами функциональной архитектуры и с видом на море из крошечного окошка – не просто на море, но прямо на то место, где через пару лет после фотосессии утонул он; из этого окошка он и выглядывает, по-прежнему в очках и по-прежнему голый, с чем-то белым на голове, похожем на платок с завязанными по углам узелками, как это делают в жару дорожные рабочие, где-нибудь опять же в России; А.Н.В., стоящий снаружи, весьма и весьма скептически смотрит на этот прообраз по законам золотого сечения рассчитанных клеток, в которые отважный швейцарец собирался запереть человечество. Эти снимки сделаны Люсьеном Эрве (Lucien Hervé), замечательным, в самом деле, фотографом, прославившимся своими архитектурными фотографиями, оставившим и несколько портретов А.Н.В., слишком, пожалуй, известных, чтобы долго говорить о них здесь. Александр Воско и сам был ведь страстный, хотя и не вполне профессиональный фотограф; техническая сторона этого дела мне, скорее, скучна, говорит он в одном из своих интервью, собранных его сыном в сотрудничестве с таинственным Мишелем де Боттисом, лучше сказать, у меня не хватает терпения, чтобы по-настоящему разобраться во всем этом; фотография для меня что-то другое; подспорье для памяти и помощь в работе; попытка удержать вечно текущую субстанцию жизни;

форма созерцания мира. В том же, в Женеве изданном сборнике статьей, интервью и воспоминаний о нем есть любопытный фрагмент, всего две странички, по просьбе составителей написанные Жаном Лавалем, сыном и наследником Фредерика Лавалья, того самого Фредерика Лавалья, в бюро у которого А.Н.В. работал в тридцатые годы. После войны этот Жан Лаваль скорее работал у Александра Воско, то есть проекты считались совместными, но А.Н.В. был звездой и на первых, а сын его бывшего патрона на скромных вторых ролях, что, впрочем и судя и по всему, не мешало их отношениям; в тоне воспоминаний чувствуется симпатия не наигранная. Я иногда встречал его в Париже в самых неожиданных местах, пишет Лаваль, в рабочих пригородах возле Bassin de la Villette, или где-нибудь за Аустерлицким вокзалом, с фотоаппаратом в руках. Он однажды признался мне, что так отдыхает, так думает. Ходит по городу с фотоаппаратом, снимает старые мосты, шлюзы, лодки, просто камушки под ногами. Мне кажется, он мог часами ходить так. Было видно, что он счастлив, что ему хорошо с самим собой, хорошо в одиночестве. Он был вообще человек очень созерцательный (*très contemplatif*), очень погруженный в себя. Хотя он мог, конечно, быть и общительным, и веселым. Мы допоздна засиживались, бывало, в бюро – его бюро было в чудном месте, в пятнадцатом округе, недалеко от бульвара Гренель; он ходил туда из дому и оттуда домой, в Пасси, почти всегда пешком, через реку, по мосту Vir-Nakeim, с его эстакадой и проносящимися над головой поездами метро; однажды признался мне, что любит этот двухъярусный, индустриальный, такой, скорее, нью-йоркский мост едва ли не больше всех других мостов через Сену, – и когда совсем уж допоздна засиживались, и работы было много, и расходиться вообще не хотелось – даже в ближайшее бистро на бульваре пойти было как-то лень – Мария привозила, помнится, из дому сыр, вино и багеты, и мы просто сидели все вместе, впятером, вшестером – сотрудников у него никогда много не было – вокруг огромного, во всю длину главного ателье вытянутого стола, и бывало очень весело, в самом деле, еще и потому, мне кажется, что в Марию все были втайне чуть-чуть влюблены, называли ее за глаза *la señora*, и Alexandre, за глаза и для полноты картины прозванный в бюро *il señor*, рассказывал что-нибудь, всегда неожиданное, об их жизни в Аргентине, в глухих и диких

местах, о своей балтийской юности, о первых, к тому времени уже легендарных, съездах СИАМ, о не менее легендарной штуттгартской выставке 1927 года, на которую он приезжал из Риги, о других подобных вещах, заставляющих сильнее, скорее биться сердце строителя. Рассказчик он был превосходный, с чудесным чувством юмора, с вниманием к деталям, к внезапным поворотам сюжета; бесконечно жаль, что он так и не написал своих воспоминаний, для которых, я знаю, в разные годы делал подготовительные заметки... В тридцатые годы я его не помню таким, пишет дальше Лаваль, помню скорее нервным и несчастливым. Конечно, я сам тогда еще был молод и невнимателен, да и Alexandre, в конце концов, считался просто одним из сотрудников моего батюшки, так что я не очень полагаюсь теперь на мою память. Помню все же, как в бюро все звонил ему кто-то и как он, препираясь по-русски с тем, кто ему звонил, все прикрывал трубку широкой рукою, хотя для нас для всех его препирательства звучали как чистейшая, славянски певучая тарабарщина. Моему отцу это очень не нравилось, но он терпел, ценил Александра, по своему даже любил его, кажется мне, уже тогда понимал, наверное, то, чего другие не понимали. Alexandre был, конечно, джентльмен до кончиков ногтей (*jusqu'au bout des ongles*), пишет Жан Лаваль в заключение, но он был при этом живой человек с открытой и незащищенной душой, он мог все бросить, вдруг услышав по радио какую-нибудь любимую им мелодию, Шуберта или Брамса, замереть с рейсфедером в руке, со слезами в глазах, ничего не замечая вокруг, выпадая из времени. И это как-то связано, кажется мне, с авантюрной жилкой, которую я всегда в нем отчетливо чувствовал, как если бы возможность вообще все бросить, всю свою жизнь, на все махнуть рукой и все послать к черту, отколоть какое-нибудь безумство, удрать на войну или убежать в Аргентину, как если бы такая возможность, мечта и соблазн, постоянно присутствовали в его мыслях, почти независимо от того, была ему эта жизнь по душе или нет, независимо от успеха и неудачи, счастья или несчастья, одиночества или не-одиночества (*solitude ou non-solitude*).

Вот, наконец, интервью, не попавшее ни в один из этих сборников, но найденное мною – и тоже в один из первых дней после отъезда Пьера Воско – не совсем, впрочем, случайно, поскольку я теперь останавливался у полка с книгами по архитектуре и в

букинистических, и в просто книжных лавках – все же я думаю, что и эта случайность позабавила бы Александра Воско – найденное мною, начнем еще раз, в одной из бесчисленных букинистических лавок за мюнхенским университетом, на Шеллингштрассе, куда обычно захожу я, если оказываюсь в Швабинге, куда на этот раз зашел если не прямо из Баварской библиотеки, то, может быть, посидев полчаса в любимом кафе *News Bar* на углу Шеллинг- и Амалиенштрассе, одном из тех мюнхенских кафе, в которых, переходя из одного в другое, я начал – уже теперешней, не тогдашней – осенью писать этот текст, вот этот, эту повесть, или роман, или что это будет; в букинистической, или, как говорят в Германии, антикварной книжной лавке, где было, как во всех антикварных книжных лавках, темно и грустно, стоял затхлый, тяжелый, ванильный запах старой бумаги, и у букиниста был тот испуганный, слегка безумный взгляд, какой бывает почти у всех букинистов, как если бы их слегка оскорбляла необходимость иметь дело не только с буквами, страницами и корешками, но еще и с надоедливymi, хотя и редкими посетителями, отвлекающими их от созерцания корешков и обложек; все-таки он без колебаний, легким отстраняющим жестом – возьмите, мол, и отстаньте – отдал мне пожелтевшую, вчетверо сложенную страницу с интервью Александра Воско, аккуратно вырезанную кем-то из воскресного приложения к газете *Die Welt* от 6 июля 1975 года (как это вообще принято среди образованных немцев; такие вырезки из газет нахожу я теперь в каждой третьей книге, купленной у букинистов) и засунутую в большой, тоже в середине семидесятых вышедший, с тех пор пожелтевший и поистрепавшийся альбом «Современное строительство на Рейне и Мозеле», *Moderne Bauten am Rhein und an der Mosel*, в котором обнаружили и фотографии как раз в то время спланированного, в дальнейшем, действительно, построенного А.Н.В. нового района в городишке Лейвен на Мозеле, совсем недалеко от Куса, родины, ни много ни мало, Николая Кузанского, о котором и спрашивает его первым делом тоже и в свою очередь скрывающийся даже не под инициалами, но под названием газеты интервьюер (так что я уже не в силах вообразить себе никакого Майкла, никакой Мэри). Что для вас Николай Кузанский? Was bedeutet Nikolaus von Kues für Sie? Строить поблизости от

родины великого богослова, говорит А.Н.В., большая честь и огромное испытание; ландшафт этот вообще слишком прекрасен, чтобы портить его современными монстрами... Все же, поскольку город Лейвен-на-Мозеле решил застроить один из холмов, где почему-то перестали разводить виноград, как разводят его на холмах соседних и противоположных, по одному и другому берегу этой петливой и вьющейся, удивительной уже тем рисунком, который она образует на карте, реки – застроить, следовательно, этот холм, точнее эту группу холмов, включая расщелины, не теми совершенно одинаковыми двухэтажными беленькими домишками, которыми, увы, застроено теперь пол-Европы, пол-Германии в частности, и на которые лично он старается вообще не смотреть, чтобы уж совсем не расстраиваться, но чем-то более неожиданным, вообще чем-то имеющим отношение к архитектуре, то вот и он, Александр Воско, решил принять участие в конкурсе. Он, может быть, и не стал бы этого делать, если бы городок назывался иначе. Слишком все-таки привлекательным показалось ему созвучие слова Лейвен (Leïwen) с одним драгоценным для него именем. Корреспондент не спрашивает с каким. Корреспондент (или корреспондентка) пытается продолжить тему Николая Кузанского (показывая, может быть, собственную свою образованность). А.Н.В. свою образованность показать отнюдь не стремится, потому отвечает, довольно кратко и сухо, что основные понятия Кузанца – ученое неведение, например, и совпадение противоположностей в особенности – кажутся ему восхитительными метафорами чего-то, чего иначе не выразишь; мысль, полагает он, которая самому кардиналу, математику и мистику пришлась бы по вкусу. Так и в наших рассуждениях об архитектуре, говорит он дальше, мы пользуемся, в сущности, метафорами, с трезво-рациональной точки зрения, быть может, сомнительными, но все же как-то передающими наши устремления, задачи и замыслы. Когда Гуго Геринг (Hugo Häring), с которым он был, кстати и к счастью, знаком, у которого многому научился, пишет, что строить надо изнутри – наружу (von innen nach außen), то это, конечно, метафора, ничего более, но он прекрасно понимает ее, он сам старается строить именно так, изнутри – наружу, из внутреннего – вовне. Скорее, говорит он, возвращаясь к Николаю, он почувствовал живое присутствие великого философа, когда

бродил по берегам Мозеля, глядя на осенние виноградники, и не только потому, что в Кусе до сих пор существует дом для престарелых, основанный кардиналом, то есть существует уже более пятисот лет, несмотря на все войны и революции, вопреки всем революциям и всем войнам... Он вышел однажды утром из гостиницы в Бернкастеле, городке на противоположном от Куса берегу Мозеля; его жена еще спала и, кажется, все еще спали, кроме крестьянина, переезжавшего через мост на своем тархтевшем тракторе, кроме уток в реке и его самого, всегда встающего очень рано, по военной привычке. Трактор проехал и стало так тихо, как в Европе теперь уже почти никогда, нигде не бывает, как бывает тихо в Аргентине, как бывало в балтийском его детстве и юности, в курляндской глуши; солнце ван-гоговскими пятнами лежало на порыжевших, поредевших виноградниках, ровными бороздами уходивших наверх по холмам; у корабельной пристани стояли, покачиваясь, просыпаясь, прогулочные катера. Если бы Николай Кузанский вдруг появился откуда-нибудь из-за домов, еще спрятанных в синей тени, он бы, наверное, не удивился. Поскольку Николай не появился, говорит А.Н.В., он принялся рассматривать большую карту Мозеля на щите, установленном возле причала, и очень долго, минут двадцать, может быть, покуда Мария, его жена, не разыскала его и не позвала завтракать, смотрел на эти таинственные изгибы, извивы... Тогда-то вы и решили, наверное, перебивает его корреспондент, придать своим мозельским домам форму самого Мозеля? Это невозможно, конечно, отвечает он, у Мозеля все-таки слишком много извивов, изгибов. Но я долго смотрел на карту, и тогда, и потом, смотрел на нее вновь и вновь, и да, правда, мне хотелось придать моим зданиям некое сходство с этой рекой – и с этими виноградниками, фотографии которых, как и карту, как, впрочем, и репродукцию известного портрета Николая Кузанского (с молитвенными руками, длинными пальцами и кардинальской красной шапкою, на длинных веревках закинутой за спину...) я, признаться, повесил у себя в мастерской, на юге Франции, когда работал над этим проектом. Река и виноградники – вот две составляющие ландшафта. Поэтому дома спускаются вниз уступами и поэтому их рисунок, если смотреть на них сверху, напоминает загибы и петли реки. Поэтому же я выбрал такой бетон... там не много бетона, перебивает он сам себя, я использовал разные

материалы, и кирпич, и дерево, и стекло... но все же там есть бетонные внешние балки, как бы бетонные полосы в этих домах, и я выбрал такой бетон, такой грубый, с таким крупным наполнителем, таким большим содержанием щебня (*grobe und große Gesteinkörnung*), что он выглядит как природный материал, как часть ландшафта, скалистая часть. Этот грубый, ничем не замазанный бетон мне просто нравится, говорит А.Н.В., нравится трогать его руками, проводить по нему ладонью... Эти камушки в нем сами как виноградины... Между прочим, сделать такой бетон очень непросто, и он хотел бы, пользуясь случаем, высказать свою благодарность и свое восхищение рабочим из Трира, добившимся такого качества и такой красоты, разделившим с ним его заботу о материале, любовь к материалу. Любовь к бетону? переспрашивает (небось с ухмылкой) корреспондент. Разумеется, отвечает он. Если вы не любите материал, из которого строите, лучше вам строить из какого-нибудь другого, или не строить вообще. И это еще не все. Еще не все? вновь переспрашивает корреспондент (сдаваясь). Еще этот бетон напоминает ему опоры мостов, тех мостов через Мозель и через Рейн, к примеру, которые строил после войны замечательный немецкий инженер Фриц Леонгард (*Fritz Leonhardt*). Я не знаком с ним, замечает А.Н.В. (как-то вдруг), но кое-что меня с ним связывает, точнее кое-кто, общий один знакомый, оставшийся в Аргентине, уже и увы покойный, о котором не знаю, помнит он или нет. В мире вообще все со всем как-то связано, кажется мне. Собственно, это ощущение всеобщей связи вещей (вполне кузановское, если угодно) я и пытаюсь передать своими работами, своими проектами... Вы, однако, не станете отрицать, замечает к всеобщей связи вещей равнодушный, похоже, корреспондент, что этот ваш мозельский проект, каким бы прекрасным он сам по себе ни был, все же проект очень своеобразный, очень индивидуальный, и что для массового строительства он не годится? О, конечно, отвечает Александр Воско. Конечно, виноградно-курортный городок на Мозеле это не рабочий район в Рурской области, в Чикаго или в Мехико-сити. Он это прекрасно понимает, еще бы. Он только не понимает, почему все в мире должно быть таким одинаковым... В природе ведь нет единообразия, а природа, простите за банальность, наш великий учитель. Все зависит от точки зрения. Вам важно то, что отличает сосну от березы, а мне важно то,

что отличает одну сосну от другой. Я, между прочим, знаю толк в соснах, я вырос в Прибалтике. И я много писал об этом в разных статьях, к ним вас и отсылаю, если позволите. Это единообразие связано с войною, замечает корреспондент, никаких статей Воско, наверное, не читавший; после войны нужно было строить быстро... Архитектура вообще связана с войной, отвечает Александр Воско. Есть глубокая, глубинная связь между войной и архитектурой, которую вряд ли вы в полной мере осознаете. Наступает, похоже, пауза. Разумеется, говорит, наконец, озадаченный журналист, война разрушает, архитектура создает. Разрушать легко, строить трудно. Война уравнивает, отвечает А.Н.В. на эти, тоже, банальности, ничто не уравнивает так основательно, так беспощадно и так бесповоротно, как война, говорит он. Развалины выглядят везде одинаково. Война уравнивает здания, уравнивает и судьбы. Война, и тюрьма, и голод, и бегство, и бомбежка, продолжите список сами – все это, в конце концов, пытается отнять у нас нашу отдельную судьбу, нашу индивидуальную жизнь. Архитектура, говорит А.Н.В., должна была бы... вот именно так, должна была бы противостоять всему этому, этим безличным силам безличности, анонимным силам анонимности, называйте их как хотите. Однако она не делает этого... слишком часто не делает этого. Архитектура отвечает за многообразие мира; вот мое кредо. Есть роковое стремление к одинаковости, свойственное вообще человеку. Один домик не отличается от другого; посмотрите вокруг. Но страшно, когда эти силы анонимности овладевают самими художниками (Künstler); когда художники (Künstler) начинают *хотеть* единообразия; вот это, может быть, самое страшное. Всех загнать в картезианские казармы, в рационально обустроенные бараки... Журналист не спрашивает, к сожалению, каких Künstler он имеет в виду; возвращается к теме войны. Вы ведь тоже воевали, не так ли? Ах, Боже мой, отвечает Александр Воско, я участвовал, это правда, в одной далекой, давней, темной войне, о которой, кроме нас, старых балтийцев, здесь в Германии никто, кажется, и не помнит, и было мне всего восемнадцать, и все последующие войны я пережил относительно благополучно. Мой личный опыт ничтожен... по крайней мере, несравним с тем, что выпало на долю другим и многим. А все же это важнейший для меня опыт, в большой степени, наверное, сформировавший

меня (eine Erfahrung, die mich weitgehend geprägt hat). Что же до массового строительства, о котором вы говорили, то задача заключается, конечно, в том, чтобы это строительство было одновременно и массовым, и индивидуальным... вот вам, если желаете, совпадение противоположностей, добавляет он в скобках (и я снова вижу, как он улыбается, сощуривает шальные глаза, качает ногою). Нам нужно индивидуальное массовое строительство. Что, как нетрудно догадаться, есть квадратура круга. Между тем искусство, полагает он, всегда означает поиски этой самой квадратуры, то есть поиски чего-то, чего, как кажется, не может быть и что, осуществляясь, становится вдруг возможным. Вот это и значило бы строить для демократии (für die Demokratie bauen), как любит говорить мой глубокоуважаемый коллега Гюнтер Бениш и как говорил еще великий Фрэнк Ллойд Райт... Учеником которого вы ведь были, в последний раз перебивает его анонимный интервьюер. Учеником которого я никогда не был, отвечает он, которого я даже не видел ни разу. Который за полгода до смерти, натолкнувшись, наверное, на фотографии моих аргентинских построек в каком-нибудь архитектурном журнале, прислал мне длинное, не буду скрывать – очень лестное для меня письмо, заканчивавшееся сообщением, что если я хочу, я могу называть себя его, Ллойда Райта, учеником, он возражать не будет. Архитекторы, скажу вам по секрету, вообще редко отличаются скромностью.

Глава 8.

Cependant, tout était si calme autour de nous!
Des gens, près du comptoir, faisaient des confidences.
Oh, comme on est petit, comme on est à genoux,
Certains soirs, vous sentant si près, ô flots immenses!
*Valery Larbaud*⁸

Еще через два года, осенью 2009, мне, наконец, удалось уговорить Вивиану съездить со мной в Лангедок, показать мне тот дом, где А.Н.В. с неизбежными, иногда очень долгими

⁸ А между тем, все было так спокойно вокруг нас! Люди исповедовались у стойки бара. О, какими мы себе кажемся маленькими, какими коленопреклоненными, в иные вечера, чувствуя вашу близость, громады моря! *Валери Ларбо*

перерывами (месяцами и неделями, проведенными в Париже, где у него была квартира в шестнадцатом округе, после смерти родителей проданная вечно нуждающейся в деньгах Вивианой; неделями и месяцами, проведенными в Нью-Йорке, в Токио или в Стокгольме), но все же тот дом, где он прожил, при всех перерывах, последние тридцать и даже тридцать пять лет своей жизни. Я торопился и успел в самом деле в последнюю минуту увидеть его таким, каким он был при своем создателе и хозяине. Теперь там музей и архив учрежденного в том же 2009 году «фонда Александра Воско», *Fondation Alexandre Vosco*, в административный совет которого, рассказывала мне Вивиана по дороге на юг, она входит вместе со своим братцем Пьером, а также вместе с представителем министерства культуры, представителем, верней – представительницей, причем препротивнейшей, местной мэрии и маразматическим, по ее мнению, господином, фамилию я забыл, председателем созданного сразу после смерти ее отца «Общества друзей Александра Воско», как такие вещи во Франции всегда называются, *l'Association des Amis d'Alexandre Vosco*, с каковой ассоциацией она, Вивиана, впрочем, не дружит, потому что они зажилили разные бумаги, которые по глупости она им дала, не оплатили ей дорогу на конференцию в Сиднее, где она собиралась рассказать об отце, а заодно и пожить уж в Австралии, и вообще они сволочи, рвачи и обманщики. Мы весело катили, короче, заехав сначала в не совсем по дороге от Парижа на юг лежащий Нанси, куда ей нужно было по какому-то ее модному делу, впрочем, не выгоревшему, потому что очередной рвач и обманщик ее надул, подвел, не пришел, – вполне все-таки весело, сменяя за рулем друг друга, катили мы по так называемой «автостраде солнца», *l'autoroute du Soleil*, столь памятной мне по разным другим путешествиям, через Дижон, Лион и Оранж – и дальше на юго-запад, через Ним, в сторону Монпелье. Ей совсем не хочется туда возвращаться, говорила мне Вивиана, зыряка диким глазом, ей вообще надоело все это, по ней так лучше было бы просто продать этот дом и жить на вырученные деньги, как жила она до сих пор на деньги, вырученные от продажи парижской квартиры, но ее братец, видите ли, совладелец этого дома, сидящий на своих золотых мешках, в своем нормандском замке и альпийском шале, продавать его никак не желает, а желает иметь музей, архив и все такое прочее, чтоб его

черти взяли, que le diable l'emporte. А почему, собственно, она не осталась жить в той родительской парижской квартире? А потому что ни на фиг ей не нужна такая большая буржуазная квартира в таком скучном, мертвом, буржуазном районе. Там живут одни снобы, bécébégé, обожравшиеся богатством. Она предпочла купить квартирку в честном, развратном, бандитском квартале возле place Pigalle; вот где ей нравится; вот где настоящая жизнь. Все это, думал я, следя за дорогой, приятно слышать из цветущих уст двадцатилетней, даже еще тридцатилетней дурехи, в устах пятидесяти-сколько-то-летней, стареющей и несчастливой женщины звучит это грустно. Она живет с котом, рассказывала она. Этот кот – замечательный кот, огромный кот, наглый кот. Кота зовут Limon, она меня с ним познакомит, когда я буду в Париже. Он ходит сам по себе гулять на Пигаль. Пигаль – место не для моралистов. Кот зализывает раны и уходит снова гулять. Сейчас он у подруги, и она по нему скучает. Музей, видите ли, им нужен... Какие же у нее все-таки претензии к родителям? спросил я ее наконец. Она не сразу, я помню, ответила. На автострадной стоянке возле Дижона, где мы выпили кофе и поменялись местами, она, разгоняясь, чтобы снова выехать на дорогу, крутя замотанной в шарф головой, проговорила вдруг, что претензия у нее только одна, именно что ее родители сильнее любили друг друга, чем любили ее, – и затем взяла такой разгон, так лихо проскользнула между двумя, впритык друг за другом тащившимися по правой полосе грузовиками, выскочила на левую полосу, и так нагло, совсем не по-французски, скорее в стиле немецких «БМВ» или «Порше», принялась наезжать на ненароком подвернувшееся маленькое «Пежо», покуда «Пежо» это не убралось, дрожа от страха, направо, что, вцепившись в дверной подлокотник, я уже не пытался продолжить беседу. Ее мама была отличная водительница, объявила, не сбавляя скорости, сама Вивиана. Почти даже гонщица. Когда у них появились настоящие деньги, отец покупал гоночные машины, «Астон Мартин» и «Альфа Ромео», сам, впрочем, никогда на них не ездил, или почти никогда, а если ездил, то на большом старом «Форде». Ездила мама, возила его повсюду. Автоматику она презирала, говорила Вивиана, скашивая дикий глаз на ручку автоматической коробки передач в моем тогдашнем очень подержанном «Мерседесе». Она

и разбиралась отлично в машинах, в моторах. Неужели? Да, еще как! В моем детстве, рассказывала Вивиана, вновь и вновь пытаюсь подергать за ручку передачи, чего я снова и снова просил ее, если можно, не делать, в моем детстве там, говорила Вивиана, отпуская руль и левую руку выбрасывая вперед, в направлении нашего движения, там, в деревне, была заправка с гаражом, то есть с маленькой мастерской, типично такая деревенская заправка, грязная и вонючая. Хозяин был очень смешной, уже старый, или мне так казалось, père Gaston, как все его называли, или еще Gaston-le-garagiste, смешной и смешливый маленький провансалец. Потом он умер, и заправка закрылась. Мы были его главными клиентами, как ты, может быть, догадался, говорила Вивиана. Или не догадался, мне все равно. В шестидесятые годы, когда мои родители купили там дом, лучше сказать – развалины и руины, эта была бедная винодельческая деревня, в стороне от больших дорог, там приезжих вообще никаких не было, иностранцев не видели никогда. Это теперь там половину домов скупили англичане. Почему англичане? Потому что – англичане, англичане и все тут, англичане всю жизнь копят деньги, потом выходят на пенсию, покупают домик на юге Франции, сидят там и пьют чай с такими же англичанами. Что она имеет против англичан? Она ничего не имеет против англичан, пусть живут, ей наплевать, говорила Вивиана, все-таки и все-таки дергая ручку автоматической передачи, отчего мы с «Мерседесом» всякий раз вздрагивали. Пусть живут себе, je m'en fiche. Отец хохотал до упаду, рассказывала она, когда выяснилось, что первого поселившегося в деревне англичанина зовут мистер Холмс, а его жену, соответственно, миссис Холмс. Эти миссис и мистер Холмс, бывший школьный учитель, потом к нам, бывало, заходили, всегда не вовремя, поболтать с местной достопримечательностью. Все это было потом. Когда мы поселились там, в середине шестидесятых, мы были для жителей экзотическими существами, пришельцами с другой планеты. Но они, в общем, скоро смекнули, что наше присутствие приносит профит. Обнаружились туристы, приезжавшие посмотреть на папину стеклянную башню. А туристы покупают вино и остаются ночевать в гостинице. Эта гостиница тогда, кажется, и появилась в деревне. Больше всех был доволен père Gaston, надо думать, до той поры чинивший лишь соседские таратайки и тракторы, а тут

получивший вдруг таких клиентов, с такими машинами, каких он отроду не видал. А мама любила сама ковыряться в моторе, представь себе, а не можешь себе этого представить, так и не надо, говорила Вивиана, зыря на меня своим глазом, просто надевала комбинезон и шла к Гастону-гаражисту ковыряться в своем «Альфа Ромео». Мама была пышная женщина, говорила Вивиана, отпуская руль и обеими руками показывая выдающийся бюст, *presque une femme forte*, и я подозреваю, что *père Gaston* просто с удовольствием проводил с ней время, особенно в яме под «Астон Мартином». То есть он был, конечно, человек порядочный и никогда бы себе ничего не позволил, но все-таки, с хриплым хохотком говорила Вивиана, когда такая красавица с такими бедрами и таким бюстом спускалась к нему в его тесную гаражную яму, мешая запах дорогих духов с запахом машинного масла, испытывал чистое, невинное наслаждение. Отец все это, разумеется, понимал, за завтраком спрашивал маму, не надумала ли она уйти от него к пэру Гастону. Это была у них такая домашняя шутка. Во всех счастливых семьях бывают, наверно, такие, прибавила вдруг Вивиана, полагаю, что никогда не читавшая «Анну Каренину». А почему они поселились не у самого моря? А потому что море уже застраивалось в те годы, уже диких мест не осталось. Это, конечно, не Лазурный берег, но и там все же пляжи, отели. А они привыкли в Аргентине к совсем дикому морю. Которого, нет, она, Вивиана не помнит, она не была в Южной Америке с тех пор, как ее увезли оттуда ребенком, хотя у нее там жили дедушка и бабушка, мамины родители, частенько, впрочем, приезжавшие в Европу, и теперь еще живет дядя, мамин брат, и его дети, и дети детей, и еще разные родственники, целый клан аргентинских родственников, которые тоже иногда появляются, с которыми объясняться ей трудно, испанский она знает немногим лучше русского, то есть на уровне *канусты* и *купицы* (*capousta, couritsa*). Ее мама говорила по-французски как француженка и по-английски как англичанка, она выросла в Европе, как это бывало принято в семьях состоятельных аргентинцев, в Ницце, в Женеве и в Брайтоне. Помню, рассказывала Вивиана, как мы все втроем приехали зачем-то в Лугано, не помню только зачем, и как вдруг выяснилось, что мама в августе тридцать девятого года жила там с родителями, в отеле на набережной, совершенно не изменившемся, с видом,

как же иначе, на отраженные в озере горы, а отец в том же августе приезжал туда, чтобы посмотреть, где будут строить кантональную библиотеку. Эту библиотеку построили потом без него, по чужому проекту, во время войны. Во время войны нигде ничего не строили, только в Швейцарии строили. Помню, говорила Вивиана, как мы ходили ее осматривать и как отец, не без горечи, восхищался проектом. Мне все это было скучно до зевоты и тошноты, говорила Вивиана, в самом деле начиная зевать, как если бы та девичья давняя скука снова ей сообщилась. Мы, впрочем, уже проехали Ним, уже был юг вокруг нас, кипарисы на горизонте. Я предложил заехать в La Grande Motte, о котором мы говорили когда-то, двадцать лет тому назад с А.Н.В., город у моря, где я так и не сумел с тех пор побывать. Уже смеркалось, когда мы доехали до него; по широкой аллее между светящимися, мексиканско-марсианскими пирамидами гостиниц, жилых домов поехали к гавани.

Пирамиды не разочаровали меня. В них была фантастичность, но была в них и какая-то легкость, была в них – ирония: как если бы архитектор (Jean Balladur, в данном случае) предлагал миру и людям не принимать слишком всерьез его космические эксперименты, еще и потому, казалось мне, не подавлявшие зрителя, что был воздух и простор между отдельными зданиями, отнюдь не стремившимися создать неоновый новый мир, но покойно, привольно, при всей своей фантастичности, помещавшимися в пейзаже, среди пальм, и парков, и пиний. Белые яхты в гавани рифмовались с белизной пирамид. Вечером, подумал я, все, что отражается в воде, отражается в ней так отчетливо, как если бы темнота, приближаясь, на прощанье удваивала мир, повторяла предметы, вот, в частности, яхты, их мачты и снасти, заодно уж и облака. Облака в воде отсвечивали бирюзовым, сизым и розовым; ряды в такт друг в другу возле пирсов качавшихся яхт уходили куда-то далеко, в никуда, к еще невидимому за волноломами морю, этим качанием, скрипом снастей как будто сообщавшему, что оно – есть, что – здесь, совсем рядом. Меня уже не удивило, только порадовало, что ресторан, который мы в конце концов выбрали, назывался *Chez Gaston*, а самая большая, самая, очевидно, дорогая и самая шикарная из всех яхта, совсем рядом с ним пришвартованная, называлась *Lugana* (и что

бы ни означало это «а» на конце...); поужинав, мы вышли в уже красные отсветы и все то же, но уже призрачное качание яхт, скрип канатов, скрип и стук ударявшихся друг о друга бортов. Вивиана оставалась, конечно, такой же *branchée*, такой же *chébran*, какой была двадцать лет тому назад (как в русском языке не хватает все же плюсквамперфекта...); вся набережная на нее оборачивалась. Набережную довольно скоро прошли мы, перелезли, я помню, через какие-то большие камни, вышли на пляж и к морю. Пляж был широкий, песчаный, пустынный. Фонари, и люди, и голоса их остались позади нас, оставались позади нас все дальше, освещенные пирамиды уже, когда я оглянулся на них, казались ненастоящими, та необъятная темнота обступила нас, которая всякий раз с такой непреложностью обступает нас и охватывает, когда, простившись на минуту с привычным, электрическим и цивилизованным, миром, мы выходим к ночному морю, или хотя бы к большой темной реке, лицом к лицу оказываясь с пространством и всякий раз, мне кажется, сознавая это или не сознавая, но всякий раз, или так мне кажется, чувствуя, что все вообще *не так*, не так, как обычно мы думаем, и что все события и обстоятельства нашей собственной, на минуту покинутой нами жизни что-то значат другое, но только мы не знаем, вот это море, может быть, знает, что именно. Черные, вдруг, в последних отсветах, изумрудные волны приходили из темноты, глухо бухаясь на песок, и только пароходы на горизонте, освещенные и, наверно, громадные, но для нас все-таки ненастоящие, маленькие, вторили, рифмуясь с ними, игрушечным светящимся пирамидам. Я помню, что Вивиана, о чем-то совсем своем думая, ушла от меня вперед; шарфы ее развевались за нею, как знамена высокой моды, побежденной необозримым пространством вокруг нас. Все же и она была частью этой морской таинственной темноты, как был и сам я, конечно, частью пейзажа, с его песком, и камушками, и ракушками у воды, которые видел я, из которых выбирал в мерцании моря то один плоский камушек, то другую, с твердым и мокрым песком в ее загогулине, раковину.

Глубокой ночью, часа в два, может быть, доехали мы, наконец, до цели нашего путешествия; очень долго, свернув с автострады, кружили по терявшимся в темноте и все более проселочным дорогам, по какой-то с трудом намечавшейся во мраке, уходившей от

моря равнине, неровной равнине, как я тут же обозвал ее про себя, с отдельными пригорками и холмами, складками, ручьями, оврагами, кустарником и деревьями, изредка собиравшимися в смутные рощи, редкими и совершенно безмолвными деревьями, сквозь которые пролетали мы, всякий раз выхватывая фарами что-нибудь очень каменное, каменную кладку каких-то стен, кладбищенских или просто каких-то, каменную церковь, каменные перила крутого и узкого мостика через что-то, в промельке, тоже совсем каменистое. Каменным, не очень большим и очень холодным, потому что нежилым и нетопленным, оказался и дом А.Н.В., отчий, нелюбимый ею, дом Вивианы; к бульжной, кривой, очень узкой, с глубокими рытвинами по краям ее, улице, где не без труда поставили мы машину, он повернут был своей плоской, обыденной стороною; интересное началось за ним, когда мы вышли в переполненный густой южной ночью, в густую ночь спускавшийся сад. Я уже падал, помнится, от усталости; я все же так рад был, что вот, наконец, стою и вижу, закрывая и открывая автомобильной ездой измученные глаза, эту столько раз виденную мною на фотографиях полукаменную-полустеклянную башню, обращенную к саду, что попросил Вивиану зажечь в ней свет, и на первом, и на втором этаже, и на третьем. Сад выступил из мрака со своими пиниями, своим виноградом на стенах и колоннах террасы. Диван, и кресла, и книжные полки на первом этаже наплывали на шелестящую листьями полутьму, сливаясь с отражениями колонн, кустов, нервным отражением Вивианы, моим собственным, смотревшим на меня словно с дальней стены. На втором этаже виден был лишь громадный кульман, еще какие-то рамы. На третьем был только свет, горевший, казалось мне, на всю округу, которая, или так мне казалась, должна была от этого света проснуться, сбежаться, но которая просыпаться и не думала, лишь шелестела по-прежнему листьями, и набегала на нас легким, тихим, запах мирта, земли и хвои приносившим ветром с равнины, и отзывалась далеким, из соседней деревни, на два незлых голоса, собачьим лаем и быстрым, близким, железисто-резким криком невидимой, неведомой птицы.

На другое утро, снова спустившись в сад, каменной стеною отграниченный от уходившей обратно к морю и в самом деле, как при свете дня выяснилось, величественно-

неровной равнины, я увидел ее, наконец, наяву, знаменитую башню Александра Воско, которая, когда в середине шестидесятых годов А.Н.В. и Мария купили этот дом, этот сад, являла собою как бы башню в разрезе, половину башни, от коей, непонятно почему и зачем, отвалилась вторая половина, как если бы к ней подошел однажды великан и расколол ее на две части, как топором раскалывают полено. На самом деле, рассказала мне Вивиана, рассмеявшаяся, конечно, на мои слова про великана с топором (*un géant avec une hache...* это все-таки очень по-русски, *c'est très russe quand-même*, заметила она в скобках), на самом деле она разрушалась в течение всего девятнадцатого века, эта башня, мелким местным феодалом построенная в начале шестнадцатого; на сохранившихся фотографиях начала и середины двадцатого хорошо видно, как она выглядела в своем качестве живописной развалины (*une ruine pittoresque*). Собственно, эти старые фотографии, воспроизведенные в огромном альбоме «Лангедок-Руссильон, его ландшафты и замки», который они, А.Н.В. и Мария, рассматривали как-то в большом книжном магазине на Елисейских полях, альбоме, который они тут же и купили, конечно, сейчас она мне его покажет, эти старые фотографии, рассказывала мне Вивиана, пересказывая рассказы родителей, и навели ее отца на мысль приделать к сохранившейся половине башни другую, стеклянную половину, так что он сразу же и начал делать наброски в одном из тех блокнотов, которые всегда носил с собою, то есть, как рассказывала Вивиане Мария, а Вивиана, соответственно, мне, в тот же день, в кафе на *avenue Montaigne*, им обоим знакомом с довоенных времен, нарисовал это башню почти такой, какой мы ее видим теперь, с ее круглой каменной половиной и тремя обращенными к саду и к равнине за ним стеклянными плоскостями, как бы вписанными в невидимый круг, так что идея этой башни существовала уже задолго, года за два до того, как они, случайно или, может быть, не совсем случайно сюда заехав, обнаружили, что дом, и сад, и развалины продаются за смехотворные, по нашим нынешним понятиям и ценам, гроши, и купили их тут же, не раздумывая, а просто посмотрев друг на друга. Александр Воско не был бы самим собой, если бы смеясь не сказал жене, как она рассказывала потом своей дочери, и не записал в блокноте, сохранившемся в числе прочих, что они именно на *avenue Montaigne*, ни на

какой другой avenue, говорят о башне на юге Франции, куда – эта мысль, следовательно, сразу же у него и у нее появилась – он мог бы удалиться, или время от времени удаляться вместе с Марией, чтобы в уединении предаваться любимым занятиям и додумывать любимые думы, совершенно так же, как Монтень удалился в свою собственную башню, в трех-, наверное, или сколько-то-стах километрах отсюда. Они, в самом деле, были счастливы здесь, говорила мне Вивиана, когда я ходил за круассанами, багетом, вареньем и маслом в трогательную сельскую лавочку в немногих шагах от дома, на углу главной деревенской площади с костелом, трактиром и, разумеется, как всегда и по обе стороны фронта, серым обелиском с именами погибших в мировых войнах односельчан. Я не совсем понимаю, как им удавалось это, говорила Вивиана, разламывая багет (не обжаренный на газу...), но они были, в самом деле, счастливы друг с другом, хотя случалось, конечно, что и ссорились очень бурно, у мамы был все-таки темперамент вполне креольский. Отец тогда уходил в свою башню, а мама садилась вон там на террасе, и сидела совсем неподвижно, иногда целый час, глядя перед собой, потом, говорила смеясь Вивиана, закуривала, наконец, неизменную пахитосу, и когда закуривала ее, наконец, я знала, да и отец знал, что к ней можно опять подойти, с ней снова заговорить. На террасе еще было холодно, мы (по-французски скудно) завтракали с Вивианой, я помню, в той огромной – не знаю даже, можно ли назвать ее комнатой – в том огромном помещении, так скажем, которое занимало почти весь первый (по русскому счету) этаж дома (не башни), соединяя в себе лучшие свойства кухни, гостиной, столовой...; из открытого окна тянуло горьким южным дымком, тем дымком от сжигаемых виноградных лоз, кизилых веток, который так не похож на наши северные осенние запахи и в котором, думал я, намазывая масло на круассан, всегда есть все же что-то радостно-родное, грустно-родное. Я теперь думаю, говорила Вивиана, что они очень старались быть счастливыми, вот что, старались, и у них получалось. В детстве и в юности я так об этом не думала, а теперь вот думаю так. *C'est ainsi, ils se donnaient de la peine.* Они были осторожны и внимательны друг с другом, берегли свое счастье. Мы ведь свое счастье обычно не бережем, сказала вдруг Вивиана, в упор глядя на меня своим самым диким

взглядом, как если бы я виноват был в том, что мы, кто бы мы ни были, не бережем свое счастье. Мы думаем, что все еще впереди... Я сама еще думаю, что все впереди, сказала Вивиана, нерадостно улыбаясь. Да и как не думать, что все впереди? спросил я в ответ. Как заставить себя не думать, что все впереди? Я всю жизнь учусь жить настоящим, у меня это не очень хорошо получается... Они это умели, ответила Вивиана, не в том смысле, что они не надеялись и не строили планы на будущее, а как-то... Они просто решили однажды, что вот это – их жизнь, другой не будет, и что это – хорошо. Они в самом деле выбрали для себя свою жизнь, свою жизнь друг с другом, *ils ont fait leur choix*. Мне такое решение никогда, например, не давалось, заметила Вивиана, до сих пор, как я уже упоминал выше, избегавшая говорить со мной о своих, сменявших друг друга, *amis*. Мне всегда было ясно, что это все *не то*, все – *не тот*, не то, что я ищу, не тот, кого я ищу, *voilà*, говорила Вивиана, не без вызова, зырякая глазом. А вот решить для себя, что это тот человек, что я буду жить с ним – и все, что это окончательно и я так хочу... На самом деле, половина моих подруг принимала в жизни такое решение, и толку от этого тоже нет никакого. Такое решение принимают, наверное, все, кто женится или выходит замуж по любви, сказал я. И толку от этого все равно никакого, повторила уже давно доевшая свой багет Вивиана, тыкая пальцем в крошки, оставшиеся у нее на тарелке, слизывая их с пальца. Рано или поздно все равно выясняется, что это все не то и не так, не тот, кого *она* ждала, не та, кого *он* искал. Тогда они или разводятся, или смиряются, вот и все тут. Смиряются, потому что боятся. Живут вместе, потому что так удобней, или потому что привыкли, или из-за детей, или, например, из-за денег. Что – она не права? Половина ее подруг живет так, ни на что уже не надеясь. Или надеясь, но уже не веря своим надеждам... А вот у ее родителей было все по-другому. Они, конечно, ссорились, и Мария уходила молчать на террасу, но все-таки, говорила Вивиана, как она теперь и только теперь понимает, они словно сказали себе однажды, что вот это есть их жизнь, их настоящая жизнь, и жили этим настоящим, в этом настоящем, ссорясь, может быть, но никогда не сомневаясь в своем выборе и друг в друге. Это у них еще потому, может быть, получалось, что они оба уже всякое разное испытали до того, как друг с другом встретились на краю

мира, заметила Вивиана, доливая в свою чашку остатки кофе из итальянского, с осиной талией, кофейника, – и затем сообщила мне, к несказанному моему изумлению, что брак ее родителей был второй брак для обоих и что едва ли тридцатилетняя ко времени своего знакомства с Александром Воско Мария уже успела побывать до этого замужем, в начале сороковых годов, по возвращении из Европы, совсем юной девушкой выйдя за своего ровесника и друга детства, по профессии, если она, Вивиана, ничего не путает, журналиста, как-то очень глупо погибшего через год, или, может быть, два после свадьбы, попав под машину на той тихой, по рассказам, улице, где в Буэнос-Айресе они жили... Ее родители говорили, вообще, о прошлом? Да, конечно, ее родители часто и охотно говорили о прошлом, просто ей не хотелось слушать. Ей все это было неинтересно. Тут я не мог не вспомнить ее единокровного брата... Ей всегда хотелось куда-то прочь и в другую жизнь. В сущности, в этой чудесной жизни ее родителей для нее и не было места. Да, да, именно так, говорила Вивиана, по-прежнему тыкая пальцем в теперь уже последние, едва различимые глазом крошки. Они, похоже, сами не знали, что с ней делать, именно так, *c'est comme ça, je t'assure*. Они уезжали, например, на полгода в Японию, или потом на полгода, и потом еще на полгода в Нью-Йорк, или как-то так, она уже не помнит, что было за чем, и вот что было делать с ней, брать с собой, или оставлять в Париже, или Мария должна была оставаться с ней в Париже, а отец ехать один? Это им, кажется, даже в голову не приходило, чтобы он поехал один... Кончилось тем, что ее отдали в интернат. О, разумеется, это был очень хороший и дорогой интернат, очень элитарный, для богатых, *bon chic bon genre*, все как полагается. Тем не менее, это был интернат, и она оттуда пару раз, признаться, сбегала, не домой, а в Париж к приятелям. Такая была у них почти коммуна, говорила Вивиана, улыбаясь воспоминаниям, где слушали Jimmy Hendrix'а и курили, отнюдь не только табак. Она же не курит? Она не курит, но от порядочного *джойнта* еще никогда не отказывалась. Она там и познакомилась с Пьер-Полем, да будет мне известно, и с Луиджи, теперь так прославившимся своими комиксами, *bandes dessinées*, и с разными другими людьми. Хорошее было время. Она уезжает в Монпелье по делам, а меня оставляет наедине с башней, бумагами, архивами, чертежами и прошлым.

Важнейшее открытие я сделал почти сразу в то утро. Я пошел первым делом наверх, на самый верх башни, оставляя на потом и внизу и библиотеку, и мастерскую; под крышей с деревянными темными балками было невысокое, при жизни А.Н.В. и Марии, как рассказала мне Вивиана, не имевшее ни названия, ни определенной цели, а потому, наверное, и самое любимое ими помещение, откуда распростертая перед башней равнина видна была лучше всего, чуть ли не до самого моря, с ее виноградниками, рощами, деревнями...; постояв у окна, лучше сказать – у одной из стеклянных стен, посмотрев на эти виноградники, эти рощи, убежавшие в свою неправдоподобную, по-осеннему дымчатую даль, обратившись к другой, каменной стороне башни, которой А.Н.В. тоже, как и стеклянной, придал тройственную, на всех трех этажах повторенную им структуру, оставив свободной только дальнюю часть круглой каменной кладки и протянув мореные, грубо-деревянные полки по двум другим граням образовавшегося таким образом шестигранника, – вот на этих-то полках, на самых нижних, и в пространстве между ними и кладкой, тоже в самом низу – на верхних полках разложены были, или так мне запомнилось, только камни, и ракушки, и обглоданные морем фантастические деревяшки, не закрывавшие все той же каменной кладки, – вот на этих-то нижних полках и за этими нижними полками, едва обратившись к ним, и обнаружил я, в то первое утро, большие коробки с бумагами и архивом, и в первой же коробке, которую я открыл, поверх всего прочего, всех прочих папок лежавшую, очевидно дожидаясь, чтобы я приехал в Лангедок и прочитал ее, пожелтевшую и чуть-чуть помятую папку с надписью (по-русски) «Вл. Гр.», и сразу под нею, тоже, надо думать, ожидавшуюся меня, помятую папку с (немецкой) надписью «Наброски к автобиографии» (Entwürfe zu einer Lebensbeschreibung), обе папки всего в несколько, в свою очередь пожелтевших, линованных, для меня драгоценных, страничек. Под нею лежали еще, и еще папки, в соседней коробке, и в соседней с соседней – блокноты с его набросками, его рисунками, его, тоже, заметками, записями, отрывочными быстрыми мыслями. А.Н.В., как выяснилось, писал на трех языках – по-французски разборчиво и правильно, как хороший ученик на чужом языке, по-русски – смешно и небрежно, не заботясь о правописании, о пунктуации еще того менее, и

путая старую орфографию с новой (видно все же, что в русской школе он не учился), если же писал по-немецки (что чаще всего и делал) то именно так, разумеется, как его и учили в гимназии, то есть даже не Sütterlin'ом, введенным в немецких школах уже после Первой войны и тоже, если вас не обучали ему, с трудом поддающимся расшифровке, а совсем уже старинным, благородным, всеми забытым Kurrentschrift'ом, рукописным готическим шрифтом, с которым – в отличие от печатного, не представляющего, в сущности, сложностей (я прочел на нем в юности множество разных книг, в той же самой Риге, в незабываемом букинистическом магазине на тогдашней улице Стучки, бывшей Дерптской, нынешней Terbatas, продававшихся за бесценок...) – рукописным, еще раз, готическим шрифтом, с которым, разложив перед собою наброски его Lebensbeschreibung, я очень быстро отчаялся совладать, который мне пришлось впоследствии учиться читать по учебнику («e» пишется на нем как «n», «h» как «f», «s» то как «b», то просто как палка, торчащая посреди строчки, «r» как непонятно что, о прописных буквах и говорить не хочется, еще Гете жаловался на них Эккерману...). Чем дольше, впрочем, я всматривался – и чем пристальней теперь всматриваюсь в его рукописи, переснятые мною, отдельные странички, блокноты, тем сильнее делалось, и делается, мое ощущение – мое подозрение, – что он потому еще писал по-немецки Kurrent'ом, которым в конце его жизни почти никто уже, кажется, не писал и теперь вообще никто, наверно, не пишет, что ему нравился сам этот шрифт, то есть просто нравился ему как род графики, по ту сторону мыслей и слов, – одна буква так плавно, так неизбежно и с такими, в то же время, залихватскими загогулинами, переходит в другую, такой осмысленно-осязаемый узор образуют они на странице, что, думал я, сидя на холодном полу в его башне, и думаю я теперь, сидя перед компьютером, эти странички с их виноградной вязью, и эти блокноты с их потрепанными краями, их рисунками, завитками и раковинами, их геометрически-фантастическими фигурами и внезапными лицами, их любовной штриховкой, иногда, похоже, размазанной пальцем, следами, во всяком случае, его пальцев в карандашной мазне, набросками построенных, не построенных зданий, ударяясь о которые, как о скалы, волны его почерка бегут и бегут дальше, искрясь своими «s», пенясь своими «r», – что все это выглядит как

еще одно, понемногу и в течение всей жизни создаваемое им произведение искусства, или, если угодно, как еще одно – графически-каллиграфическое, в данном случае, – выражение той всеобщей связи вещей, о которой говорил он некогда в интервью; с почти таким же ощущением веселого покоя смотрел я на эти бумаги, с каким смотрел и смотрю на фотографии и макеты построенных им домов, ощущением, тут же, впрочем и разумеется, меня покидавшим, как только я принимался разбирать его мучительные каракули; неужели, только спрашивал я себя, он сам был в состоянии прочесть им написанное? Я провел этот первый день, и половину второго дня, и часть третьего, в обществе цифрового фотоаппарата, который по счастью был у меня с собою, то есть просто переснимал все подряд, блокноты и рукописи, когда закончилось место на электронной карточке, вставленной в фотоаппарат, хранилище его и моей памяти, съездил в соседний городок, купил новую, потом опять вернулся к бумагам, под конец, я помню, уже не пытаюсь понять, что есть что, но фотографируя все подряд, в надежде на будущее, и вновь, и вновь спускаясь, конечно же, в мастерскую, где на полках тоже были и коряги, и камни, один из которых, вполне обыкновенный, но с необыкновенным, как у всех камней, потому что неповторимым, рисунком белых тонких прожилок, я, не спросив у Вивианы, сунул в карман и вот сейчас держу, согревая его, в руке; и на особенных, широких и нижних полках – не знаю кем выполненные макеты, среди коих выделялся и до сих пор, ставши музейным экспонатом, наверное, выделяется, макет Рио-Давиа, всего города, с университетом, и мостом, и музеем; и в огромных, опять же, коробках – чертежи, а главное – фотографии, отпечатанные фотографии в белых и негативы в черных конвертах, бесчисленные, в разные годы жизни сделанные А.Н.В. фотографии, которые тоже, в конце концов, я пустился переснимать все подряд, но все переснять, разумеется, не сумел, не успел, так много их было, совсем старые фотографии, фотографии тридцатых годов, когда у него появилась, надо полагать, его первая «Лейка», редкие фотографии сороковых, аргентинские фотографии в неправдоподобном количестве, фотографии шестидесятых, семидесятых, американские и японские, фотографии мюнхенские, те фотографии мюнхенского Олимпийского парка, о которых мне рассказывал Pierre Vosco, когда мы с

ним по этому парку гуляли, фотографии, сделанные наскоро, на ходу, на бегу, сохраняющие мгновение, игру веток на какой-то стене, и фотографии, притягивающее на большее и потому лежащие обычно в отдельных огромных конвертах, отпечатанные в таких форматах, в каких простые любители вроде меня самого свои фотографии почти никогда не печатают, двадцать на тридцать, сорок на шестьдесят и семьдесят пять на сто, как если бы А.Н.В. готовил их к выставке, которую, насколько я знаю, так и не провел, которая прошла в Париже прошлой весной, устроенная упомянутыми в начале этой главы *друзьями Александра Воско*, столь нелюбезными его дочери. В этих снимках преобладали, конечно, мотивы архитектурные; он снимал то, что строил. Еще снимал он старые мосты, старые фабрики. Есть особенная поэзия индустриального пейзажа, к которой не все чувствительны. А что прекрасней железных и железнодорожных мостов с их ажурным переплетением перекрытий, большими блямбами на перекрытиях и опорах, этих в середине, в конце позапрошлого века возведенных мостов, которые еще не отваживаются взлететь, еще боятся повиснуть на тросах, но уверенно и скромно, легко и ловко стоят на своих быках, слегка ржавея или заново выкрашенные в зеленое, отражаясь в тихой воде, радостно вздрагивая, когда поезд приближается к ним? Есть замечательные фотографии таких мостов, сделанные еще в шестидесятые-семидесятые годы девятнадцатого века Огюстом-Ипполитом Колларом (Auguste-Hippolyte Collard); А.Н.В., как выяснилось, собирал их, развешивая по разным комнатам в доме и в башне, вместе со своими собственными снимками, теми, в частности, в темных рамках, снимками виллы Адриана в Тиволи, на которые во время интервью 1982 года показывал он очарованной Мэри Смит. Чем дальше я смотрел на все это, тем лучше понимал его (или так мне казалось). Он был не человеком слов, как я сам (думал я), а прежде всего человеком зрительных и тактильных восприятий; ему поверхность камня или обглоданной деревяшки говорила больше, чем все слова на земле; ему важно было *увидеть*, и, наверное, не очень важно было *назвать*. Если главное для архитектора – это чувство пространства, то он и мыслил, конечно, пространством, плоскостями, объемами, материалом, моделями. Есть непреодолимая пропасть между миром слов и миром вещей, миром смыслов и молчащим

миром предметов, камней, мебели, ракушек или крыш. Их бессловесность и влечет, и пугает. Она скорее влекла его, чем пугала (так думал я, беря в руки его камни, перебирая его фотографии); наверняка не пугала его так сильно, как втайне пугает всех пишущих, обреченных превращать молчание мира в осмысленные, пускай лишь по видимости, слова, фразы и строки. Было очень тихо в его мастерской, ветер где-то шумел, собака где-то лаяла, птица где-то кричала, Вивиана бранилась с кем-то по телефону, затем опять исчезали все звуки. Как-то, казалось мне, эта тишина соответствовала, верней – отвечала, молчанию окружающих меня предметов, молчанию моделей, молчанию чертежей... Много ли он читал? В так называемой библиотеке (в самом низу башни) книг оказалось довольно мало, и книги эти были, в основном, на испанском, французском и английском, то есть читала их, похоже, прежде всего Мария. У него, пожалуй, и не было времени, чтобы так уж много читать, рассказывала Вивиана, отвечая на мой вопрос, все-таки ей кажется, что читал он не так уж мало, основная библиотека была в Париже, читал, конечно, все подряд по архитектуре, но читал и для себя, просто так, впрочем – редко романы, скорее книги по истории, по философии, в которой разбирался вообще хорошо, и главным образом, кажется ей, стихи. Стихи? Стихи; или это меня удивляет? Он знал огромное множество стихов наизусть, и французских, и немецких, и русских... Мне казалось, ответил я, что стихи были скорее прерогативой его первой жены... Этого она не знает, об этом надо спросить у Пьера. Его первая жена была, кажется, поэтессой не слишком одаренной (*une poétesse pas trop douée*), с косой улыбкой заметила Вивиана, возможно все же, что именно любовь к стихам их сначала и сблизила. Он говорил, вот это она, Вивиана, очень хорошо помнит, и даже где-то писал, но она не помнит где именно, что у стихов и архитектуры много общего, и там, и там возникает некая вещь, осязаемая и обозримая, законченная и как бы покоящаяся в себе (*reposant en soi-même*), но вещь все-таки живая, не мертвая, наделенная как бы внутренним, своим собственным, не отменяющим покоя движением... Вот как-то примерно так... А что он еще любил? Еще он любил кино. Они обожали кино, ее папа, и мама; здесь в деревне был тогда кинематограф, впоследствии уничтоженный повальным телевидением, рассказывала Вивиана, с которой, в перерывах между моими

занятиями архивом и ее занятиями очередным срочным модным заказом, взятым с собою в виде рисунков и выкроек, мы отправлялись, конечно, куда-нибудь по соседству обедать или просто гулять в начинающихся за деревней горах, или возле плотины, перегораживавшей местную речку, образующей темное озеро, с отраженными в нем скалистыми холмами, отраженной в нем церковью на вершине одного из холмов, – кинематограф, рассказывала Вивиана, совершенно сельский, собиравший по вечерам местных мальчишек и местных виноградарей, куривших, кричавших и громко, под всеобщий хохот, комментировавших любовные сцены. Ее папа и мама обожали все это. Смотрели они в основном вестерны, или так ей это запомнилось. Даже в Париже ездили иногда в кино смотреть вестерн, какой-нибудь, на ее вкус, скучнейший, с Джоном Вэйном или Грегори Пеком, с пальбой и погонями. Или ездили отсюда куда-нибудь в Монпелье или в Сет, есть устрицы – мама обожала устрицы – а потом смотреть кино с Грегори Пеком. Похоже, это напоминало им что-то, какие-то аргентинские их приключения. Мама смотрела на экран так, как будто это в нее стреляли или она сама должна была первой выстрелить. Умное кино они не слишком любили, и в театре она их что-то не помнит. Помнит их зато в концерте, рассказывала Вивиана, вдруг, или мне так показалось, добрая, смиряясь с прошлым, в Авиньоне, она не помнит уже почему, в Стокгольме, где она навещала их. Отец стоял в антракте в фойе, в углу возле лестницы, скрестив руки на груди и так внимательно наблюдая за расфуфыренной толпой, как если бы он затем и пришел сюда, чтобы понаблюдать за всеми этими людьми, их походками, их приветствиями друг другу, их манерой держать в руке бокал с вином, стакан с соком. А что они еще любили, кроме устриц? Это мама любила устрицы, отвечала мне Вивиана, отец их как раз не ел. Мама любила еще говядину, как все аргентинцы. А отец ел то, что ему подавали, кроме, вот именно, устриц, с большим безразличием и отменным, надо сказать, аппетитом, время от времени объявляя, впрочем, что такой вкусной еды, какая была у них в Риге и у них в этой... как?... Courlande, все равно нигде нет, и такой копченой рыбы нет, копченого мяса такого нет, и такого творога (fromage blanc), такой сметаны (crème), такого черного хлеба, здесь вообще нет черного хлеба, как ни проси, и никто здесь даже не знает, какой должен

быть творог, какая сметана, и какого-то ихнего курляндского сыра с тмином, какого-то, прости Господи, печенья с перцем здесь не видывали, вот дураки, и мама всегда смеялась, когда он говорил это, потому что он, наверное, раз в две недели это говорил, всегда одно и то же, все про тот же сыр с тмином и печенье с перцем, непонятно даже, что бы это могло быть такое. Это чудная вещь под названием piparkukas, сказал я, и ты можешь теперь просто съездить в Латвию и попробовать все это; Вивиана, примиренная с прошлым, улыбнулась все же скептически-кислой улыбкой, ясно показывавшей, что ни в какую Латвию она не поедет, а ежели вдруг и поедет, то уж точно никакого печенья с перцем, сыра с тмином в рот не возьмет.

Мы так прожили с Вивианой несколько дней, уезжая и возвращаясь, она – к своим выкройкам, я – к бумагам, к бумагам А.Н.В., а затем и к бумагам Марии, которые Вивиана тоже позволила мне читать и которыми оказался набит, иного слова не нахожу, темного дерева секретер (с зеленым сукном на внутренней стороне крышки, откидывавшейся на деревянных штырях, которые нужно было ни в коем случае не забыть выдвинуть из тех пазух, где они были спрятаны) в узкой комнате в доме (не в башне), все на том же первом этаже, рядом с громадной гостиной, переходящей в столовую и кухню, в совсем узкой и с узеньким окном на террасу, не сразу даже замеченной мною, комнате, где, как выяснилось, у Марии было так называемое ею «бюро», в котором она писала письма, деловые и личные, проверяла счета и заполняла бесконечные налоговые декларации, к которым сам А.Н.В., по рассказам Вивианы, старался близко не подходить; здесь-то и сделал я, уже в конце нашего пребывания, второе, для меня важнейшее, открытие, наткнувшись в одном из верхних ящиков на две пачки давно утративших свои конверты, поблекших писем, перевязанных желтой и зеленою лентою. Мария, как я уже знал со слов Вивианы, провела детство и раннюю юность в Европе, в Швейцарии, во Франции, всего дольше – в Англии, в частной, дорогой и закрытой, школе для девочек в Брайтоне (впоследствии повторившейся в судьбе ее дочери, не согласной с этой судьбою); с одной из своих школьных (институтских, сказали бы мы) подруг переписывалась она, как я понял, всю дальнейшую жизнь до самой, сравнительно ранней (в конце шестидесятых годов) смерти

этой подруги (Florence Burton, в девичестве Tangly), очень рано вышедшей замуж, очень рано начавшей рожать детей, одного за другим, общим счетом, если верить Вивиане, одиннадцать (повивальными подробностями полны ее письма); а вот каким образом в связке с зеленою ленточкой оказались и письма самой Марии, этого Вивиана не смогла объяснить мне; чадолюбивый и безутешный мистер Burton возвратил их, может быть, отправительнице после внезапной смерти своей героической, бледной и хрупкой (сужу по снимкам) жены. Письма пятидесятых годов я переснял, разумеется, все, хотя Вивиана уже торопила меня с отъездом; переснял и письма другой, французской, подруги (Jeanette Audouard, в замужестве Levine), светящиеся отраженным светом (письма Марии к ней отсутствуют), все же некий, пускай отраженный свет проливающие, как и письма английские, на самый загадочный для меня, аргентинский период жизни Александра Воско и Марии, историю их знакомства, любви и женитьбы. Эту французскую подругу, с которой ее мама училась когда-то (в 1937-38 годах) в Ницце, рассказывала мне Вивиана уже по дороге на север, она отлично знала, прекрасно помнит; смешно сказать, эта Jeanette тоже вышла замуж за архитектора, уехала с ним в Израиль (он был венгерский еврей, чудом переживший голокауст, бежавший от коммунизма), с ним же возвратилась потом во Францию. Мы сами возвратились в Париж, где я, впрочем, не задержался (и с котом Лимоном не познакомился), но пользуясь еще длившимися каникулами, на пару дней съездил в Нормандию, где чопорный Pierre Vosco и его еще более чопорная жена все-таки приняли меня в своем замке, на поверку оказавшимся скорее большим, хотя и старинным, из серого камня, как все во Франции, домом с шахматным полом в холодной гостиной, гнутоногими столиками по стенам, бесчисленными, почему-то, часами, свирепю и в разнобой шипящими, хрипящими, бьющими, через каждые пятнадцать минут, в каждой комнате, в деревенской оглушительной тишине. Был парк, спускавшийся к робкой речке, микологическая отрада хозяина, и совершенно была замечательная, из очень далекого далека дошедшая до нас голубятня, без голубей и без крыши, с крошечными, кирпичными, воркующе-ворожащий орнамент образующими углублениями, выступами на внутренней поверхности гулкой, идеально круглой, разрушаемой временем башни.

Глава 9

Ob einer nun an Götter glaubt oder nicht – wichtiger ist
wahrscheinlich die Frage, ob die Götter an ihn glauben.

*Werner Bergengruen*⁹

Из всех этих бумаг, и фотографий, и блокнотов, и записей я могу теперь составить себе некое, не совсем, может быть, неправдоподобное, представление об его путешествии, его жизни в Аргентине, его встрече с Марией. Сама Аргентина остается для меня мечтою и мифом. Я все знаю про мюнхенские парки, парижские кафе, провансальские пляжи, я ничего не знаю про Буэнос-Айрес, тем менее про Рио-Давиа, которое и на карте-то не просто найти; Аргентина, иными словами, остается для меня тем сказочным местом, отрицанием всего привычного, страной антиподов, тем пространством невозможностей, каким была она для Александра Воско (как и для Владимира Граве, конечно), покуда они не сошли по трапу в буэнос-айресском Новом порту. Новый порт, Новый Свет... Он и плыл в Новый Свет, как в свет иной, мир иной. На закат солнца, на запад. Я плыл умирать в Аргентину, пишет он в набросках к автобиографии, найденных мной в Лангедоке. Я, конечно, не мог представить себе, что встречу на пароходе Владимира Граве, даже помыслить не мог ничего подобного, а все-таки он, Владимир Граве, уже присутствовал в моих мыслях (*war in meinen Gedanken anwesend*); вот что самое удивительное. Я лежал на своей койке, пишет Александр Воско (по-немецки, в конце жизни, гимназическим *Kurrentschrift*'ом, которым почти никто уже в то время не пользовался), лежал на этой койке, качавшейся, взлетающей и падающей; морской болезни у меня не было; было только отчаяние, то глухое, уже почти привычное отчаяние, в котором я прожил все последние годы перед отъездом. Ни о какой новой жизни в Новом Свете я не мечтал, ни на что не надеялся. Я плыл умирать в Аргентину... Иногда качка бывала такая, что общие трапезы в кают-компании отменялись, и стюард с необыкновенной вертлявой ловкостью приносил

⁹ Верим мы в богов или не верим – важнее, по-видимому, вопрос, верят ли боги в нас. *Вернер Бергенгрюн*

еду на подносе. Этот стюард мне почему-то запомнился, хотя он был безликим (gesichtslos), как бывают безликими проводники в поездах (Zugschaffner und -führer); я даже не понял, был ли он итальянец, или испанец, или, наоборот, швед, датчанин; неважно. Со мной говорил он на скверном французском, хотя и пытался шутить, очень плоско и глупо, la mer, la merde, в таком духе. Пароход был все же низжайшего класса... Он приходил, уходил; он, наверное, думал, что мне плохо. Мне правда было плохо, но не так, как он думал. Как мы берем рану, или чешем то место, которое зудит у нас, так я составлял в уме список своих потерь, своих поражений. Мне шел пятидесятый год; время подводить итоги. Вот я и подводил их, пишет А.Н.В. своим Kurrentschrift'ом, такие мученья причиняющим мне теперь. Я не жалел себя, жалеть себя мне, смею думать, не свойственно. Я все-таки не мог не думать, что если наш корабль натолкнется на айсберг или на мину, никто обо мне не заплачет. У меня ведь никого и не было, кроме чужого, неприязненного ко мне сына и сестры, перед самой войною вышедшей замуж, уехавшей в Англию. Отец давно умер, а мать умерла недавно. А я очень любил их, очень плохо было мне без них обоих. Умерла женщина, которую я тоже любил, которую любил, быть может, по-прежнему, с которой так глупо расстался. И так глупо умерла она, так глупо, ненужно пожертвовала собой. Друзья? Друзей тоже как-то не было. Были разные приятели, знакомые, были, конечно, коллеги. Были дамы и дамочки, не отказывавшие мне в своих милостях. Я им был, по сути дела, не нужен, да и они мне тоже. Получалось, что самый близкий мне человек – фрау Шенк, бывшая компаньонка моей матери (die frühere Gesellschaftsdame meiner Mutter). Утешение небольшое... Погибла даже та маленькая страна, из которой я уехал, которую своей не считал, а в которой все же был – дома, которая там была, где был – дом. И дом погиб, думал я, и наша дача в Майоренгофе тоже небось сгорела. И та большая страна, которую я любил, за которую воевал, которую считал своей родиной, превратилась в драконово царство. Счастье еще, что моя мать отговорила меня туда возвращаться; последнее, что она успела для меня сделать... Вместе с пароходом все падал я и падал куда-то, все гудело, ревело, дрожало, все обрывалось во мне, все рушилось, все проваливалось в бездну и в сон (in den Traum und in den Abgrund), и

затем выплывало оттуда, и проходило перед глазами, как, говорят, перед глазами умирающего проходит вся его жизнь, так что я просто лежал и видел эти по собственному произволу и прихоти сменявшие друг друга картины моей жизни, уже как будто от меня отступившей, то какие-то темные улицы, какие-то фонари под дождем, какие-то окраины, по которым мы бродили с Ниной в пору нашей любви, то балтийские мои дюны, серое мое море (meine baltischen Dünen, mein graues Meer...), то отца и мать на крыльце какого-то дома, не нашего, но чужого какого-то, в грозовых сумерках, под свинцовыми тучами, то вновь и вновь те дороги, по которым мы отступали от Петрограда, грязь и горе этих дорог, одинокие деревья, голые ветки, телегу с трупами, брошенную в березовой рощице, и большую черную лошадь, подышающую в канаве, и затем опять какие-то улицы, какие-то парки, какой-то ветреный день в Либаве, они там все ветреные, зверский холод у моря, далекие корабли английской эскадры, следившей за нами, развалины крепости, почему-то взорванной, будто бы за ненадобностью, за пару лет до войны, и в бухточке возле этой крепости – замечательные круглые камни, камни розовые и камни серые с перламутром, у самой воды подернутые ледяной коркой, сверкавшей на беспощадно ярком, не греющем солнце. Никого не было вокруг, ни одного человека, только камни, море и сосны с распростертыми на голубом небе ветками. Не кто-нибудь, но сам генерал фон дер Гольц в походной шинели вдруг подошел ко мне, шурша камнями, скользя по камням. Совершенно непонятно было, как и почему он здесь оказался; я, разумеется, не мог его об этом спросить. Он сам спросил меня, довольно строго, что я здесь делаю. Я ответил. Надеюсь, вы эти камни не потащите с собою в поход? усмехнулся он, выпячивая нижнюю губу под усами. Зачем же вы их собираете? Мне было восемнадцать лет, пишет Александр Воско своим Kurrentschrift'ом, я был глуп и самонадеян (dumm und selbstbewußt). Все прекрасное бесцельно, господин генерал. Он опять усмехнулся, отдадим ему должное. Я не стал ему напоминать об его знакомстве с моим дедушкой Фитингофом, не хотел показаться нескромным. Почему не признаться, что он был мне скорее симпатичен в эту минуту со своей властительно выпяченной нижней губой и привычкой к ежедневному моциону, никакой погоде не поддающейся, хотя я не разделял, конечно, ни его взглядов, ни его

целей, и до судеб Великой Германии (des Großdeutschen Reiches) никакого дела мне не было. Я еще долго смотрел ему вслед, как он уходил по берегу моря, всем своим видом показывая, что прусский генерал не боится балтийского ветра, хотя показывать это было решительного некому, кроме меня, – одинокая и какая-то хрупкая фигура на фоне не замерзшей безмерности, под враждебным взглядом английских кораблей, все так же неподвижно стоящих на рейде. На другой день мы начали наступать. Еще был март, еще хлюпала вода со снегом под копытами моей лошади. А в конце мая, в Риге, когда мы взяли ее с налета, уже были первые нежнейшие листики на деревьях, и сирень цвела по садам, и белый пух летел по улицам вместе с нами, и посланный от светлейшего князя связным к Флетчеру – как мне потом все завидовали! – я умолил его оставить меня в передовых частях ландесвера, и как-то совсем неожиданно, пролетев Задвинье, мы выскочили на Любекский мост, по счастью не взорванный, и под пулеметным огнем с обоих берегов Двины захватили его, в таком опьянении победой, какого я не испытывал никогда в жизни, ни до того, ни после того, о собственной смерти, в самом деле, не думая, и понеслись вдоль Двины к цитадели, и с сумасшедшими глазами, что-то крича и гикая, летел молодой Энгельгардт, и с сумасшедшими, смеющимися, какими-то почти белыми глазами – молодой узкоплечий Мантейфель, вдруг упавший с лошади, убитый выстрелом из окна, и в низких казармах цитадели сидели заложники, которых большевики не успели расстрелять, как в марте успели, увы, расстрелять их в Митаве и как в тот же день, покуда мы брали мост, освобождали цитадель, успели расстрелять их в центральной тюрьме за Московским форштадтом, и почему-то, я помню, мы долго стояли на улице, не зная, что делать, и какие-то растрепанные женщины бежали к нам, умоляя на всех языках спасти их мужей, их детей, а нас было всего несколько человек, или так мне казалось, и подкрепление все не подходило, а большевики засели, мы опасались, в казармах, наставив на нас свои пулеметы, а у нас пулеметов было всего два, так мне помнится, и один из них заикался, но мы ворвались, в конце концов, взорвав дверь гранатой, в одну казарму, и в госпиталь, и в другую казарму, и когда выяснилось, что последние подонки бежали, страшный, столетний, с того света вышедший старик-заложник вдруг запел громким

голосом *Lobet den Herrn*, «Восславьте Господа», и все другие запели вместе с ним *Lobet den Herrn*, и даже заключенные в тех камерах, которые мы еще не успели открыть, запели это *Lobet den Herrn*, так что оно неслось, в самом деле, со всех сторон и, наверное, прямо к Богу, и приземистый барон Медем, принявший командование после гибели Мантейфеля, стоял и плакал в каком-то углу, и высоченный Дона-Шлоббитен стоял с неподвижным, лошадиным, вверх вытянутым, ничего не выражающим лицом. Медем стал потом отъявленным наци, а Дона был расстрелян гестаповцами после покушения на Гитлера, пишет А.Н.В., переходя вдруг на русский, как если бы ему противно стало после упоминания о гестапо писать по-немецки. Я с ним виделся в сорок первом году в Париже... А вот чего не могу теперь вспомнить, удивительное дело, по-русски пишет А.Н.В. дальше, это как я в тот день добрался до дому. Мне кажется, я просто пошел из цитадели домой, пешком и один. Но это так не могло быть, конечно. Я не помню. Помню себя в цитадели, а затем сразу дома, из эркерного окна смотрящим на притихшую улицу. Квартира наша по счастью была не разграблена, хотя разграблены были многие, скорее осквернена слишком для меня очевидными следами присутствия в ней большевицких начальников, уж не знаю, крупных или помельче, тоже бежавших, наверное, накануне, если не в тот же день утром. Какая-то мерзкая кастрюля с *ихней* (он так и пишет) похлебкой стояла еще на плите, мне хотелось ее вышвырнуть поскорее в окно, этого я все же никак не мог сделать. Но вещи были не тронуты, серебро, впрочем, украдено, как впоследствии выяснилось, и книги целы в библиотеке, и хотя я всего полгода отсутствовал, и было-то мне всего восемнадцать, я, мне кажется, смотрел на все это моими теперешними глазами, как если бы это первое возвращение в еще не разрушенный, но уже оскверненный чужим и подлым присутствием дом было предвестием будущей невозможности туда возвратиться, грядущих и уже непоправимых потерь. Я ходил, я помню, и с таким чувством, как будто я очень давно или вообще никогда их не видел, рассматривал в каждой комнате наизусть, на самом деле, знакомые мне настенные росписи со всеми их цветами, плодами, листьями, лирами, их завитками и загогулинами, плетением их плывущих узоров, эти росписи, которые я запомнил с детства на всю свою

дальнейшую жизнь, которые вновь и вновь рисую в тетрадках и на полях, иногда даже сам не замечая этого, и которые мне уже пора было бы процитировать в каком-нибудь здании, чтобы все дураки-критики завопили благим матом от ужаса, Александр Воско возвратился-де к югендстилю... Непонятно, или я не помню, опять же, откуда появившийся приятель мой Юрис Аболс, доброволец в отряде Баллода, сообщил мне на той смеси русского, немецкого и латышского, на которой мы с ним разговаривали, что большевики-мужики все бежали, а какие-то девки еще сопротивляются, какие-то *Flintenweiber*, назвал он их, *ружейные бабы*, и что солдаты Медема начинают на них охоту, большую охоту, *lielas medibas*. Вот пойдет потеха, сказал он. Этот Юрис владел потом аптекой на Дерптской улице и каждый раз, когда я заходил к нему, оказывался все толще и толще, под конец превратившись в заправского толстяка, с одышкой, напоминавшей уже какую-то органную фугу, Генделя или Баха. Конец его был, я боюсь, ужасен. Он снова исчез в тот день, а я остался в эркере смотреть на по-прежнему пустынную улицу, потом стал крутить почему-то глобус, всегда, сколько я себя помню, стоявший у отца в кабинете, чудесный, очень старый глобус, склоненный набок, как голову склоняют набок, задумываясь о чем-то важном или печальном, с латинскими названиями морей и земель и большим медным обручем, под которым всегда норовили спрятаться Австралия, Аргентина.

Теперь я рад, что все это было со мною, пишет А.Н.В., опять по-немецки, опять *Kurrentschrift*'ом, и я ведь так до сих пор и не знаю, когда он пишет это, в семидесятые годы, в восьмидесятые, за сколько-то лет до смерти, за сколько? Много было ужасного, пишет он, но я не хотел бы, чтобы этого не было, не отдал бы этого прошлого. Это ведь мое прошлое, в каком-то смысле это и есть – я сам. Тогда и на том пароходе, в пятидесятом году, по пути в готовую выбраться из-под обруча Аргентину, мне было все равно. Если бы кто-то вдруг отнял у меня мою историю, я бы, казалось мне, не заплакал. Это были просто картины, картины уже как будто чужой жизни, не имевшие ко мне отношения. То я спорил, то уже и не спорил с судьбою, просто лежал так, прислушиваясь к ходившему ходуном океану, падая и проваливаясь куда-то, и думал о том, что ничего, ничего, вообще ничего и

совсем ничего не осталось от прошлого, все погребло, все умерли, и вновь и вновь видел те узоры на стенах в нашей рижской квартире, то утро в Либаве, потом вдруг санаторий в Кеммерне, где умирал мой отец, где через пару лет после моего отца умер князь Ливен, слепящий белый снег и березы вокруг белого длинного здания, затем опять улицы, парки, тот ни на что не похожий парк Buttes-Chaumonts, куда я водил гулять Нину, и как она смеялась, все-таки невесело, она всегда смеялась невесело, поняв, что низенькие перильца, отделяющие дорожки от лужаек, от косогоров, только кажутся деревянными, а на самом деле цементные, как и все там, и как мы шли, обнявшись под зонтиком, по гениальному мостику, подвесному и скользкому, построенному Эйфелем над бывшим известняковым карьером, и так отчетливо видел я все это, как будто не лежал на койке, по пути в Аргентину, а шел, в самом деле, по этому мостику и по этому парку – парку, который затем вдруг отдалялся и отступал от меня, со всеми своими дорожками, беседками, гротами, и появлялись снова фонари под дождем, больница, где умерла моя мать, сестра милосердия со шприцем и тазиком в морщинистых костистых руках, появлялись, вновь и вновь, дюны, высокие дюны, песчаные дюны, сосны на вершине этих дюн, колючая сухая трава и та песчаная, за травой, поляна, где мы лежали когда-то с Володей Граве, в наши тринадцать, наверное, лет, укрытые от ветра, слушая море, и жизнь нам казалась мелодией, в которой диссонансы рано или поздно, но обязательно найдут свое разрешение, или казалась нам зданием, в котором части гармонируют с целым, а целое отзывается в подробностях и деталях, и мы смеялись нашим сравнениям, и поскольку музыкальных способностей ни у него, ни у меня не было, то решили, смеясь, что станем строителями. Ну вот, стали, или, по крайней мере, я стал, думал я, лежа на своей койке; и что? И все оказалось совершенной бессмыслицей, оказалось обманом, оказалось насмешкой. И Володя Граве давным-давно, наверное, сгинул в каком-нибудь лагере, на какой-нибудь Колыме, а я плыву умирать в Аргентину... Замысел жизни был разрушен, оставалось только отчаяние. Мне было даже хорошо, даже как-то уютно в этом отчаянии, пишет А.Н.В. (Kurrentschrift'ом по-прежнему). Углубление в отчаяние, пишет он (Vertiefung in die Verzweiflung). В отчаяние можно так углубиться, что теряешь в нем свои

же следы... Отчаяние, если совсем углубиться в него, переходит во что-то иное (*schlägt in etwas anderes um*). Есть как бы некая черта, за которой начинается это иное. Есть покой и прохлада отчаяния. Все бессмысленно, и настоящее, и прошлое, о будущем и говорить не стоит. Но тебе уже все равно. Все равно, что будет с тобою и будет ли что-нибудь. Ты уже никакого смысла не ищешь, ни на что не надеешься, ни на что не рассчитываешь. Ничего не хочешь, вот что самое главное. Наступает тишина в тебе, все смолкает. Отчаяние, за той чертою, оборачивается свободой. Я все это уже знал, пишет А.Н.В. (*Kurrentschrift*'ом). Я изучил ландшафт отчаяния парижскими военными вечерами. Я знал, однако, что *такое* отчаяние, совершенное и законченное отчаяние (*eine solche vollendete Verzweiflung*) долго все же не длится, что желания и надежды, в конце концов, оживают, а значит, оживают и страдания, возвращается беспокойство. Я лежал, я помню, и почти сознательно пытался продлить в себе это блаженство отчаяния. Я понимал, что оно закончится, и что я снова начну терзать рану, чесать зудящее место, составлять список потерь. Я чувствовал океан, ходуном ходивший за стенкой каюты, все это невообразимое, нечеловеческое пространство, эту пропасть и прорву пространства, в котором меня уже не было, в котором я рад был – не быть. Я подумал о том, как я ценил жизнь в юности, как дорожил ею, и как теперь не ценю ее. И как, вместе с тем, легко, как беззаботно рисковал своей жизнью в восемнадцать лет и как, на самом деле, дрожу за нее теперь, после всех разочарований, уплывая умирать в Аргентину, как держусь и цепляюсь за эту жалкую жизнь, неудавшуюся и ненужную мне, и как, наверное, бросился бы защищать ее, забыв отчаяние, если бы кто-то и вправду стал угрожать ей. Посреди этих мыслей вошел безликий стюард, забрал катавшийся по полу каюты поднос, громыхавший и ударявшийся обо все углы и выступы, которые находил он, и, пообещав еще сильнее, страшнейшие бури, *horribles orages*, спросил меня, как мне нравится это безобразие, *se bordel*, на их пароходе. Какой бордель? спросил я. То есть как же – какой? ответил стюард. Или я не знаю, что в трюме ихнего до сих пор приличного и порядочного парохода, *vapeur tout décent*, едет какое-то отребье, загадившее всю нижнюю палубу, какие-то переселенцы, апатриды, отбросы без роду и племени, *des hongrois, des roumains et des russes*? Я тут же встал и, не дослушав

подонка, пошел вниз, в трюм, не раздумывая и не спрашивая себя, зачем я туда иду. Я просто пошел (ich ging einfach), держась за поручни и ударяясь о стенки, подобьем подноса. А когда я вернулся к себе в каюту, через сколько-то времени, не могу теперь вспомнить сколько, я упал ничком все на ту же койку и разрыдался. И рыдал так, как не рыдал, мне кажется, ни разу в жизни, ни до того, ни после. Я сам не знаю, что открылось мне в ту минуту, когда я понял, что окликнувший меня по имени, забытому имени – Саша! Саша Воскобойников! – одутловатый человек в железных круглых очках, что это Володя Граве, из забвения выплывший, из небытия возвратившийся. На муромской дорожке стояли три сосны... Прикосновение истины, эпифания смысла... Я понял, что все устроено не так, как мы думаем, что есть кто-то, управляющий нашей жизнью, благожелательный к нам. Я это понял не разумом, но кожей, и печенкой, и сердцем, и еще какими-то частями тела, глазами, руками. Разумом я бы не согласился с этим, после всех потерь, всего зла, которое мне довелось пережить и увидеть. Но не в том было дело... Замечательно, пишет А.Н.В., что эти рыдания и слезы (Schluchzen und Tränen) пришли потом, в каюте и в одиночестве; там внизу мы просто стояли, поскольку могли стоять при такой качке, и смотрели друг на друга, в глаза друг другу, и один раз обнявшись, потом еще несколько раз стискивали друг друга руками, и он даже трогал пальцами мое лицо, нос и щеки, даже довольно сильно и больно трогал их, сжимая нос и щипля за щеку, как это делают совсем маленькие дети, сидящие у нас на руках, или так, как мы сами себя щиплем, когда стараемся не заснуть или когда стараемся уверить себя, что не спим, и я, наверное, делал то же самое, и, наверное, минут пять, семь, восемь прошло, прежде чем мы начали с ним говорить и прежде чем я увидел вокруг нас этот страшный галдящий трюм, одновременно холодный и душный, с подвесными койками и рваным бельем, развешанным между ними.

Запись здесь обрывается. Есть отдельные разрозненные заметки о Владимире Граве, сложенные в папку с надписью «Вл. Гр.», но вот этот текст, задуманный как часть автобиографии, заканчивается самой встречей и дальнейшего их путешествия уже не описывает. То есть А.Н.В. обрывает свой письменный рассказ почти так же, как оборвал,

или хотел оборвать, свой устный – мне, в 1988 году, за полгода до смерти. Встретились и встретились, сказал он тогда, что же еще рассказывать? Самое главное уже случилось, чудо произошло. А затем они сами стали рассказывать друг другу свои протекшие жизни, и чем дальше рассказывали, тем более реальными и, значит, в каком-то смысле более обыденными, более привычными делались друг для друга, как реальной и, в конце концов, даже обыденной сделалась для них обоих – для меня по-прежнему сказочная и призрачная – Аргентина, когда они в ней оказались. И, конечно, когда они рассказывали свои жизни друг другу, стоя ли на палубе и держась руками за релинг, подставив лица солнцу и ветру, или сидя в кают-компании, или в баре, не обращая внимания ни на стюардов, ни на других пассажиров, но глядя на все поднимающийся и опускающийся в иллюминаторе океан, или так я это представляю себе, они не могли, конечно, или так я это себе представляю, не сравнивать свою собственную судьбу с судьбою другого, и значит, Александр Воско не мог не думать о том, какая все же сравнительно легкая досталась ему судьба, Владимир же Граве не без горечи думал, наверное, о своей, но, может быть, и с благодарностью к судьбе, все-таки, все-таки, вопреки всему проведенной его живым и относительно здоровым сквозь террор, сквозь войну, сквозь плен, сквозь дипийские лагеря, не подставившей под пулю, не выдавшей обратно советам, вот, наконец, увозившей из кровавой, проклятой Европы. Он-то как раз ехал в Новый Свет, в новую жизнь... Впрочем, чувство благодарности, как и способность надеяться на лучшее, суть, наверное, чувство и способность врожденные, почти не зависящие от обстоятельств нашей жизни, поворотов нашей судьбы. Александр Воско стыдился, может быть, своего собственного отчаяния, *разрешившегося* этой встречей, этим рыданьем в каюте. Вот человек, думал он, или так я это представляю себе, проживший тридцать три года в аду, то в самом пекле, то по соседству, всякий день, все эти тридцать три года ощущавший на щеках его жар, его отсвет, не знавший, не застрелят ли его за ближайшим углом, не заберут ли ночью, и все-таки не сломленный, не сдающийся, способный радоваться даже тем консервам и сухарям, тому гороховому супу, той каше, что ели они в своем трюме, тем более коньяку в баре, в пузатой рюмке, с увлечением игравший в шахматы, игравший и в преферанс, рисовавший

чертежи своих строек. Узнавал ли А.Н.В. своего детского друга? Тот в детстве был немного рохля, избалованный мальчик с бархатным бантом. Теперь, пишет Александр Воско на одной из разлинованных русско-немецких страничек, найденных мною в папке с надписью «Вл. Гр.», теперь это был отнюдь не рохля, но очень взрослый, еще не старый, остроумный и обаятельный человек, не выпивоха, но не дурак, что называется, выпить, преферансист, шахматист, любимец всех женщин, ехавших в трюме – эти женщины не просто прихорашивались, но прямо хорошили в его обществе, я это видел, с улыбкой пишет А.Н.В. на одном из своих листков, – человек, не совсем, похоже, здоровый, одутловатый, но еще сильный, и прежде всего, как я уже написал, обаятельный, покорявший всех своим обаянием, даже наглеца-бармена, в конце концов, примиривший с собою. Я немного первенствовал над ним в нашем балтийском детстве; мне это и в голову не пришло бы теперь. Хотя теперь я был, конечно, в лучшем, чем он, положении, я мог помочь ему и помог ему, в самом деле, впоследствии, в Аргентине, мог предложить и предложил ему перейти ко мне в каюту – он, впрочем, отказался, ответив, что останется со своими товарищами по несчастью до прибытия в пункт и порт назначения, – но я ни одной секунды не чувствовал себя сильнее или увереннее в себе, чем он. Наоборот, мне казалось, что он сильнее меня, что он очень многое может, чего я не могу... Еще мне казалось, и на пароходе, и потом в Аргентине, что за все эти ужасные годы он как-то отчетливее полюбил жизнь, чем я сам научился любить ее. Он любил ее просто так, саму по себе, без всяких объяснений и колебаний. Он не спрашивал себя, или так мне казалось, *к чему все это?* как я сам себя спрашивал. Это значит, у него был темперамент не философский (*kein philosophisches Temperament*), пишет А.Н.В., сам, конечно, немного философ, как все архитекторы двадцатого века, вообще, может быть, все архитекторы. Философ ведь не тот, кто знает ответ, но тот, кто ставит вопрос, кто *спрашивает* (*derjenige der fragt...* он подчеркивает это *fragt* жирной чертой). Он был *любитель пожить* (*ein Lebemann*, выражение непере译имое) и он был замечательный инженер, в чем я впоследствии мог не раз убедиться. Инженер он был блистательный, все знавший, все помнивший, открытый новому, способный отдаться игре ума и расчета. Когда мы строили мост в Рио-Давиа, я

видел вдохновение в его глазах. Значит, и для него строительство было своего рода постижением истины, пишет А.Н.В. (и мне здесь важнее всего, наверное, короткое слово *и...*). Истина ведь раскрывается не в том, что мы думаем, а в том, что мы делаем. Я только жалею теперь (*es dauert mich*), что мы так мало с ним построили вместе.

Глава 10

Gelida messaggera della notte,
sei ritornata limpida ai balconi
delle case distrutte, a illuminare
le tombe ignote, i derelitti resti
della terra fumante. Qui riposa
il nostro sogno...

*Salvatore Quasimodo*¹⁰

Все же, снова: как говорили они о прошлом? Я не слышу их голосов, не знаю даже, как обращались они друг к другу. И вот представляешь, Саша, когда мы приехали на Свирь и я увидел всех этих эков... Нет, конечно, Владимир Граве не говорил так. Как бы то ни было и как бы ни говорил он, история его скитаний, его спасения в общих чертах восстанавливается из разрозненных записей А.Н.В. Он работал действительно в конце двадцатых годов на строительстве Нижнесвирской ГЭС, под руководством академика Графтио, *самого* Графтио, пишет А.Н.В., с его ли слов, от себя ли прибавляя и подчеркивая это *самого*; и немалые усилия приложил в начале тридцатых, чтобы перевестись в Ленинград, в одну (а из нее потом в другую, потом, кажется, еще в какую-то третью...) из тех проектно-строительных организаций, которые, как и все советские институции такого рода, все конторы и тресты, рождались и гибли, борясь друг с другом, побеждая друг друга, с мифологической, микологической быстротой, создаваемые, распускаемые, сливаемые друг с другом в периодических приступах административного восторга, сотрясавших город и мир; с явным, отчасти, похоже, садистическим удовольствием выписывает А.Н.В. благозвучные аббревиатуры типа *Союзстандартжилстрой*, не путать

¹⁰ Ледяная вестница ночи, ты возвратилась, прозрачная, на балконы разрушенных домов, чтобы осветить неведомые могилы, заброшенные развалины дымящейся земли. Здесь покоится наша мечта... *Сальваторе Квазимодо*

с *Жилгражданстроем*, и *Стандартгорпроект*, не путать с *Ленжилгражданпроектом*; можно представить себе, как хохотал он, держась руками за релинг, когда Владимир Граве посвящал его в эти тайные знания, эзотерические науки. Как и мой собственный дедушка, в самом деле, он был призван в инженерные войска еще во время финской кампании, затем снова призван летом сорок первого года, через несколько дней после объявления войны. Он скоро понял, наверное, что бывшую жену и настоящую дочку из Ленинграда нужно непременно вывезти, как можно скорее; я все сделал, чтобы они уехали, говорил он, по-видимому, на пароходе Александру Воско, не уточняя, впрочем, что именно и еще не зная, что уехать они не успели, не сумели, погибли. Где и как он попал в плен, Александр Воско не пишет; помечает только: *Лужский рубеж*, подчеркивая, но никак не комментируя эти два слова, так что непонятно, воевал ли Владимир Граве на Лужском рубеже, или строил там укрепления, или взят был в плен, когда Лужский рубеж был прорван. Если последнее верно, то в плен попал он уже осенью сорок первого года; из общей массы пленных его тут же, разумеется, выделили. Доказать свое немецкое происхождение ему было нетрудно; хорошее знание немецкого языка и фамилия Граве свидетельствовали в его пользу; еще лучше было найти кого-нибудь, кто мог бы за него поручиться, рассказывал он А.Н.В.; каких-нибудь дальних родственников, какую-нибудь рижскую тетку. Такая тетка нашлась; не в Риге, правда, но уже где-то в Польше, в так называемом Вартегау, куда балтийские немцы в большинстве своем переселены были после и в результате пресловутого пакта, откуда снова бежали в сорок пятом году. Замечательно, что ни о каких других родственниках Владимира Граве, кроме этой туманной тетки, погибшей, пишет А.Н.В. (в конце жизни, на разлинованном листочке в папке с надписью «Вл. Гр.»), в сорок пятом при бегстве из Вартегау, сведений нет; Владимир Граве, и в этих записях его детского, вновь обретенного друга, и в других рассказах о нем (см. ниже), является (как и мой дедушка, еще раз и в самом деле...) в ослепительном одиночестве, без всякой родни и семьи (кроме, конечно, приобретенной, в его случае снова утраченной), как если бы его отец, и мать, и другие какие-нибудь тетки, кузены или дядья – как если бы они все куда-то сгинули (как оно, конечно, и было), пожранные тем же пламенем, в котором моя бабушка

сжигала когда-то бумаги, открытки, письма и фотографии. Владимир Граве отправляется все-таки в Ригу, в надежде, может быть, разыскать там кого-то из этих сгинувших родственников, или в надежде разыскать там кого-нибудь, с кем был знаком в прошлой жизни, да хоть того же Александра Воскобойникова, с которым стоял теперь, в 1950 году, перед океанской безмерностью, держась руками за релинг, о судьбе которого тогда, в 1941-ом, ничего, конечно, не знал, или просто, может быть, потому что Рига была единственным из занятых немцами городов, с которым что-то связывало его. Он идет в Ригу пешком, или так получается по записям А.Н.В. Он шел в Ригу через Псков, через Венден, пишет Александр Воско, и я не знаю, надо ли понимать буквально это *шел*, или все же как-то иначе он туда добирался. Как бы то ни было, он дошел и добрался, ни родственников, ни старых друзей не нашел, нашел зато друзей новых, и нашел, почти сразу, работу – в фирме, занимавшейся отоплением и утеплением домов, процветавшей, судя по его рассказам, пересказанным А.Н.В., до сорокового года, каким-то чудом пережившей роковой год под советами и с приходом немцев вновь начавшей работать, как будто ничего не случилось, вновь занявшейся отоплением частных домов в Туккуме, ткацкой фабрики в Кандаве, затем ремонтом, восстановлением разрушенного войной и бомбежками. То есть он делал в Риге примерно то же, что А.Н.В. в это время делал в Париже; А.Н.В. этого не отмечает, но мы, конечно, отметим. Эти полтора или почти полтора года, проведенные в Риге, отмечает зато А.Н.В., были чуть ли не самыми мирными, как ни удивительно, годами его взрослой жизни, как если бы смилостивившаяся судьба решила дать ему передышку перед новым бегством, новыми безднами. Были русские знакомые, о которых, по-видимому, много раз рассказывал он А.Н.В.; снимал ли он у них комнату или просто так они приютили его у себя, неизвестно; зато известно, где именно прожил он эти спокойные рижские полтора, или почти полтора, года: в Задвинье, в одном из тех двухэтажных, переходящих друг в друга, с пилястрами, домиков на Либавской (действительно) улице, которые в двадцать пятом году (пишет А.Н.В.) построил Павлис Дрейманис, которые (пишет он же) были, кажется, вообще первым опытом коммунального строительства в понемногу оправлявшейся от гражданских

волнений независимой Латвии (как хорошо я помню их, эти домики, по три фронтона в каждом, пишет, в скобках, Александр Воско; Дрейманис предлагал мне строить их вместе с ним, но я тогда как раз заканчивал Политехникум, и мечтал о Германии, и в самом деле уехал в Берлин, в Веймар, в Дессау, и познакомился с Мисом, с Гуго Герингом, а когда вернулся, мы начали с Павлисом строить огромную школу в Болдерае, в ужасном рабочем районе, где я, кажется, никогда и не бывал до тех пор...). Простая русская семья, пишет он дальше (тоже по-русски, сам не сознавая, может быть, что цитирует Пушкина); настоящая православная русская; Беловы была их фамилия. Володя жил у них, ходил с ними в церковь, говел в пост и разговлялся на Пасху, спускался к ним, наверное, вечером пить чай у самовара за мирными разговорами о войне и о Достоевском, вообще жил той русской жизнью, которой давно уже никто не мог жить в России (даже, кажется, дача у них была, и если не в Майоренгофе, то в Дуббельне, пишет Александр Воско со вздохом, легко различимым за строчками...). А все же было, наверное, что-то совершенно призрачное в этой русской рижской жизни в сорок втором году, думаю я теперь, какой-то легкий бредовый привкус в этой самоварно-пасхальной идиллии... Был зато эпизод поразительный и трогательный, на котором А.Н.В. в своих записях останавливается подробно. Русская девочка, пишет он, взята ими из лагеря в Саласпилсе. Кто, собственно, были эти русские дети, он не пишет, и я тоже не знаю, но получается так, что было их чуть ли не три тысячи, этих русских (еврейские все погибли) сирот, свезенных в Саласпилс, умиравших от голода. Все же некие православные священники, и чуть ли не сам Рижский архиепископ, уговорил и уговорили немецкие власти позволить русским рижским семьям забрать к себе этих детей, едва ли уже не умиравших от голода. Белокурую девочку звали Таня, было ей лет семь или восемь. Я сделался на полгода ее приемным папой, говорил Владимир Граве Александру Воско, ее приемным полупапой, одним из ее двух приемных пап, так говорил он, и почему-то, когда я думаю теперь обо всем этом, я их представляю себе идущими через мост, из Задвинья в город, в русскую школу или в русскую церковь, или просто так, вообще в город, побродить по улицам и съесть мороженое на площади у собора, через тот же самый мост, может быть (или, может быть, не совсем тот же, но на

том же месте и уж точно через ту же самую реку... с мостами в Риге вообще какая-то путаница...), по которому восемнадцатилетний Александр Воскобойников летел и мчался вечность назад, в другую историческую эпоху, навстречу будущему и на помощь заложникам, в опьянение победой. Владимиру Граве, когда он шел через этот (или не этот?) мост, держа за руку белокурую девочку Таню, полуприемную свою дочку, было сорок, или сорок, может быть, с небольшим; вижу его в дорогом двубортном костюме, который впервые в своей взрослой жизни он мог позволить себе купить на заработанные в фирме по отоплению и утеплению домов деньги, в дорогих ботинках с узором из недоделанных дырочек, в шляпе, прикрывающей лысину, в неизменных круглых очках, с еще не постаревшим, тоже круглым, лицом. Грохочут грузовики по мосту; идут баржи, плывут катера по реке; млечной белизной, после весеннего ливня, сияют легкие, редкие, какие-то почти осязаемые – вот, кажется, возьми и дотронься до них рукой – облака; белокурая девочка Таня, по ночам плачущая и зовущая убитую маму, все-таки радуется и этим облакам, и баржам, и приближению мороженого; Владимир Граве, чувствуя в своей большой мягкой руке ее маленькую цепкую руку, думает, не в силах не думать, о своей собственной дочке, про которую ничего не знает, узнать не может, может только надеяться, что где-нибудь она за Уралом, где-нибудь в Узбекистане... Вон там, видишь, главный собор, der Dom, вон тот зеленый шпиль – святой Яков, вон там был шпиль святого Петра, снесенный снарядом, вон там, дальше, замок, за ним цитадель, а вон в ту сторону, где еще недавно была синагога, лучше, наверное, не смотреть.

Что стало с ними со всеми, удалось ли им бежать в сорок четвертом, что стало с девочкой, разыскал ли их Владимир Граве впоследствии, ничего этого я тоже не знаю, и наверное никогда уже не узнаю. Полагаю все же, что бежать им не удалось, иначе были бы о них еще какие-то сведения. За Уралом, значит, оказалась скорее всего как раз эта девочка Таня... Я знаю только, благодаря все тем же записям А.Н.В., что для самого Владимира Граве идиллия закончилась в одно ясное прохладное утро 1943 года, когда на пороге в стиле раннего рижского функционализма (с элементами ар-деко, пускай будет так...) построенного домика в Задвинье появился очень спокойный, очень вежливый и

совершенно безликий офицер с нашивками ОТ (Organisation Todt) на петлицах, в сопровождении молоденького, красно- и круглощекого латвийского полицейского, не проронившего ни слова, стоявшего как истукан, и очень вежливо, очень спокойно – не приказал – но попросил господина Граве (Herrn Grawe) – просто попросил, ничего более – как можно скорее – двух дней, надеюсь, вам хватит? – сдал дела в своей фирме по утеплению и отоплению, отправиться во Псков (nach Pleskau) в распоряжение Северного Управления ОТ (ОТ-Einsatzgruppe Nord), поскольку отопление с утеплением подождут, а такие инженеры с таким знанием немецкого нужны сейчас рейху и фюреру. Мог ли он отказаться? Смешно было даже думать об этом. Разумеется, господин капитан... Aber selbstverständlich, Herr Hauptmann... И когда Hauptmann с полицейским вышли, опустил, наверно, в ладони лицо, понимая, что безумие снова его настигло, что бездна опять разверзлась, и через два дня был в разрушенном Пскове, где его принял лично, очень любезно, Герман Гислер, мюнхенский архитектор и брат баварского гауляйтора, в то время руководитель этого самого Северного Управления ОТ. Organisation Todt, вот название! На самом деле, оно восходит к имени ее создателя, инженера Фрица Тодта, министра оборонной промышленности и генерального инспектора автодорожного строительства, создателя, соответственно, автострад, создателя много еще чего, атлантического вала и всякого разного прочего, Фрица Тодта, загадочным образом погибшего в авиакатастрофе в 1942 году... И все-таки, Organisation Todt, организация «Смерть», организация смерти... Смерть была, разумеется, за углом, смерть всегда была рядом, и военнопленные, и заключенные концлагерей, которых ОТ использовала на своих стройках, гибли никем не подсчитанные, никем не оплаканные, стерты в пыль во имя великой идеи. Речь шла о сланцевой нефти, которую добывали, или собирались добывать в Эстонии; нефть всегда нужна фюреру, всегда нужна рейху. Так Владимир Граве оказался, если я правильно понимаю, в одном из тех поселков, которые сделались после войны городом Кохтла-Ярве. До Нарвы сорок, до Ленинграда двести каких-нибудь километров. А Нарву я хорошо помню, пишет А.Н.В. на одном из своих листочков, переснятых мной в Лангедоке. Мне ли, пишет он, не помнить эту треклятую Нарву и как мы сами оказались в ней в ноябре

девятнадцатого, отступая от Петрограда, – разбитая, никому не нужная армия, разоруженная эстонцами, преданная союзниками, погибающая от тифа, – как трупы валялись на улицах, как вывозили их на телегах куда-то, не хоронить, просто в яму. А в лазарете, куда я зашел однажды, такая вонь стояла, что тут же я задохнулся и выбежал, успел только увидеть – услышать! – струйку мочи, стекавшую с верхних нар, где лежал еще живой спаситель отечества, на нижние нары, где, похоже, лежал уже мертвый, и после этого я думал только о том, что надо бежать, бежать скорее отсюда, и я мог бежать, я-то мог, мог просто вернуться в Ригу, куда уже возвратились мои родители из Берлина, и все-таки не бежал, все дожидался каких-то приказов ликвидационной комиссии – каких? кому они были нужны теперь? – покуда поручик Ган, сухой и решительный, считавший спирт лучшей профилактикой тифа и сам, по собственному выражению, собравшийся драпать, не объяснил мне, что я дурачок, и не отвел меня, почти насильно, к латвийскому консулу. Владимир Граве, четверть века спустя, бежать не мог и в Ригу не мог возвратиться. В своих записях А.Н.В. упоминает какую-то электростанцию, даже, так получается, две (zwei Kraftwerke), которые, наверное, и планировал Граве; упоминает и концентрационный лагерь в соседней Вайваре (KZ Vaivara), поставлявший рабов на стройку. Это значит, Владимир Граве каждый день видел умирающих от труда, и голода, и тифа, со всей Прибалтики согнанных последних евреев, видел советских военнопленных, которых ОТ предпочитала все же евреям, как вырабатывающих большую норму, видел надсмотрщиков с собаками – и снова не понимал, почему, собственно, он по эту, а не по ту сторону проволоки. Видел все это, старался не видеть. Не мог бежать и потому старался не видеть, пишет Александр Воско, старался не смотреть, не поднимать глаз от бумаг, планов и чертежей, не выходить из того (отлично обустроенного, утепленного, никем не охраняемого) барака, в котором жили, в котором, кажется, и работали немецкие инженеры. Склонил голову над этими чертежами, в буквальном смысле и переносном. А соблазн сунуть голову в петлю, или пустить себе пулю в висок был велик, был гораздо сильнее, чем впоследствии, когда он убегал, и прятался, и не знал, что будет с ним завтра. Здесь он был в безопасности и в отчаянии, пишет Александр Воско; впрочем и к счастью, этот

эстонский эпизод продлился не долго... Работал же он под непосредственным началом того самого Фрица Леонгарда, о котором в позднем своем интервью воскресному приложению к газете *Die Welt* упоминает А.Н.В., Фрица Леонгарда, впоследствии создателя замечательных, А.Н.В. упоминаемых тоже, мостов через Рейн и Мозель, по одному из которых (Schiersteinerbrücke) я езжу теперь каждый или почти каждый день на работу в университет. Странно, рейх уже рушился, уже ясно было, что войну не выиграть, но работали они так, как если бы вечность была у них впереди, строили на века, навсегда, или строили, в самом деле, для будущего, полагая, по-видимому, что рейхи, фюреры приходят, уходят, а вот инженерные решения остаются, машины остаются и бетон остается; любовь к бетону их, похоже, и сблизила. С Леонгардом, в самом деле, он почти подружился; несколько раз летал с ним в Берлин, где под бомбежками еще разрабатывалась аппаратура для добычи нефти из сланца; один раз летал с ним даже в Париж на встречу не с кем-нибудь, но с самим (*самим!*) Эженом Фрейссине (Eugène Freyssinet), создателем так называемого преднапряженного железобетона, без которого не было бы, если я правильно понимаю, великих современных мостов, не было бы и моста в Рио-Давиа, строить который, сами того не зная, они и плыли в пятидесятом году в Аргентину... А я ведь хорошо знал Freyssinet, замечает Александр Воско в своих записях, и в эти же военные годы виделся с ним пару раз, и даже, помнится, он хотел привлечь меня к строительству моста через Марну, но потом все же стал, по своему обыкновению, сотрудничать с компанией *Campenon Bernard*, а у них уж были свои архитекторы, и вообще не в этом дело, а дело в том, что мы ведь могли с Володей сидеть где-нибудь рядом, или спина к спине, в каком-нибудь кафе на Монпарнасе, или могли пройти в двух шагах друг от друга на бульваре Raspail, или в Люксембургском саду, или на набережной, или все равно где, но я вряд ли узнал бы его в зеленой форме организации Todt, если он был в форме (полагаю, что нет), а он... Он был, во всяком случае, счастлив, как легко догадаться, провести эту осеннюю, солнечную, всю в желтых листьях, жареных каштанах, неделю в Париже, где бывал ребенком (в девятом каком-нибудь, или одиннадцатом благословенном году...), вдали от фронта, от лагерей, надзирателей и собак, обсуждая с

Фрейссине и Леонгардом чудесные особенности преднапряженного бетона и проблемы электротермомеханического способа натяжения стальной арматуры. Все-таки ему пришлось возвратиться в Эстонию (Эстляндию, как по старинке называет ее А.Н.В. в своих русских записях...), где по-прежнему старался он не выходить из хорошо обустроенного барака, склонившись над чертежами и перед судьбой, если же выходить, то для прогулок по морю, в обществе Леонгарда и других инженеров, по-прежнему, перекрикивая ледяной ветер, обсуждавших восхитительные вопросы, связанные с устройством вибрационных машин для уплотнения все того же бетона, иногда, с хохотом, паливших из пистолетов в случайных уток, которых обер-лейтенант Мейер, смельчак, весельчак, здоровяк, ухитрялся доставать из воды, чтобы зажарить к обеду. Владимир Граве отставал от них, смотрел на стальные волны. До Ленинграда было двести по-прежнему километров, и он по-прежнему не знал ничего ни о бывшей жене, ни о дочке. Уже блокада была прорвана, но он не знал по-прежнему ничего. Уже боялись десанта и на ночь ставили патрули. Он думал, наверное, что кому-кому, а ему-то в плен никак нельзя попасть, его кокнут сразу. Бежать он все еще не мог, бежать было некуда. Даже море не утешало его своим блеском.

Бежать ему удалось, пришлось в апреле сорок четвертого года (из Прибалтики уже все бежали, все рушилось), но куда именно он бежал, и что делал до конца войны, неизвестно, А.Н.В. об этом не пишет. Конец войны, как бы то ни было, застает его снова бегущим – из разбомбленного Берлина на разбомбленный запад, подальше от Красной армии, вместе с тысячами других беженцев, остовцев, власовцев, бредущих пешком, осаждающих вокзалы, мечтающих забраться в вагон. Все бегут, ты бежишь, говорил он Александру Воско, бежишь, бежишь, уже почти не думая, куда ты бежишь, вместе со всеми, вместе с другими, частица взметенной массы, подхваченная вихрем молекула, былинка, пылинка, песчинка, или какие мы еще подберем сравнения, пишет Александр Воско, пересказывая, похоже, его, Владимира Граве, собственные слова, так что я слышу, наконец, или так мне кажется, живой его голос, бежишь, бежишь, на запад, на юг, опять на запад, снова на юг, непонятно почему и зачем, почему в Кассель, почему в Кемптен,

почему вдруг на Инсбрук, каким повинуюсь законам – законам столкновенья частиц, отталкиванья молекул, – бежишь, надеешься выжить, все надеются – и ты тоже надеешься, теряют надежду – и ты тоже ее теряешь, выживешь – молодец, не выживешь – ну, значит, не выживешь, никто о тебе не заплачет, погибнешь – под бомбежкой ли, под советами, не все ли равно, сначала под бомбежкой, потом под советами, бежишь с теми, с кем сводит тебя судьба, с семьей из Ростова, двумя детишками, тихой, испуганною их мамой и пожилым, смешно старорежимным, козлинобородым доктором, оставшимся под немцами работать в больнице и потому обреченным на расправу, если попадетса советчикам, вместе с этим перепуганным семейством, благословляющим твои познания в немецком, угощающим тебя страшно вкусными, страшными пирожками с кровью, которых ты в рот не взял бы в мирное время, добираешься до Тюрингии, где в почти не тронутом бомбами, тихом, как если бы ничего не случилось, навсегда безымянном городишке видишь первый американский танк с белой звездой на лбу, медленно, неизвестно откуда и совсем бесшумно, или так тебе кажется, так тебе помнится, появляющийся на ратушной фахверковой площади, вдруг, как если бы дали звук, дали запах, или ты сам обрел обонянье и слух, заполняющий всю эту площадь своим ревом и гарью, но все так же медленно поворачивающий башню с неправдоподобно длинным хоботом дула от одного окна с вывешенной из него простыней к другому окну, словно проверяя, все ли окна сдались, пересчитывая белые флаги, – и затем бежишь опять, бежишь дальше, узнав от веселого, молоденького американского офицера, удивленного твоим барским английским и потому презревшего запрет на братание с местными, и беглыми, и вообще какими бы то ни было гражданскими, перемещенными, искаженными страхом лицами, еще и подарившего тебе пачку сигарет – не папирос! – *Camel* и плитку восхитительного, настоящего, небесно-молочного шоколада, узнав от него, что Тюрингия будет назавтра – назавтра! в двадцать четыре часа! – американцами брошена, что завтра войдут советчики и, значит, все, тебе крышка, – бежишь дальше, в Кассель, с другим русским семейством, потеряв в пути прежнее, и в Касселе все разбомблено, и что не разбомблено, забито беженцами, ночевать негде, ночуешь на тюках на вокзале с выбитыми окнами, выбитыми дверьми,

незабываемыми подтеками от прорванной канализации на стене и, на той же стене, обрывком плаката, еще так недавно сообщавшего пассажирам, что *фюрер всегда прав*, der Führer hat immer Recht, от какого сообщения осталось только Fū в начале, im в серединке и echt в конце, над тобою в насмешку,¹¹ и на другой день опять бежишь, опять едешь, с новыми случайными спутниками, которых пытаешься развеселить и утешить теми немногими шутками, которые еще есть у тебя в запасе, на юг, в Баварию, неизвестно куда, и попадаешь в дипийский лагерь, в один и в другой, в бывшей школе и затем в каких-то бараках, и документы у тебя, в общем, в порядке, они у тебя, конечно, липовые, но из прочной липы, надежной липы, первого сорта, и получается по этим чудесным, первосортно-липовым документам, что ты жил до тридцать девятого года в Латвии и выдаче, значит, не подлежишь, и сколько ты ни проходишь комиссий, как ни пытаются подловить тебя смершевцы, или эмведешники, или как их всех называют, будь они прокляты, как ни стараются сбавить тебя советам равнодушные, вежливые, тупые американцы, ты упорно твердишь свое, жил в Риге и все тут, работал в фирме по отоплению и утеплению, фирма вот так-то называлась, на вот такой была улице, и названия улиц ты знаешь, и тридцать пять слов, пятнадцать фраз можешь сказать по-латышски, и вообще ты немец, у тебя же документы немецкого переселенца, вот они, Rückkehrerausweis, вот он, замечательный Rückkehrerausweis, великолепный Rückkehrerausweis, выданный аж в сорок четвертом году, по возвращении твоём из Эстляндии, комар носу не подточит, оставьте меня в покое, и тебя оставляют в покое, в балтийском лагере, не колючей проволокой, но простым забором отделенном от лагеря русского, стонущего от слухов и страхов, и за этот забор, и вообще за любой забор можно выйти, и вокруг Альгойские Альпы, слишком прекрасные, чтобы ты мог в них поверить, такой нежности небо, такой синевы горы и трава такой зелени, что ты каждый раз замираешь, выходя из барака, и странно, у тебя еще, или уже, хватает сил ходить в эти горы, после двух недель на американском пайке, подниматься куда-то все наверх, наверх,

¹¹ Echt - нем. подлинный, настоящий.

вдоль каменистого ручья, садиться на землю, корягу, пень, поваленный ствол, слушать журчанье воды, ее тихий и вечный плеск, возвращающий в прошлое, примиряющий с жизнью, читать что-нибудь или ничего не читать, смотреть, как вырастают над деревьями, за деревьями скалистые лесистые склоны, и за ними еще склоны, другие вершины, все голубей и сказочней, и на ослепительно зеленом лугу среди склонов вдруг обнаруживаешь ослепительно белую католическую часовенку с красной крышей и косоватой башенкой колокольни, заходишь в нее, конечно, смотришь на смешных краснощеких деревенских мадонн, смешных сельских святых, полагающихся на Бога, уверенных в своем спасенье, Его правоте, садишься на деревянную лавку с перекладиною перед ней, для опускающихся на колени, на колени не опускаешься, но все-таки молишься, или пробуешь все же молиться, в тишине такой блаженной и полной, какой с детства не помнишь, и молитвы повторяешь, конечно, те же, которые помнишь с детства, которые не повторял в юности, которые повторяешь теперь все чаще, и вдруг сам себя видишь со стороны, со стороны и сверху, глазами святых, глазами мадонн, или так, может быть, как если бы твои мама и папа сейчас на тебя смотрели, и когда спускаешься вниз, узнаешь, что в русском лагере идут облава и служба, одновременно, идет православная служба в приспособленном под церковь бараке, и потому идет она, что во дворе, и в других бараках, и вообще повсюду идет облава на счастливых советских граждан, которых GI's в касках загоняют в утробно рычащие грузовики, и толпа перед церковью шарахается из стороны в сторону, не пропуская солдат, пытающихся выхватить то одного, то другого, расцепить сцепленные руки, и отовсюду слышны молитвы, густой голос батюшки, тоже, кажется, подлежащего выдаче, крики, плач, английская ругань, и ты тоже про себя повторяешь, что Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устращуся? но Господь не помогает, молитвы не действуют, и появляются какие-то другие GI's, и начинают орудовать прикладами, и стрелять в воздух, и едва ли уже не в молящихся, и женщины кидают своих детей в латышский лагерь через забор, и ты сам ловишь вопящую девочку, новую твою дочку, трехлетнюю и перепуганную на всю дальнейшую жизнь, и на другое утро отдаешь ее полубезумной, полуслепой от ужаса

женщине, сумевшей спрятаться в помойной яме, отхожем месте, Господь знает где, не матери девочки, мать вскрыла себе вены хорошо, тщательно, заранее заточенным стеклышком, и ее, живую ли, мертвую, увезли со двора, но сестре этой матери, или тетке, или просто односельчанке, одностаничнице, когда-то в прошлом, видно, властной, толстой казачке, которая, все и всех потеряв, цепляется теперь за эту девочку, эту Анюточку, прижимая ее к себе, ради нее, может быть, надеясь все-таки выжить.

Да, немного стыдно было мне, когда я слушал эти рассказы, пишет Александр Воско на одном из своих разлинованных листочков, сложенных в папку с надписью «Вл. Гр.», стыдно было и моего недавнего отчаяния, и моей теперешней радости, и ощущения бессмысленности всего со мной совершающегося, с которым жил я последние годы, и этого чувства, что все имеет какой-то потаенный, благосклонный к нам смысл, с которым я смотрел по-прежнему на Владимира, стоя рядом с ним на качающейся палубе, посреди океанской безбрежности, мировой пустоты, то есть стыдно, в конце концов, моих самых личных, может быть – самых лучших, во всяком случае – самых важных для меня переживаний и мыслей. Позорной роскошью оказывалось все это по сравнению с настоящей бедой. Все это, думал я, мы себе можем позволить, когда нас не гонят прикладами на верную гибель, когда мы не лежим в тифозном бараке, когда бомбы не падают рядом с нами. Есть непреложность ужаса, отменяющая наше маленькое горе, ничтожное счастье. Я сопротивлялся, вполне сознательно, этому чувству стыда и вины (diesem Scham- und Schuldgefühl), пишет Александр Воско, я думал о том, что мир все-таки не состоит из бомб и прикладов, что у нас есть право на переживания более сложные, чем просто страх или просто надежда, и даже чем состраданье, возмущенье, негодование... Отказаться от этого права, думал я, подставив лицо ветру, держась руками за релинг, значит признать победу бомб, победу прикладов... Тогда и строить надо было бы из простых кубиков, крыша есть над головою, вот и отлично. Отказаться от этого права на сложность значит признать победу барачников, думал я, поворачиваясь к Володе, пытавшемуся зажечь на ветру неизменную свою папиросу, значит признать победу барачников над многообразием мира. Он тоже, в конце концов, не признавал этой победы,

думал я, на него глядя, он рассказывал мне, как в дипийском лагере подружился с инженером-литовцем и как, сидя, да, в бараке по-прежнему, они придумывали себе задания посложнее и решения для них позаковыристей, как строили сказочные мосты через молочные реки, чертили, если было чем чертить и на чем, воображаемые схемы фантастических электростанций, неправдоподобных зданий с невероятными крышами, подводили к ним дороги и проводили коммуникации, при этом хохоча на весь лагерь, так что прочие насельники рано или поздно возле них собирались и уж точно, почти всякий раз, обнаруживалась у кого-нибудь бутылка самодельного шнапса, выменянная на американские папиросы у местных, по-баварски бурчливых крестьян. А еще непонятно было, выживут они или нет, еще так быстро вертелось колесо сошедшей с ума Фортуны, пишет А.Н.В., свое ли, Владимира ли Граве используя сравнение, как бешено, бывает, вертится колесо поставленного на попу велосипеда, если раскрутить, например, педали и резко вдруг отпустить их, вертится, не может остановиться, – и в августе, что ли, сорок пятого года, где-то в Австрии, в случайной деревне, где я не могу понять теперь, почему он вдруг оказался, он сам не знал, может быть, этого, пробираясь ли в Италию, или еще почему-то, он сам, Владимир Граве, едва все-таки не попался советчикам, несмотря на все свои распрекрасные липовые документы, и как если бы то, что он наблюдал в Кемптене, было лишь репетицией, или так, может быть, как это бывает во сне, когда происходящее поначалу с кем-то другим вдруг начинает происходить с тобой, с тобой, а не с кем-нибудь, и ты из зрителя, к твоему ужасу, превращаешься вдруг в актера, – здесь все было так же, все было то же, та же толпа, сцепившаяся руками, и так же читал псалом о спасении громкоголосый чернобородый батюшка в середине толпы, и на этот раз не американские, но английские солдаты, под наблюдением советских офицеров и каких-то штатских подонков, загоняли в точно так же, утробным ревом, рычащие грузовики всех подряд, уже не разбирая, кто старый эмигрант и кто новый, кто где жил до тридцать девятого года и у кого какие бумаги, езжайте, мол, в советский лагерь, а там разберутся, и толпа шарахалась, подавалась, не расцеплялась, и как-то, он не понял как, но как-то ему все же удалось, одному из немногих, выбраться из этой толпы, выскользнуть из все плотнее сжимавшегося

круга английских озверелых солдат, перепрыгнуть через переполненную безоблачным альпийским небом канаву, и столкнувшись лицом к лицу с преграждавшим ему дорогу штатским подонком, просто и не раздумывая двинуть ему кулаком в челюсть, впервые в жизни, может быть, с чудесным чувством освобождения от всех пут и невзгод, и потом, потирая кулак, дожидаться темноты в высокой, многоцветной, с какими-то розовыми колючими шариками, блаженно благоухающей траве за серым большим сараем. Он так и не добрался до Италии, но неделю, с очередными случайными спутниками, которых поддерживал, как мог, своими последними, уже самыми последними, в репертуаре оставшимися шутками, проблуждав по горам, по хуторам, по каким-то заброшенным станциям, вышел к Инсбруку, сел в поезд и отправился в Мюнхен, где, ему сказывали, выдач было меньше и спрятаться легче. Мюнхен лежал в развалинах, но был все равно прекрасен. Он недолго, а впрочем, все же и если я правильно понимаю, несколько месяцев прожил в Funk-Kaserne, описанной мною в начале моего сочинения, прожил сколько-то времени и в большом лагере в мюнхенском пригороде Шлейсгейме (где, между прочим, состоялось знакомство его с Иваном Елагиным, с которым разговорился он после очередной читки эмигрантских стихов, или очередного любительского спектакля; и то, и другое устраивалось в лагерях едва ли не раз в неделю; в беде, как известно, стихи и спектакли нужнее людям, чем посреди их призрачных будней...), в конце концов переселился в Богенхаузен, в одну, мне, к сожалению, так и не удалось узнать какую именно, из полуразбомбленных вилл, брошенных хозяевами, возможно – нацистскими бонзами, в свое время вселившимися туда на место уничтоженных ими, или, в лучшем случае, бежавших евреев, одну из этих, в начале века и в югендстиле построенных вилл, каких в Богенхаузене тогда было много, совсем недалеко, надо думать, от того места, где жил Томас Манн, прежде чем бежал из Германии, точнее – не вернулся в Германию из швейцарской поездки, в 1933 году, и уж точно недалеко от русского дома «Милосердный самарянин», сразу после войны созданного усилиями отца Александра Киселева, замечательного, судя по всему, человека. Что именно, черчение ли, математику, преподавал он в русской гимназии при «Самарянине», я тоже не знаю, зато, мне кажется, вижу его на

огромной групповой фотографии, классической гимназической фотографии, с малышами на переднем, старшеклассниками на заднем плане, учителями, священниками, классными дамами во втором и третьем ряду – всего человек, наверное, двести (много раз принимался считать их и всякий раз сбивался со счета). Видно здание гимназии, совершенно такое же, как теперь, с тем же эркером; видны деревья и голые ветки спускающегося к Изару сада; сухим и счастливым треском постукивали они, наверное, на весеннем влажном ветру, когда неизвестный фотограф построил, наконец, всю ораву, и все девичьи голоса затихли, все детские крики умолкли, басы батюшек отзвучали, время остановилось. Владимир Граве, если это действительно он, в чем я не сомневаюсь, сидит на невидимом чем-то – стуле, табуретке, мы уже не узнаем – во втором ряду слева, не с краю, но от края недалеко, в костюме и галстукe, в неизбежных круглых очках, чуть-чуть полноватый, чуть-чуть, действительно, но совсем чуть-чуть, я сказал бы, одутловатый, так что щеки словно надуваются книзу, а рот складывается в улыбку, отстраненную и привычную, но все же какой-то спокойно-элегантный в этих своих очках, своем галстукe, с по-детски, но тоже совсем чуточку оттопыренными ушами и большой, блестящей, любую тригонометрию способной вместить в себя лысиной... Ему было хорошо в Мюнхене; выдачи начали утихать; затем закончились; страх отступил. Были озера и горы к югу от города, которые любил он, куда ездил теперь не один, но с образовавшейся в его жизни спутницей (о которой, улыбаясь пишет А.Н.В., я сам узнал, только когда мы прибыли уже в Аргентину...); и сама эта жизнь снова была той русской православной жизнью, которой жил он некогда в Риге, той русской, очевидно любимой им, ему соприродной жизнью с ее Пасхой и Рождеством, блинами и пирогами, скаутской молодежью, гектографическими газетами, костюмированными и не костюмированными балами, всегдашними разговорами о судьбах отечества. Удивительно лишь, что он никаких попыток не предпринял найти свое место в понемногу тоже налаживавшейся жизни немецкой, не восстановил отношений с тем же, например, Фрицем Леонгардом, не постарался поступить на службу в строительную какую-нибудь фирму (на что, в отличие от большинства дипийцев, имел, наверное, право по липовым своим документам и подлинной своей предыстории). С

самого начала, по-видимому, задумал он уехать из Европы куда-нибудь подальше, где никакие смершевцы его не отыщут. В Америку Северную, замечает Александр Воскобойников, его не взяли из-за обнаруженных флюорографией следов туберкулеза, перенесенного им когда-то в детстве, того семейного туберкулеза, от которого его мать до всех войн и всех революций ездила лечиться в Швейцарию; американцы, пишет Александр Воско, почему-то боялись туберкулеза не меньше, чем коммунизма, даже, кажется, больше.

Глава 11

Il y a de l'utopie
Dans l'azur
Et même
Dans un ciel gris.

*Guillevic*¹²

Все изменилось, конечно, как только они сошли по трапу на берег; страна антиподов превратилась в страну людей, говоривших что-то на непонятном языке (Si, señor, Buenos-Aires...); место мечты обернулось пакгаузами и портовыми кранами, блеском сильного солнца на белых стенах домов. Таможенный досмотр тянулся бесконечно, мучительно; за скарб свой, одеяла, кастрюли и простыни, до зубного зуда стыдно было дипийцам... Все это я только воображаю себе; в бумагах Александра Воско их приезд не описан. Предположим, его встречал в порту представитель той строительной фирмы (дочернего, если я правильно понимаю, предприятия шведской компании *Skanska*), с которой он сотрудничал и которую пару раз поминает в своих бумагах; предположим, это был тот толстенький, противноватенький молодой человек с зализанными волосами и маслянисто нафабранными усиками, торчком стоящими по сторонам круглых щечек, которого я вижу теперь на двух аргентинских фотографиях А.Н.В., где он и Владимир Граве стоят в окружении коллег, партнеров, начальников, подчиненных, с глупо, как на всех групповых фотографиях, застывшими лицами, вытаращенными в объектив глазами; предположим,

¹² Есть утопия в лазури, и даже – в сером небе. *Гийевик*

наконец, что они поехали сразу в гостиницу, забронированную для А.Н.В. все той же *Skanska Latin Amerika*, и что Владимир Граве воспользовался, наконец, приглашением Александра Воско поехать и поселиться вместе с ним, по прибытии на твердую и не тронутую войной землю уже не считая своим долгом оставаться с товарищами по несчастью и бегству. Все это представить себе нетрудно; труднее вообразить себе их поездку в такси по Буэнос-Айресу 1950 года, по Avenue Comodoro Py, Avenue del Libertador, Avenue Independencia и так далее, и так далее, по всем этим парадным проспектам, или не очень парадным проспектам, этим улицам, напоминавшим, конечно, Европу и, значит, лишенным той экзотики, на которую втайне, может быть, рассчитывали они, но все же по улицам, которые казались им, от усталости и возбуждения, и как это вообще часто бывает в незнакомых чужих городах, бесконечными, бесконечно сменяющимися друг друга, со всеми их домами, витринами, фронтонами, колоннами, портиками, всем их колониальным и ложноклассическим стилем, всеми их парками, пальмами, памятниками местным героям, конными и не конными статуями, торжественными правительственными зданиями, всеми их церквами и колокольнями, их особняками, их какими-то, непонятно к чему относящимися стенами, трамвайными рельсами, на которых подсакивало такси, и самими трамваями, убежавшими неизвестно куда, оглушительным закатом в глубине раскрывшейся перспективы. Игры ума, утехи воображения... Доподлинно известно мне только, что Владимир Граве уже через несколько дней работал все в той же *Skanska Latin Amerika*, куда, следовательно, А.Н.В. помог ему устроиться, что вскорости снял квартиру, где прожил до самой смерти – в Belgrano, на севере города, совсем неподалеку от располагавшейся в ту пору на Calle Amenabar редакции русской монархической газеты «Наша страна», которую он, наверно, читал, на которую был подписан. Вообще и удивительным образом, жизнь Владимира Граве в стране его убежища и покоя складывалась поначалу несравненно удачнее, чем у сразу столкнувшегося с новыми трудностями А.Н.В.; не только сделал он отменную карьеру в своей строительной фирме, проектируя мосты, вокзалы, заводы, через пару лет превратившись в начальника над другими инженерами, неизменно его любившими,

приходившими к нему за советом и помощью, но и помимо всякой работы с поразившей А.Н.В. быстротой и легкостью нашел свое место в новом городе, новом мире, обзаведясь – и все более обрастая друзьями, делами, связями, партнерами по преферансу и шахматам. В русской церкви Святой Троицы на Avenida Brazil не пропускал он ни одной воскресной службы, вступил, если я правильно понимаю, в Союз святого Александра Невского (хотя в Русском корпусе на Балканах, конечно, не состоял, и на Балканах никогда вообще не был), в Русском клубе («Русской колонии») сделался завсегдатаем. С дипийцами дружил он по-прежнему; как мало кто из дипийцев, был принят и признан старыми эмигрантами, в Аргентине в ту пору по большей части яростно правыми, непримиримо монархическими, не мыслившими своей жизни без молебнов по мученически убиенной Царской Семье, каждое седьмое ноября отмечавшими «День русской скорби и непримиримости», как вполне официально он у них назывался. Замечательно, что Александр Николаевич Воскобойников, человек с эмигрантско-монархической точки зрения куда более несомненный и свой, приемлемый и понятный, участник, как-никак, похода Юденича на Петроград, бывший ливенец, никогда, к тому же, не живший в Совдепии, ничем себя не запятнавший, никак не скомпрометировавший, что Александр Николаевич не искал связей с этой средой, скорее избегал ее, в русскую церковь как лютеранин по крещению и скептик по характеру не ходил, балам, устроенным «Кают-компанией» бывших офицеров русского флота, или объединением бывших воспитанников Пажеского корпуса в Петербурге, предпочитал одинокие прогулки по Буэнос-Айресу, одинокие посиделки в кафе, в обществе своего блокнота и своих чертежей... Владимир Граве, думаю я теперь, тоже, наверное, не вполне разделял монархические убеждения своих новых друзей и приятелей; не в убеждениях было дело. В куда большей степени, чем Александр Воско, нуждался он, наверное, в людях, боялся остаться в одиночестве, без среды и поддержки, в чужой стране, в чужом мире. Женщина, с которой он вскоре (совсем вскоре; он был знаком с ней, как выяснилось, к очередному изумлению А.Н.В., еще по мюнхенским лагерям, ездил вместе с ней на озера; она прибыла в Буэнос-Айрес то ли предыдущим, то ли следующим транспортом) поселился вместе в Belgrano, на которой, но вот что удивительно, лишь

после получения известия о страшной смерти своей первой жены и дочери, в конце концов и женился, была, как и он, дипийка, украинка, вырванная войной из родного Конотопа, или родных Прилук, варившая, наверное, отменный борщ с пампушками, да и галушки делать небось мастерица; на единственной ее фотографии, которую довелось мне видеть, она одета, по случаю, как гласит подпись, русского костюмированного бала, устроенного Объединением бывших институток, во что-то карменообразное и роковое – алая роза, черная шаль, – смешно и трогательно не подходящее к ее пухлым ручкам и наивному, простому лицу.

Строительство задуманного Александром Воско небоскреба сперва все откладывалось, наконец, вообще сорвалось; причины были то ли политические, то ли финансовые; в его бумагах об этом сведений нет; зато совершенно ясно становится, при взгляде на сохранившиеся чертежи и на фотографии современного Буэнос-Айреса, что его идеи использованы были впоследствии, в восьмидесятых, в девяностых годах. Ему, однако, и в голову не приходило не солоно хлебавши уехать обратно в Европу. Я не совсем понимаю теперь, на какие деньги он жил и что делал в Буэнос-Айресе первые полгода, из его бумаг этого не видно, видно только, что ему нравился город, нравилось даже свое одиночество в этом городе, одиночество, впрочем, весьма относительное, потому и переносимое, или так это мне представляется, что рядом с ним снова был человек ему близкий, знавший его с самого детства, видно также, что в свою неудачу с небоскребом он не верил (он так и пишет: *ich glaubte nicht daran*), скорее верил, что полоса неудач закончилась, полоса удач началась. Одно из самых интересных для меня мест в его записях – рассуждение о плавных переходах, которые наблюдает он в жизни. Переходы текучи, иногда почти незаметны, пишет он; то, что должно начаться, начинается за сколько-то времени до своего действительного начала; то, что уже закончилось, еще делает вид, что длится; и будущее, и прошлое отзываются в настоящем. Если бы мы слышали эти отзвуки, видели эти знаки; как правило, мы их не видим, не слышим... Он же словно прислушивался к чему-то – или так я это представляю себе теперь, – блуждая по бесконечному Буэнос-Айресу с фотоаппаратом в руках и в том состоянии как бы

музыкальной созерцательности, которое вообще бывало ему (в его лучшие дни) присуще и в котором отдельные впечатления – камни, тени, решетки на окнах и решетки на тротуарах вокруг деревьев, с их стрелчатými узорами, и чугунные водопроводные люки с их всегда загадочными надписями, абракадаброй аббревиатур, и рекламные столбы, и прохожие в шляпах, и бег дождя по трамвайным рельсам, и стальной блеск брусчатки – в котором все это складывается в некое целое, изменчивое, подвижное и, следовательно, незаконченное (потому что ведь и жизнь еще не закончилась), но все же и завершенное (потому что совершенное), всеохватное, необъяснимо-осмысленное..., и после всех блужданий заходил, понятное дело, в кафе, в одно из тех кафе, каких много должно быть в этом бесконечном городе, или так я их себе представляю, в одно из этих темных и прокуренных кафе, с темной кожаной потертой мебелью, диванами, креслами, стульями, темной лакированной деревянной обшивкой стен, большими, темными, с патиной, зеркалами, и, конечно же, под потолком в темных балках, большими, медленно и невозмутимо, почти торжественно вертящимися вентиляторами, в поскрипывании которых тоже есть какая-то особенная, успокоительно-отрадная музыка. Он написал за эти первые полгода в Аргентине несколько важнейших своих статей, как уже говорилось; писал их по большей части именно в этих явно ему полюбившихся буэнос-айресских кафе, что очень ясно видно теперь по черновым наброскам, найденным мною в аргентинских, непривычных для европейского глаза, длинных и узких блокнотах, по ходу писания, или отвлекаясь от него, быстрыми резкими штрихами (эти рисунки скоро будут, наконец, опубликованы, сообщил мне позавчера в электронном письме Pierre Vosco) зарисовывая лица посетителей, детали интерьера, зеркала, окна, и вновь, и вновь вентиляторы, сводя их к геометрическим формам, кругам, прямоугольникам и крестам, затем принимаясь рисовать многогранники, тетраэдры, октаэдры, тщательно, как-то почти нежно заштриховывая отдельные грани. Когда я читаю теперь эти знаменитые статьи пятидесятого года, все, кстати, написанные по-французски – «Соблазн простых форм» (*La tentation des formes simples*); «Чистая архитектура» (*L'architecture pure*); *Le canon disparu*, что хочется перевести как «Крушение канона» – меня поражают в них, пожалуй, две вещи. Он пишет

так, как если бы уже был звездой, или, скажем, так, как если бы ему было неважно, или не очень важно, построит ли он все то, что ему еще предстояло построить, или не построит больше вообще ничего, как если бы, скажем иначе, его ранг и место в истории архитектуры определялись не его осуществленными проектами, воплотившимися идеями и не степенью его известности, широтой его славы, но чем-то совсем иным, что он чувствовал и сознавал в себе, или носителем, или орудием чего он сам себя чувствовал, сознавал. Он пишет как власть имеющий, иными словами; не удивительно, что он и не публиковал эти в пятидесятом году написанные статьи до начала шестидесятых, когда на гребне славы возвратился в Европу. С этим же связана их, статей, другая особенность, меня теперь поражающая. Он пишет в них не вообще об архитектуре, как писал, скажем, в известном манифесте тридцатого года, упомянутом выше, как писал потом в разных статьях и говорил в разных лекциях, ныне тоже опубликованных, но он пишет о себе и архитектуре, о своих задачах и замыслах, своих первых архитектурных впечатлениях и встречах, пишет так, вновь скажем иными словами, как будто в этих французских статьях уже начал, сам того не зная, писать те воспоминания, которые продолжил впоследствии по-русски и по-немецки, и начал их не с детства и юности, Риги и Гражданской войны, но начал их со своих первых поездок в Германию в двадцатые годы, со своего знакомства с Мисом ван дер Роэ, с Бруно Таутом, своего посещения Баухауза и поездки в Мюнхен на поклон (он именно так выражается) Теодору Фишеру, одному из героев (именно так выражается он) его архитектурной молодости. Не сомневаюсь все же, что это обращение к прошлому как-то связано с Владимиром Граве, с тем, что прошлое само к нему обратилось, к нему возвратилось, что рядом был теперь с детства знакомый, с детства любимый им человек и можно было, наблуждавшись по городу, насидевшись в кафе, зайти в его, Владимира Граве, всегда открытый и какой-то сразу уютный дом, созданный его новой женою, еще не женою, выпить с ним по рюмке водки, съесть тарелку украинских галушек, русских пельменей, ему тоже, в конце концов, рассказать о своих первых поездках в Берлин, Дессау и Мюнхен, для Владимира Граве тогда, в двадцатые годы, уже и еще недоступных, вполне легендарных.

А я и сам был скромный юноша из далекой балтийской провинции, пишет Александр Воско в одной из своих статей; я имел счастье присутствовать при знаменитых спорах Миса ван дер Роэ с Гуго Герингом, деливших мастерскую в Берлине; я стоял, вернее сидел на табурете, в сторонке, даже не помышляя о том, чтобы вмешаться, сказать свое слово. Мис и Геринг казались мне антиподами, противоположными полюсами архитектуры, Мис – рационалист, Геринг – мистик, Мис – классик, Геринг – романтик, Мис абстрактен, его здания можно использовать как угодно, университет превратить в церковь, жилой дом в театр, Геринг всегда конкретен, то небольшое, что он успел и сумел построить, неотделимо от своей функции, своего окруженья. Конечно, это не так. Конечно, и в Мисе был романтик, даже мистик, и Геринг мог быть сколь угодно рационален. Архитектору необходимо и то, и другое, он должен соединить в себе оба эти начала, точно так же, как сама его профессия сочетает в себе расчет и фантазию, точные знания и видение художника (*vision d'artiste*). Все же преобладает в одном одно и другое в другом, потому Мис и Геринг, дружившие и спорившие друг с другом, воплощали для меня какую-то самую важную противоположность, и я готов был слушать споры их бесконечно. Геринг говорил много и, увы, не без пафоса, Мис был скуп на слова, флегматичен, иногда ироничен, бывало, что и язвителен. Мис потом уехал в Америку и стал мировой знаменитостью, Геринг остался в Германии, но вел себя, насколько я знаю, достойно. Только вот построить почти ничего не сумел... Я тоже остался под немцами, и тоже вел себя, смею думать, достойно. До всего этого еще было тогда далеко, еще мы жили, скорее, воспоминаниями о предшествующих катастрофах, хотя и они уже от нас отдалялись. Хорошо помню, как Мис осознал вдруг, что я – белый; ухмыляясь и пыхая своей неизменной огромной сигарой, спросил меня, как мне нравится его памятник Карлу Либкнехту, Розе Люксембург и другим героям *нашей революции*, *unserer Revolution*. Я ответил, что памятник отличный, образец монументальной абстракции, вот только красную звезду с серпом и молотом напрасно он к нему присобачил, по красным звездам я привык палить из ружья. На наши отношения это никак не повлияло, в двадцать шестом году речь шла уже о чем-то другом (все-таки забавно было после этих разговоров и встреч

идти на собрание бывших бойцов балтийских «свободных корпусов», злоумышлявших против республики; впрочем, общество левых архитекторов в то время уже было для меня интереснее). А с другой стороны, в архитектуре, казалось мне, продолжается та же борьба, которую еще так недавно вел я с винтовкой в руках, только не совсем понятно было, где же проходит фронт, кто с кем, кто против кого. Здесь не в политике было дело, или только отчасти, каким-то косвенным, очень косвенным образом... Попробую сказать это совсем просто (*tout simplement*), пишет Александр Воско. Архитектура, пишет он, по своей природе утопична, хотим мы этого или не хотим, сознаем мы это или не сознаем. Мы не дома лишь строим, не только школы, или вокзалы, или музеи, или что бы ни строили мы, но мы всякий раз, сознавая это или не сознавая, воплощаем еще и свое видение (*vision*) лучшего мира, идеального города, предлагаем человечеству свой скромный проект переустройства его слишком, увы, несовершенного бытия. Архитекторы, пишет он, всегда, на свой лад, пусть немножко, но тоже устроители всеобщего счастья... А я ведь воевал с устроителями, я ненавидел утопию и боролся с ней, я слишком хорошо знал, какой ценой она покупается, слишком хорошо помнил замерзшие трупы на шоссе под Митавой. И никакого пафоса нового мира во мне, разумеется, не было, мне новый мир не нравился, я жалел старый, при всех его слишком очевидных изъянах. Мне дорог был и рижский югендстиль, которым я восхищался с детства, среди которого вырос, и даже так называемый историзм, которым столь сильно злоупотребляли в конце прошлого века. Еще в студенческие годы вместе с моим незабвенным учителем профессором Пирангом (*Heinz Pirang*) объезжал я господские имения и замки, делая фотографии для его книги *Das baltische Herrenhaus*, замечательного, в трех томах, описания всех замков, всех усадеб Лифляндии и Курляндии (высокий акт ностальгии, подвиг тоски по прошлому). Все же я понимал, что строить теперь надо иначе, что тот мир закончился, и нужен какой-то новый. Да, но какой же? Не такой, какой *они* строили... Мне хотелось, чтобы *мой новый мир* не порывал со старым и чтобы он гармонировал с тем неопределимым и самым важным (*cette chose indéfinissable et la plus importante*), что мы называем природой. Мне очень не по душе был, иными словами, безоглядный и беспощадный разрыв с прошлым, который

пропагандировали в то время столь многие. Конечно, прав Фрэнк Ллойд Райт, когда пишет теперь о тоталитаризме так называемого интернационального стиля... А все-таки архитектура по природе своей утопична, скажу еще раз, так что вчуже я понимал, или хоть старался понять, почему архитекторы, столь многие, и не худшие, оказались по левую сторону баррикады. Было что-то и для меня привлекательное в их радикальных идеях, при всем моем отвращении к новому миру, не знающему о прошлом, анонимному миру, серийному производству. Есть соблазн чистых форм, пишет Александр Воско в одноименной статье, есть острый и отчетливо сознаваемый мною соблазн в самой возможности свести что-то сложное к чему-то очень простому, к геометрическим конструкциям, кубам, конусам и цилиндрам, отбросить все излишества, все украшения, начать сначала, посмотреть правде в глаза. Природу этого соблазна понять, на мой взгляд, не трудно. Отчетливая структура рождает в нас ощущение порядка, значит и смысла. Мы же и обречены искать некий смысл всю нашу жизнь, во всей нашей жизни (*toute notre vie et dans toute notre vie*). А все же мне казалось, хоть я и не вмешивался в Мисовы споры с Герингом, что это лишь этап на пути приближения к искомому, лишь момент в постижении истины. Все-таки структуры жизни сложнее, узоры ее причудливее... Хорошо помню, как думал об этом, возвращаясь вечером в свой пансион где-то возле вокзала Zoo, глядя на поезд городской железной дороги, вылетающий на замечательную, всю в заклепках, старую эстакаду, грохочущий и почему-то шипящий среди повернутых к нему прокопченными спинами, как будто брошенных, уже словно знающих, что скоро станут развалинами, домов, под очень широким, очень серым, над эстакадою распахнутым небом... Вновь и вновь, в течение жизни, мы вынуждены бываем признать, что жизнь умнее нас, что она смеется, может быть, над нашим убогим умишком, что в ней действуют законы и силы, о которых мы только догадываемся, что все устроено как-то совсем иначе, не так, как мы думаем убогим умишком нашим. А если все устроено не так, как мы думаем, то и строить надо как-то иначе, пишет Александр Воско (в пятидесятом году, через сколько-то недель и месяцев после встречи на пароходе); как же? вот в чем вопрос. На этот вопрос ответа, конечно, нет, и мы дальше от него, чем когда-нибудь. На этот

вопрос ответ нужно каждый раз искать заново, следовательно, и архитектура каждый раз начинается заново. Каждый новый проект и каждое новое здание – это новое рождение архитектуры, пишет Александр Воско. Еще недавно было не так. Еще недавно существовал канон, от которого мы отказались и который предлагал готовые рецепты организации пространства, устройства жизни. Ионические колонны и дорический ордер сами по себе доносят до нас некий смысл, некий способ преодоления бессмысленности, некий способ победы над хаосом, давно испробованный, если угодно, беспрюирышный. Классическая архитектура не так уж часто бывает очень хорошей, но очень редко бывает совсем плохой. Не нужно быть гением, чтобы с помощью колонн, фронтонов и портиков смастерить что-то, по крайней мере, приличное. Ни дорический, ни коринфский ордер так запросто не испортишь. Современная архитектура бывает очень хорошей, но гораздо чаще бывает чудовищной, бывает катастрофой и несчастьем для общества. Мы теперь предоставлены самим себе, и помощи нам ждать не от кого, ни Витрувий, ни Альберти нас уже не спасут. Архитектура начинается заново, но смиренно помнит о прошлом. Смирение и дерзость – вот ее важнейшие свойства. Дерзость и простота пространственных решений – и смиренное сознание сложности мира, вот важнейшие ее составляющие. В конце концов, наши лучшие решения, после всех трудов и усилий, приходят к нам сами, как если бы кто-то, снисходительно улыбаясь, их подсказывал нам в отплату за наши усилия и труды. И честное слово, я предпочел бы не сидеть здесь, в этом кафе, каким бы ни было оно замечательным, но уже получить, наконец, достойный меня заказ, в отплату за все мое терпение, все ожидание... Этой последней фразы ни в одной из статей Александра Воско, разумеется, нет. Наверно, он думал так, отрываясь от узкого аргентинского блокнота, глядя на меланхолически вращавшиеся в табачном дыму и под потолком вентиляторы, на длинные ряды бутылок за спиной у смуглого, с усиками, бармена в белой, с подозрительными пятнами, курточке.

Глава 12

... my steps repeat
Someone's who now has left such strands for good
Carrying his boots and paddling like a child,
A square black figure whom the horizon understood...
*Louis MacNeice*¹³

Мост в Рио-Давиа нужен был потому, что найдена была нефть (просто нефть, никакая не сланцевая). Поэтому же нужен был новый порт, в который могли бы заходить танкеры, порт рядом со скважинами и тоже новым, в ту пору, кажется, еще не достроенным заводом, где нефть предполагалось, прямо на месте, превращать в бензин, керосин, смазочные масла и другие прекрасные вещи, а наличие гавани, скважин, заводов, смазочных масел, термического крекинга и других прекрасных вещей обеспечило город деньгами, позволившими (Александру Николаевичу Воскобойникову) построить вокзал, университет, музей, стадион и, в сущности, сам этот город, до той поры являвший собою бессмысленное скопление домов, домиков и домишек, разбить в нем парки, проложить по нему проспекты. Нефтяные скважины (пишет А.Н.В.) расположены прямо против города, на полуострове, узкой, песчано-скалистой, почти без растительности, косою – никакая растительность не выживет на этом ветру – далеко выдающейся в океан; город же, тогда еще: городок, укрыт от ветра тоже скалистой, с редкими соснами, горкой. Коса начинается примерно за пятьдесят километров к северу; залив слишком мелок, чтобы танкеры могли заходить в него. Было два варианта развития региона (пишет А.Н.В. чужим оловянным языком): углубить залив и перенести порт, а с ним и город, на север, или связать все это, порт, город, скважины и заводы – мостом. Первый вариант был слишком дорог и неудобен; на наше счастье (переходим на свой язык) правительство (как раз национализировавшее нефть и прочие прелести бытия) предпочло все-таки – мост. К тому времени уже существовали мосты более длинные (George Washington Bridge, Golden Gate Bridge...); нигде еще не строили, кажется, на таком сумасшедшем ветру. Это был, насколько я знаю, единственный проект, который А.Н.В. и Владимир Граве разработали вместе; все

¹³ Мои шаги повторяют шаги кого-то, кто навсегда покинул такие пляжи, несущего ботинки и шлепающего по воде, как ребенок, - широкая черная фигура, понятая горизонтом... *Луис Мак-Нис*

остальное А.Н.В. уже строил один в Рио-Давиа, сотрудничая с другими инженерами, чаще всего, похоже, с уже упомянутым выше Пабло Гассманом, с которым строил вместе и в поздние годы, в Европе, в Японии; Владимир же Граве занимался в Буэнос-Айресе другими проектами, другими постройками. С чем это связано, я не знаю; возможно с тем, что Граве оставался сотрудником, в скором времени – ведущим сотрудником, Skanska Latin America, а подряды в Рио-Давиа получали какие-то другие фирмы (но я не знаю, опять-таки, почему). Зато их единственный совместный проект был если и не самым значительным проектом, осуществленным А.Н.В. в Аргентине, таковым был, конечно, вообще Рио-Давиа, все вместе, и проспекты, и парки, и стадион, и музей, то, во всяком случае, самым заметным, точно – самым дорогим из всего этого, началом его славы, основой его успеха. Мост только начали строить, а уже писали о нем во всех аргентинских, вообще, кажется, во всех латиноамериканских газетах; чем дольше строили (лет шесть в общей сложности), тем больше писали. Не берусь, конечно, сказать что-то внятное о технических проблемах, которые им пришлось решать, удалось решить; мост, во всяком случае, выглядит на фотографиях не вполне правдоподобным, если угодно – вполне фантастическим сооружением, куда-то в небо улетающим на пилонах, одновременно наклонным и вогнутым, так что не совсем понятно, почему машины не падают в море, и поезда, идущие по верхней эстакаде, не сходят с рельсов и не валятся туда же вместе с машинами. Машины, однако, не падают, поезда с рельсов не сходят, но чудесным образом все это держится, настолько, видно, чудесным, что А.Н.В. еще до окончания работ пришлось построить смотровую стеклянную вышку для осаждавших стройку туристов, – вышку, которая сама, в своей прозрачной простоте и какой-то иронической строгости, давным-давно попала в учебники, на необходимость построить которую он все-таки, если верить рассказам его сына, иногда жаловался, слишком-де решительно вторгается она в им продуманный, мостом, пилонами, вантами организованный и преображенный пейзаж.

Ничего этого, понятное дело, еще не было, когда Александр Воскобойников оказался в первый раз в Рио-Давиа. Он поехал туда один, без Владимира, на поезде, сразу же, как

только он сел в него, напомнившим ему те поезда, на которых в детстве ездил он с отцом по России. Еще ходили тогда паровозы на юг. И паровоз этот был черный, пыхтевший, весь в масляных каплях, классический паровоз с тендером, каких он давненько уже не видал (так он пишет; по-русски). Конечно, с отцом, статским генералом, ездил он первым классом, в спальнях вагонов, а бывало, что и в особенном инспекторском вагоне; здесь никаких классов вообще, мне почему-то кажется, не было; и был только общий, с удалением от Буэнос-Айреса, продвижением на юг все пустевший и пустевший вагон – до Рио-Давиа доехало человека четыре, – но все же это был такой же поезд, тот же поезд, перенесенный в Аргентину пятидесятого (или уже пятьдесят первого) года из России одиннадцатого, России двенадцатого, так же, совершенно по-русски, раскачивавшийся на рельсах, стучавший на стыках, пыхтевший, никуда не спешивший. Стоял затхлый запах табака, пота и пыли, вьвшейся в когда-то бархатную, до дыр протертую обивку повернутых друг к другу сидений, как если бы этот вагон и не проветривали года с одиннадцатого, хотя окна были распахнуты, или так я это представляю себе, и паровозный грохот, и запах гари, угля и дыма врываются внутрь, смешиваясь с гортанными голосами и криками редевших попутчиков, запахом пыли, пота и табака. Чем дальше уезжал он от Буэнос-Айреса, тем пустынное и шире становился ландшафт, впускаявший его в себя, раскрывавшийся перед ним. Появились – в самом деле, появились – первые гаучо, в окне и в вагоне. В окне они были на лошадях, махали поезду, удалялись от него и приближались к нему. Гаучоподобные персонажи в вагоне (кинжал за поясом, шейный платок...) смотрели на А.Н.В. с недоверчивым любопытством, оборачивались к нему, прежде чем сойти на каком-нибудь пыльном полустанке, посреди ничего, посреди, вот уж поистине, пампы (mitten in der Pampa, пишет он, пользуясь расхожим немецким выраженьицем для всякой пустынной местности...), оборачивались так, как будто ожидали, не сойдет ли и он на этом полустанке, посреди этой пампы, чтобы потребовать у него ответа, кто он такой и какого черта здесь оказался. А он этого уже и сам не знал, может быть... Поезд вдруг остановился, тоже посреди ничего, и старенький, почтенно скромный, с седенькими бачками, тоже и в свою очередь каких-то персонажей детства напомнивший проводник

принялся развозить обед на катящемся столике, застенчиво трясущуюся рукою накладывая в алюминиевые тарелки одно-единственное имевшееся у него остро-фасолевое блюдо, за пару песо выдаваемое пассажирам вместе с бутылкой пива или стаканом мате, той же и так же трясущуюся рукою наливаемого из чайника; когда процедура закончилась, поезд сразу же дернулся, тронулся. Опять пошла пампа, редкий кустарник, редкие группы деревьев, как будто случайно сюда забредших, облака и тени облаков, бегущие по холмам, покой большого (очень большого), пустого (почти пустого) пространства, столь памятный ему по тем русским поездкам с отцом, памятный и по курляндскому его детству; глядя на гаучо, иногда, по-прежнему и в самом деле, или так я это представляю себе, скакавших куда-то по косогору, отстававших от поезда, подумал он, думаю я, как давно он не думал о дедушке Фитингофе, учившем его когда-то ездить верхом, во дворе своего имения под Газенпотом, куда он приезжал в детстве, с матерью и без нее, с сестрой и один, и где тоже было, конечно, это плоское, пустое пространство, нет, не очень похожее на аргентинскую пампу, глядя в окно, думал он, думаю я, но все же плоское и пустое, с редкими одинокими хуторами, перелесками и небом над ними, и дедушка Фитингоф, считавший все это, все, что было видно вокруг, своей богоданною вотчиной (окончательно потерявший три четверти, пять шестых, кто теперь подсчитает, семь восьмых всего этого во время земельной реформы 1921 года, за два года до смерти), дедушка Фитингоф, в том, опять же, одиннадцатом или двенадцатом году, когда внук гостил у него в имении, семидесятилетний, еще очень стройный и бодрый старик, в свое, уже легендарное время воевавший в Туркестане и на Балканах, карьеры, впрочем, не сделавший, к ней даже и не стремившийся, скорее стремившийся никогда не выезжать из родного имения, как никогда не выезжала из этого курляндского имения его мать, тоже и уже окончательно легендарная прабабушка А.Н.В., знаменитая наездница и охотница, любительница шнапса и табака, этот семидесятилетний барон Фитингоф, сидевший в седле как юноша и до самой старости сохранявший что-то детски-капризное в складке губ, что-то мальчишески-бесшабашное во всем своем облике и поведении, в комическое, бывало, отчаяние впадал от неловкости внука, в те свои одиннадцать, скажем, лет еще худого и не широкого, просто

длинного и нескладного, вытянувшегося вверх, как иногда вытягиваются подростки, вдруг, ненадолго, длинноногие, длиннорукие, не знающие, что делать с этими руками, ногами. Все-таки они выезжали со двора, выезжали из парка. Где-то далеко синел лес, земля летела из-под копыт, горели щеки, гудел ветер в ушах, и только проехав тот дальний лес, проехав еще один, проехав пасеку, проехав пасторский домик и церковь, и за церковью еще какие-то домики, проскакав полями, выехав, уже на полпути к Гольдингену, к большому, тихому, за ивняком и осинами черноводному озеру, с полусгнившими мостками и полузатопленной лодкой у этих мостков, смиряли бег, переходили на шаг, и обратно уже ехали медленно, каждый думая о чем-то своем, и когда подъезжали, уже вечером, к замку с его псевдоготическими зубцами и двумя башенками по краям, этот замок, за деревьями парка, под уже разрисованным, в закатных полосах, небом, светился таким мягким светом из окон, каким потом не светился уже ни один дом, никогда, и очень хотелось есть, но еще больше хотелось сидеть где-нибудь в уголку, в библиотеке или в гостиной, рисуя или срисовывая что-нибудь, как он это делал в свои одиннадцать и двенадцать лет постоянно, на всех клочках и бумажках, об архитектуре еще, пожалуй, не помышляя, одержимый графической страстью. А все же, глядя в окно на проплывавшую мимо пампу, думал он, думаю я, без этих гиппических упражнений не сдобровать бы ему в ландесвере, да и не убежал бы он из Берлина в Либаву, если бы дедушкина кровь не говорила в нем, не звала и не пела.

Не очень даже и удивительно, после всех этих отзвуков прошлого, что бургомистр (intendente) Рио-Давиа, с которым встретился он на другой день по приезде в насквозь пропахшем мате и сигарами кабинете последнего с неизбежными, или так я это представляю себе, портретами лунноликого Перона и великолепной Эвиты, что этот сухой и очень немолодой intendente оказался похож – причем одновременно – на них обоих, на отца и на дедушку (при том, что отец и дедушка друг на друга нисколько не походили; или он не видел при их жизни этого сходства?), то есть напомнил ему выправкой и складкой губ – дедушку, а всем остальным, всем обликом, выражением глаз, изгибом носа и разлетом бровей – отца; так сладко и больно напомнил ему, в самом деле, к тому времени

уже лет пятнадцать покойного отца, Николая Тимофеевича Воскобойникова, и он так был занят и поражен этим сходством во все продолжение своей первой встречи с *intendente* (бургомистром), что почти не мог сосредоточиться на пресловутом мосте и потому почти был уверен, возвращаясь вечером в единственную тогда в Рио-Давиа, с гигиенической точки зрения весьма и весьма сомнительную гостиницу, что и этот заказ от него ускользнет, ему не достанется. Было так или не было, я, во всяком случае, когда смотрю теперь на фотографии этого бургомистра, которого А.Н.В. в своих записях, на каком бы языке ни писал он, всякий раз называет просто *intendente*, так что я лишь совсем недавно, связавшись по электронной почте с архивом городской рио-давской управы, сумел, наконец, узнать его имя – Dr. Alberto Belongo – и которому А.Н.В., как сам он пишет, обязан всей своей славой, поскольку, начиная с моста и продолжая музеем, в течение последующих семи лет, до самой своей смерти, этот, судя по фотографиям, задумчиво-решительный господин с седой эспаньолкой и меланхолически-отстраненными глазами, спрятанными под не без лихости заломленной линией густых, не седых бровей, принимал, ни с кем особенно не советуясь, и с непреклонной, мягкой, насмешливой настойчивостью проводил сквозь все, городские ли, государственные комиссии отчасти, с точки зрения этих комиссий, безумные предложения А.Н.В., так что тот мог строить, что ему вздумается, построить, в конце концов, город, о котором мечтал и который в современных историях архитектуры почти всегда рассматривается (не могу не упомянуть об этой, теперь уже, в общем, банальности...) как некая, в несопоставимо более скромных масштабах, конечно, но все же как некая альтернатива к возникавшей как раз в эти годы нимейеровской Бразилии, столице Бразилии..., когда я смотрю на эти фотографии, вернемся к началу, меня тоже поражает и восхищает – фраппирует, как выразился бы, надо полагать, Pierre Vosco – несомненное, и не только внешнее, наверное, сходство этого человека, столь поздно появившегося в жизни А.Н.В. и столь значительную роль сыгравшего в ней, с по видимости никакой особенной роли в жизни своего сына не сыгравшим Н.Т. Воскобойниковым, уроженцем города Нижний Ломов, до революции инспектором остзейских железных дорог, если так, в самом деле, называлась его

должность, и фактическим начальником железнодорожного сообщения в Латвийской республике двадцатых, начала тридцатых. Есть замечательная фотография середины двадцатых, в свое время по электронной почте присланная мне Пьером Воско, на которой его дедушка, Н.Т. Воскобойников, запечатлен на замечательном тоже передвижном устройстве, которое я не знаю как называется – помесь дрезины с велосипедом, железнодорожный велосипед или, скажем, велодрезина, рассчитанная на четырех пассажиров и путешественников, двое из которых, сидящие по бокам, крутят педали, а сидящие друг за другом посередине ничего не крутят, просто сидят и едут, причем передний – Николай, в данном случае, Тимофеевич Воскобойников – тоже, как и по бокам сидящие, держится за некое подобие руля, хотя рулить, разумеется, нечем, фантастическое устройство катит и катит себе по рельсам. Н.Т. Воскобойников и держится за этот руль совсем не так, как держатся за руль его попутчики. Те как будто и вправду рулят, с сосредоточенными и серьезными лицами, один в городском костюме, в шляпе и галстук, другой в плаще и рабочей фуражке. Н.Т. Воскобойников, начальник над ними всеми и над всей железной дорогой, тоже в шляпе, в тяжелом двубортном пальто, с отчетливо проступающим кашне, большой и широкий, как его сын и внук, едва ли не грузный, с большим, широким, отстраненным и веселым лицом, отрешенно-смеющимися глазами, так держится одной рукой за этот руль, почти не касаясь его, другой за еще какую-то вертикальную, с загогулиной наверху, на снимке не разберешь, железяку, как если бы эта железяка была вовсе не железякой и деталью велодрезины, а щегольской, легкой, львиноголовой тросточкой, и сам он не инспектировал состояние латвийских железных дорог, а прогуливался где-нибудь в Баден-Бадене по курпарку, поглядывая на дам и предвкушая вечернюю игру в казино. С таким же видом фланера, не имеющего и не желающего иметь никакого отношения к происходящему вокруг него, стоит *intendente* Belongo на разысканных или в Лангедоке переснятых мной фотографиях, перед только что построенным А.Н.В. стеклянным зданием рио-давской университетской библиотеки, перед новой и тоже построенной А.Н.В. городской управою в окружении таращащих глаза подчиненных, но стоит при этом так прямо, со столь очевидно военною выправкою, и

ботинки его начищены до такого, даже старой фотографией сохраненного блеска, и штатский пиджак застегнут так высоко, как в наше время никакие пиджаки не застегиваются – едва виден галстук, – что пиджак этот кажется кителем, и весь облик говорит о полковых каких-то преданиях, семейных каких-то легендах, о тяжелорамных, где-то еще висящих, темных портретах темных, но славных предков, вместе с Сан-Мартином переходивших, наверное, через Анды и вместе с де Уркисой свергавших, может быть, тирана де Росаса... На другой фотографии, переснятой мною в Лангедоке и, хочется верить, сделанной уже (она скоро появится в его жизни) Марией, я вижу их обоих, А.Н.В. и *intendente*, верхами, в чем-то очень торжественном и черном, с галунами, чуть ли не газырями, в круглых, черных и торжественных шляпах, с серебряными блямбами на широких поясах, причем старик *intendente* явно прямой и увереннее держится в седле, чем его придворный архитектор (как в шутку и не совсем в шутку, по свидетельству самого А.Н.В, называл он своего спутника). Вряд ли, конечно, их первый совместный выезд (*gemeinsamer Ritt*, как, в свою очередь, в шутку и не совсем в шутку выражается А.Н.В.) состоялся уже на следующий день; я знаю, однако, что на этот следующий день, второй день по приезде, А.Н.В. именно верхом на лошади и, по-видимому, один, объехал окрестности, проехал вдоль всего залива по берегу, и долго-долго, прячась от ветра за дюнами, ехал по каменисто-песчаной косе с ее, на дальней оконечности, нефтяными вышками, горевшими факелами, бандитского вида охранниками, всякий раз спрашивавшими, потрагивая рукоятку кольца на поясе, зачем он сюда пожаловал, узнав же, что он архитектор, приехавший строить мост, тут же добревшими, предлагавшими ему стакан виски, чашку мате, кусок говядины, зажаренной только что. Он уже объяснялся в ту пору, или так я это представляю себе, на более или менее примитивном испанском; равнодушный и вечный ветер уносил слова его в сторону... Галька осыпалась под копытами; с гребня дюн открылся ему океан, в неистовых, в свою очередь, гребнях; вода в заливе бежала, наоборот, мелкими, бойкими волнами; казалась кремнистой; казалась порождением и продолжением лежавших вокруг камней. Он не садился в седло лет, наверное, тридцать, с Гражданской войны, с отступления от Петрограда; он уже не думал о

том, как сам пишет, хорошо ли, не хорошо ли, правильно или не правильно прошли эти долгие годы; просто радовался, что еще не совсем разучился ездить верхом; радовался этой езде, даже этому ветру, со всех сторон его окружавшему (так остро и чудно напоминавшему вечный ветер в Либаве); возвратившись на твердую землю и несмотря на уже почти оглушительную усталость – как если бы верховая езда воскресила в нем того мальчишку, за свой смутный идеал и против очень понятной неправды сражавшегося в отряде князя Ливена, в армии генерала Юденича; мальчишку, который не мог себе позволить подумать о том, устал он, например, или нет, – поднялся на один из окружающих Рио-Давиа, каменистых, как и все здесь, холмов, с отдельными валунами и редкими, от ветра пригнувшимися соснами, один из этих невысоких холмов (отделенных друг от друга глубокими, иногда даже очень глубокими балками), откуда видна была целиком вся округа, и городок, и залив, и море, и откуда он и Мария не раз фотографировали потом этот залив, этот город, мост, уже построенный, стеклянный университет в лесах, музей, окруженный подъемными кранами, будущие пруды центрального парка, зияющие посреди пустырей. Ничего этого, повторяю, еще не было в тот осенний вечер, в апреле 1951 года. Он спрыгнул на землю, и привязав смирную лошадку, выданную ему в городской управе, к розовой, как будто обнаженной ветке согнутой ветром сосны, лег навзничь, на сухую траву. Громадные, густо-синие, бирюзовые, уже вечерним золотом облитые облака проносились над ним, как льдины несутся, бывает, к устью большой реки, налетая друг на друга, подгоняя друг друга. Ему казалось, он уже давным-давно – никогда – не видел такого неба, морского и сумасшедшего. Ему было пятьдесят лет, он чувствовал себя молодым, он не хотел умирать.

Глава 13

Und nichts war verurteilt,
zu bleiben,
was es war –
damals, im raschen Wind.

И больше я ничего не знаю об этом первом приезде А.Н.В. в Рио-Давиа; знаю только, что в мае пятьдесят первого, то есть уже через месяц, когда подряд был получен, он появляется там вместе с Владимиром Граве, вскоре, впрочем, уехавшим обратно в Буэнос-Айрос, иногда наезжавшим; что когда всерьез начались расчеты, работы, А.Н.В., то ли уставший от разъездов, то ли уже подружившийся с *intendente*, уже понявший, что его строительная деятельность мостом не закончится, что она только, может быть, начинается, поселился в одном из тех плоских, с белеными мелом стенами, домиков, из которых, собственно, и состоял тогда городок, сняв в нем две, кажется, комнаты, с окнами, выходившими в тихое патио (фотографий не сохранилось). Что же до Марии, то она, как выясняется из ее писем чопорной и чадородной английской подруге, переснятых мной в Лангедоке, приехала в Рио-Давиа почти в одно время со своим будущим вторым мужем, то есть через целых пять лет после глупой гибели первого (на тихой улице, под случайной машиной), за эти пять лет так и не справившись со своим горем (или не справившись, может быть, с каким-то позднейшим *большим разочарованием*, *big disappointment*, намек на которое пару раз проскальзывает в ее переписке). Ей было все равно, куда ехать, так, во всяком случае, утверждает она в письмах к чадолюбивой подруге, звавшей ее в Европу, ей важно было уехать из Буэнос-Айреса, прочь от воспоминаний, от назойливых родственников, от братних друзей и четвероюродных кузенов, мечтающих утешить молодую вдову. В Европу все-таки она не поехала, предпочла край света, начало тьмы, запредельную глушь. Как именно попала она в Рио-Давиа? почему в Рио-Давиа? Существовала ли какая-то связь между ее семьей и, к примеру, семьей *intendente* Belongo? Ни из каких бумаг этого не видно; видно лишь некое сходство между этими семьями, те же имена в фамильных преданиях, Уркиса, Доминго Сармьенто. Ее дедушка по материнской линии, *du côté maternel*, в молодые годы успел еще поучаствовать в завоевании и освоении аргентинского юга, так называемом покорении пустыни (*Conquista del Desierto*), вполне гибельном,

¹⁴ И ничто не было обречено оставаться таким, каким было, - тогда, на быстром ветру. Райнер Малковски

конечно, для каких-то последних несчастных индейских племен, так что сюда от своей беды убегая она шла в каком-то смысле по следам и стопам этого обожаемого ею когда-то, в самом начале жизни, давно уже покойного дедушки, и это одна из тех немногих вещей, которые я вообще знаю об ее детстве, ее предыстории, причем знаю не со слов Вивианы, никакого, мне кажется, интереса не питающей к своему мифическому аргентинскому пращуру, но со слов Пьера Воско, рассказавшего мне о нем еще в нашу мюнхенскую встречу, прибавив, я помню, что отец его, бывало, говаривал, что это их предки привели их обоих в Рио-Давиа, и его, и Марию. Как бы то ни было, упоминаний об *intendente* в ее письмах я не нашел; возможно, они и знакомы не были, покуда Александр Воско их не познакомил друг с другом; *intendente*, покуда Александр Воско не познакомил их, лишь краем уха, может быть, слышал об этой загадочной преподавательнице английского и французского, вдруг и ни с того ни с сего появившейся в *его* городе, в незадолго до этого появления как раз основанном университете, еще ютившемся в каких-то случайных сельских домишках, в ожидании архитектурного шедевра, через два года созданного А.Н.В. Она тоже сняла, надо полагать, комнату или две в таком же плоском, бело- и мелостенном, с патио, доме, в каком снял свои комнаты Александр Воско, в полудне небыстрой ходьбы по каменистым и пыльным улицам от этого рио-давского университета, в ту начальную свою пору не слишком, похоже, отличавшегося от школы для переростков; отработывала свои часы; ни с кем не сближалась. Я вижу коллег и студентов, пишет она подруге в большом письме от десятого мая все того же 1951 года, это только коллеги, только студенты, я для них никто и они для меня никто. Я вряд ли долго смогу выдержать эту жизнь; а впрочем... неважно, *it does not really matter*. Если бы я могла спать... Жалобами на бессонницу полны ее письма; эта бессонница (моя знаменитая бессонница, *my famous insomnia*, как сама она выражается) будет преследовать ее еще долго. Моя знаменитая бессонница проявилась сегодня ночью во всей своей силе и красоте (*in all its beauty and strength*); я шучу с горя, а что мне еще остается... Я прихожу домой, пишет она все в том же письме, падаю на кровать и сразу же, на пятнадцать минут, засыпаю. А потом начинает темнеть, и выходить на улицу уже страшно. У меня есть, конечно, револьвер,

замечает она с той непосредственностью, с какой, наверное, только в Новом Свете говорят об оружии, но идти мне все равно некуда, да никуда и не хочется мне идти. Я перечитала всего Шатобриана, the whole of him, от *Atala* до *La vie de Rancé*, перечитала Стендаля, перечитала Томаса Гарди. Иногда я просто лежу и прислушиваюсь. Шумит ветер, здешний вечный ветер, лает собака. Голоса слышны с улицы, грубые голоса, пьяные голоса. Потом все смолкает, потом опять где-то лает собака. Время идет, было шесть часов вечера, вот, глядишь, уже девять. Мне тридцать лет; куда сгинула моя юность? Она исчезла, и я ни на что не надеюсь. Я, наверное, никогда уже не уеду отсюда, так и умру здесь. В следующем письме сообщается, что она начала ездить верхом, не сообщается, с кем, и что это подняло настроение. Как ты прекрасно помнишь, пишет она подруге, я больше всего люблю куда-нибудь, или не куда-нибудь, а вообще и просто так ехать, быстро ехать, на лошади ли, на машине (to ride a horse, to drive a car...). Машин здесь совсем мало; у моих соседей все-таки есть старый (чудесный, зеленый, с большой подножкой и шестью цилиндрами) пикап Dodge (образца, наверное, тридцать шестого года); я, кажется, совсем сбила их всех с панталыку (perplexed them all), когда почистила у него свечи (после чего он перестал чихать) и проехала по двору. Мне теперь позволяют на нем кататься. Когда я выезжаю на улицу, чумазые местные мальчишки прыгают прямо на подножку, и пытаются залезть в кузов, и чуть ли не на капот, так что всякий раз приходится мне останавливаться, сажать их в кабину. Только тени облаков бегут по траве вслед за нами, облако пыли, поднятое колесами, пытается за ними и за нами угнаться, людей уже нет, попадаются задумчивые коровы, одинокая хищная птица кружит над холмами, или просто висит в воздухе, с распростертыми крыльями, и вот так, думаешь, ехать бы и ехать куда-нибудь, с одного края света на другой его край, нигде не задерживаясь, обо всем забывая, без прошлого и без будущего, в непрерывном движении, в непреходящем покое. Потом думаешь, что все это вздор, начинаешь болтать с мальчишками, поворачиваешь обратно, возвращаешься в город.

Что же до обстоятельств ее знакомства с А.Н.В., то о них мне ничего не известно; Вивиана, в неохотный ответ на мои письма, сообщает, что, нет, ей никогда об этом не

рассказывали, и она не спрашивала, или забыла, и вообще, какое это теперь имеет значение? Познакомились и познакомились, на краю света, тысячу лет назад... В письмах же самой Марии он появляется внезапно, в начале 1952 года, без всяких объяснений, под неожиданно испанизированным именем Алехандро (Alejandro), как если бы она не знала, что делать с его русско-балтийским происхождением. Возможно, важнейшее письмо с рассказом об их знакомстве утрачено, или не возвращено Марии вместе со всеми другими, или положено Марией где-то отдельно, так что я проглядел его... Я думаю теперь, что они просто не могли не познакомиться в том месте и в то время, в которое и в котором судьба свела их. Они были два экзотических существа в далеком, диком, глухом городке – загадочная молодая вдова из богатой и знатной креольской семьи, почему-то зарывшаяся в глуши, и знаменитый архитектор, прямо, черт возьми, из Парижа. Он знаменитым еще не был в ту пору, и приехал из Парижа не прямо, но местным жителям, от *intendente* до рабочих на стройке, очень хотелось, наверное, чтобы так это было, а значит, так оно и было для них. Местные сплетницы сразу, наверное, и свели их друг с другом, подражая судьбе; наша дружба (*our friendship*), пишет она чуть позже, – главная городская сплетня (*the main gossip of the town*); не разочаровывать же человечество. Я провела выходные с Алехандро, сообщается 20 марта 1952, без всяких, еще раз, объяснений и комментариев, как если бы для чадолубивой английской подруги это уже само собой разумелось. *I spent the week-end with Alejandro...* Отныне – и наряду со знаменитой бессонницей – это лейтмотив ее писем. По-видимому, им все-таки трудно было встречаться в самом городишке, слишком католическом, слишком провинциальном. Они удирали оттуда, еще дальше и еще дальше на юг, прочь от чужих косых взглядов и мерзко сочувствующих усмешек, в окончательное никуда и безоглядное морское безлюдье. В письмах (поначалу, похоже, в шутку) появляется слово *эстансия*. Мы убежали на нашу эстансию... Каковая эстансия отлично видна на нескольких, в Лангедоке переснятых мной фотографиях. Это просто дом с террасой, с навесом на двух круглых столбиках, дом плоский и темный, совсем небольшой, укрытый от океанского ветра грядою все таких же, как, видимо, повсюду в той местности, темно-кремнистых холмов и низкими, как и повсюду там,

пригнувшимися к земле соснами; до ближайшего жилья километров десять; до Рио-Давиа километров, наверное, пятьдесят. Им казалось, что южнее нету уже ничего, южнее уже Антарктида. Это было, конечно, не так, но почему-то их веселила, почему-то даже утешала их эта мысль. Вот и всё; дальше некуда уже ехать... А.Н.В., судя по всему, просто купил этот дом, тоже, как впоследствии в Лангедоке, за совершеннейшие, смехотворнейшие гроши; замечательно, однако, что, в отличие от лангедокского, ни перестраивать, ни даже, кажется, сколь бы то ни было основательно его обустраивать он не стал, глядя на него, следовательно, как на временное, хотя и пленительное, пристанище. Они здесь не жили, они здесь любили друг друга. Мария пишет об этой любви с откровенностью поразительной, как если бы она была не она, а восемнадцатилетняя девица, сгорающая в огне сексуальной революции, и на дворе был не пятьдесят второй год, а шестьдесят, к примеру, восьмой; не удивительно, что ее письма к ней возвратились. So we just did it in the car and then in the cabin, and I came three times consequently (twice with the clitoris and at the end with the uterus... it's a sort of a poem, isn't it?), screaming and biting him like a whore. Все же есть в этом некая институтская наивность, позволю себе заметить; никакая whore не кричит и не кусается в самом деле; разве что ей нужно сыграть бурную страсть, за дополнительную плату, понятное дело. Наивность не мешает иронии... Ее письма ироничны, часто печальны, даже после появления Alejandro. Все же видно, как она успокаивается; упоминаний о бессоннице становится все меньше; они сами все более ироничны (my famous, my beloved and cherished insomnia). Она была, похоже, от природы насмешница; смеялась, впрочем, скорее над самой собой, чем над другими людьми. И вот так твоя сумасшедшая однокашница (Your crazy school-mate) оказалась черт знает где, в обществе человека, которого она любит, которого совсем, по правде сказать, не знает. Его жизнь для меня как сказка, пишет она в другом месте, a sort of a fairy tale, я пытаюсь представить себе эту какую-то гражданскую войну в России, какой-то этот поход на Петроград с генералом, которого имени я не могу ни запомнить, ни выговорить, и, конечно, не в состоянии вообразить себе все это, эту страну, эту войну, хотя война-то, наверное, не так уж и сильно отличалась от наших здешних гражданских войн... Она все

же явно старается вообразить себе его прошлое, расспросить и еще раз расспросить его об этих сказочных войнах, сказочных странах. А как, наверное, отступало... и как вдруг приближалось к нему это прошлое, когда он рассказывал ей о нем, под завывание вечного ветра и потрескивание сучьев в той печке, которую, или в том камине, который он топил по вечерам на эстансии. Эта эстансия была, в сущности, как русская дача, просто Россия была уже где-то так далеко, как будто ее вообще не было, не было даже в том прошлом, о котором рассказывал он. В Буэнос-Айресе, с его православной церковью, монархическим клубом и газетой «Наша страна», Россия, по крайней мере – та погибшая, тоже была далеко, но все же она где-то была. Здесь ее не было, здесь она и вправду превращалась в *fairytale*, здесь только ветер гудел вокруг дома. Что ж ты, ветер, стекла гнешь, ставни с петель дико рвешь, повторял он, может быть, любимые когда-то стихи. Как мне милую чужому, проклятому не отдать... Милая была рядом, она сидела и смотрела в огонь, ей можно было все рассказать – по-французски – рассказать и о генерале Юдениче, и о балтийском ландесвере, и о Париже, занятом немцами, или рассказать ей о своем бегстве с родителями в январе девятнадцатого года из захваченной большевиками Риги в Митаву, на санях, в страшный холод и в тягучей толпе других беженцев, других саней и повозок, наползавших и наезжавших друг на друга, и о бегстве через несколько дней от большевиков еще дальше, в Либаву, вместе с какими-то, ему не запомнившимися, сослуживцами отца, какими-то офицерами, в товарном вагоне бесконечного поезда, незабываемом товарном вагоне, куда вдруг втиснулась вся веселая труппа разбитного немецкого варьете, еще так недавно развлекавшего в Риге утомленных войною солдат, и чем дальше они ехали, тем темнее, и веселее, и таинственнее становилось в вагоне, манящими огоньками вспыхивали зажигаемые в трепетной темноте папиросы, появилось вино, появилось даже шампанское, офицеры басили, актрисы возбужденно шушукались, притворно отбивались от ухаживаний, вдруг взвизгивали, и воркующим шепотом говорили неразличимое что-то, от чего офицеры басили все гуще, и хохотали все громче, и даже сослуживцы отца удовлетворенно побрякивали, и мать, в конце концов, завесила простынею угол вагона, чтобы он и, главное, его девятилетняя в ту пору сестра не видели

происходящего, но он все, разумеется, видел, он был уже взрослый, и когда сестра уснула, его с виду строгая мама, на самом деле, как он уже тогда догадался, готовая всех понять, всех простить, кроме себя самой, выйдя из-за своей занавески, тоже, к немалому их изумлению, вступила в разговор с юными дамами (junge Damen), после чего объявила, что они вообще-то хорошие, хотя, конечно, и непутевые девушки и что надо бы попробовать их всех выдать замуж в Либаве. А на промежуточных станциях немецкие солдаты, соблазненные революцией, продавали оружие каким-то темным личностям, и в самой Либаве делали то же самое, и если темных личностей поблизости не было, просто ломали его и бросали, о фонарные столбы разбивали свои карабины, и остановить их было невозможно, было некому остановить их, и он уже тогда хотел записаться в формировавшийся ландесвер, но родители увезли его, почти насильно, на пароходе в Мемель и дальше в Берлин, откуда через месяц все-таки убежал он обратно в Либаву. Все это можно было рассказать ей, и она смеялась, конечно, когда он рассказывал ей об актрисах в вагоне, и вдруг заплакала, когда рассказывал он, как в марте все того же девятнадцатого года они отвоевали Митаву обратно, но заложников освободить не успели и на другой день на рижском шоссе обнаружили схваченные морозом, с раскинутыми руками, трупы женщин и стариков, и еще стариков, и снова женщин, угнанных и по дороге пристреленных отступавшими красными, такое множество трупов, с такими зияющими глазами, провалами ртов, что он даже не пытался сосчитать их, валявшихся по обочинам, и кто их убирал и хоронил потом, он не знает, потому что вместе со всем ливенским отрядом отправлен был держать линию фронта по реке Курляндской Аа, той самой Курляндской Аа, которую, ниже по течению, еще почти в детстве, на лодке переплывал он, бывало, что строго-настрога запрещали им делать родители, со своим вновь обретенным другом, теперь живущим в Буэнос-Айресе, обещавшим скоро приехать сюда в Рио-Давиа, и они стояли там еще целых два месяца, на этой реке, поначалу еще замерзшей, так что и красные переходили на их берег, и они переходили, конечно, на тот, под началом подпоручика Тимофеева, человека безоглядной отваги, у которого и он, Алехандро, чему-то самому важному, может быть, научился, незабвенного, всегда курившего короткую

трубку подпоручика Тимофеева, в конце года, после крушения всех армий и всех надежд умершего в Нарве от тифа и ран, и прекрасную панику наводили в большевицких тылах, и вообще жили весело, на большом и богатом хуторе, привечаемые толстой хозяйкой, немало натерпевшейся за последние месяцы, и он никогда, наверное, ни до того, ни после того не испытывал такой братской и беззаветной близости сведенных судьбою в один отряд очень разных, но тогда и там, в том месте, в то время, и в самом деле, он полагает, готовых пожертвовать собой друг для друга людей. Можно было, еще раз, и даже нужно было, конечно, то есть ему нужно было рассказать ей все это, но можно было и ничего не рассказывать, можно было просто смотреть на нее, понимая, что ближе и дороже у тебя никого теперь нет и не будет, и что все же это другой, уже не чужой, или только вдруг чужой, ненадолго и вдруг отчужденный, но в конечном счете, как и все люди, все же навсегда загадочный для тебя человек. Ее надо было еще отвоевать у чужого, не у кого-то чужого и третьего, и даже не у воспоминаний об этом третьем, вернее – первом, об ее погибшей первой любви, но у чужого как такового, у злосчастной, извечной, проклятой чуждости мира. Она замыкалась в себе, леденела, словно схваченная своим собственным морозом, внутренним холодом, затем снова оттаивала. Что-то становилось вдруг между ними. Ему это было почти все равно, он знал, что это пройдет. Он вспоминал, наверное (с горькой нежностью, теперь, когда сам был счастливым...), бедную свою Нину, Нину, которая так хотела казаться еще более загадочной, чем была, а была, по сути, проста и понятна ему, с ее изломанными стихами и жаждой всесветного подвига... Еще и потому была, впрочем, понятна (так думал он, может быть, глядя, как горят, ломаются ветки в огне), что была все-таки русская, читала те же книги и росла на тех же преданьях. Нине не нужно было ничего рассказывать, она и так все знала о ливенцах. Здесь общих преданий не было, и отсчет времени приходилось начинать сначала, с вот сейчас, с вот этого вечера.

Есть две чудесные фотографии, уже пятьдесят третьего года, и даже не просто пятьдесят третьего года, но помеченные, рукою Марии, пятым – подумать! – марта 1953 года, фотографии, на одной из которых она, Мария, на другой же он, А.Н.В., стоят на фоне своей эстансии в почти одинаковых позах, с винтовкой, похоже, что – винчестером, в

правой и револьвером, похоже, что – кольцом, в левой руке, прямыми персонажами тех вестернов, которые ходили потом смотреть в деревенском и столичном синематографе. Пятого марта пятьдесят третьего года, следовательно, когда в России умер усатый упырь, и моя совершенно неспортивная мама бросилась плавать в какой-то проруби, не зная, что с собой сделать от счастья, они снимали друг друга в этих воинственных позах, в Аргентине, на другом краю света, и это так, в сущности, странно, что я смотрю и смотрю теперь на эти снимки, и не знаю, как мне справиться с моим изумлением. Широкий А.Н.В. (в закатанных светлых штанах и клетчатой, как будто ковбойской рубашке), сощурился шальные глаза, улыбается широко, покойно и ласково, Мария (вся в черном, в брюках и сапогах, с ковбойско-гаучским шейным платком), упирая приклад винтовки в лихо отставленное бедро, смотрит в камеру без улыбки, но с дерзкой и нежной усмешечкой в тоже сузившихся глазах, с выражением веселой готовности подстрелить любого *гаучо* и любого *бандидо*, который посмеет показаться поблизости. Этот винчестер и этот кольт – конечно, не игра и не прихоть (или совсем чуть-чуть игра – для нее); не прихоть и рыжая немецкая овчарка, с явным одобрением, задрал черноносую морду, глядящая на кольт и винчестер. Они старались, наверное, не думать всерьез о том, как долго смогут отстреливаться, если *гаучос* и *бандидос* действительно нападут; по-настоящему все-таки не боялись, видно, ни *бандидос*, ни *гаучос*; иначе не ездили бы на эту одинокую эстансию из года в год, с пятьдесят второго по пятьдесят, примерно, шестой, до самого рождения Вивианы и возвращения в Буэнос-Айрес, едва ли не каждые выходные. Машина, на которой они ездили, тоже видна отлично, на соседних снимках, большой и черный пикап Chevrolet образца, если я правильно понимаю, 1950 года и умопомрачительной, сказал бы я, красоты, с серебристыми, мощно-органными трубами радиатора и выражением фар, напоминающим, конечно, «Победу»; с победным видом и хлопает его по капоту Мария. Их никогда не видно вдвоем на этих снимках; никого, значит, не было рядом, чтобы снять их вдвоем; никого, ни одного человека, не видно и на бесчисленных морских фотографиях; кремнистый берег, пустынные волны. Видно, как играет свет на воде, как отражаются облака в ней; виден какой-то очень далекий мыс, загиб залива, пологие, тающие холмы;

видна овчарка, клички которой я не нашел в их бумагах, бегущая за своей палкой по мокрой гальке, по клочьям пены, оставленным волнами, или прыгающая, вся вытягиваясь в прыжке, чтобы уже вырвать, наконец, эту палку из рук смеющегося всеми своими благородно-собачьими складками Алехандро; видны, вновь и вновь, они оба, герои своей драмы, на своей сцене, А.Н.В. со счастливым лицом, Мария с развевающимися волосами, или с развевающейся косынкой, под которую она спрятала волосы; но больше никого, ничего, как если бы никого никогда и не было на этом берегу океана, как если бы они накануне открыли его, этот берег, эти холмы, этот мыс...; первые люди на еще невинной, временем и злобой еще не тронутой и не развращенной земле. В эти-то годы, если я правильно понимаю, он начал не только собирать камни, ракушки и обглоданные морем палки, столь позабавившие впоследствии марсельских таможенников, но и фотографировать все это, и палки, и ракушки с разнообразнейшими их завитками, многообразнейшими их загогулинами, садясь, небось, на корточки или низко нагибаясь над ними со своей «Лейкой», и какие-то ржавые цепи, какие-то, вообще, железяки неопределенного происхождения, неопределимого назначения, и просто гальку, просто песок, песок сухой и мокрый песок, следы волн, и водоросли, и морскую пену на этом песке, и кустики бледной, острой, склоненной ветром травы, и, вновь и вновь, тени, тени этой травы на песке, крошечные камушки и тени этих крошечных камушков, свою собственную тень, летящую тень Марии. Есть ни с чем не сравнимое, манящее и пугающее молчание фотографий, черно-белых в особенности, молчание, обнажающее, лучше – разверзающее ту пропасть между миром слов и миром вещей, о которой я писал уже выше, непроходимую, непобедимую пропасть между нашим миром слов и вечно чуждым нам миром вещей, ничего о нас не знающих, не отвечающих на наш взгляд своим взглядом. Вещи молчат, им не нужны слова. Молчат все эти ракушки, со всеми их завитками, эти следы, эти тени; молчат, покоятся в своем молчании эти ветки, эти загадочные ржавые железяки, эти железные лезвия бледных песочных трав. Даже люди на старых фотографиях, и на черно-белых особенно, выглядят застывшими в своей собственной тишине, в своем недоступном и неподвластном словам бытии... На

аргентинских снимках А.Н.В. таким глубоким кажется это фотографическое молчание, как если бы оно само было только частью, или только, да простится мне оксюморон, отзвуком того огромного молчания, в которое погрузился мир для фотографа и его единственной, с развевающимися волосами, модели. Здесь ничего еще не было, на этом краю земли, ничего еще не было ни сказано, ни написано, ни построено. Не здесь, но – отсюда можно было начинать строить мир заново, что он, собственно, и делал, возвращаясь (в воскресенье вечером, может быть, как с русской дачи, в сумерках или уже в темноте...) в Рио-Давиа, где в том же 1953 году, например, еще всюду строился мост, но уже, среди прочего, начинал строиться и университет, задуманный А.Н.В. наподобие стекляннокаменной гусеницы, сползавшей, повинувшись прихотям ландшафта, с одного из тех пологих холмов, про которые теперь уже нельзя было сказать, что они окружали город, поскольку, бурно разрастаясь в те годы, город, теперь уже вовсе не городишко, все вольней и решительнее раскидывался на них и между ними, в долинах, своими улицами, своими, Александром Воско спланированными кварталами, оставляя, как правило, не застроенными и, соответственно, не заселенными лишь вершины этих холмов, которые А.Н.В., при поддержке крепчайшие сигары курившего, на возражения крохоборческих комиссий плевавшего *intendente*, засаживал, пускай согнувшимися на ветру, но все-таки соснами, кремнистую поверхность между ними превращая в расчесанный граблями гравий с островами больших камней, валунов и утесов, на манер тех японских садов, которые он знал в ту пору по фотографиям, впоследствии изучал в Киото; рио-давские холмы, в результате, навсегда перестали быть мрачными, черными, нависающими над городишкой и готовыми пожрать его мифологическими существами, какими они выглядят на старых снимках до-воскобойниковой эпохи, но, прирученные, сделались частью созданного А.Н.В. одновременно искусственного и естественного ландшафта, ландшафта, как сам он пишет в одной из своих наиболее известных статей (*Mes expériences d'architecte à Rio-Davia, «Urbanisme», 1965*), уже не просто естественного, хотя и сохраняющего свои природные свойства и контуры, и все же не просто искусственного, не просто, как пишет он, городского, потому что приближенного к природе, из нее вырастающего или в нее

растающего обратно. Форма этих холмов, пишет он, их пологие склоны, их расщелины, их плоскости и уступы – все это не только предопределило форму нескольких, важнейших для его замысла, зданий, спускающихся с холмов, в частности и в первую очередь уже упомянутого университета, который тоже идет вниз уступами и одновременно – полукружиями, причем стеклянная его сторона, сначала и наверху вогнутая, затем выпуклая, затем опять вогнутая и затем опять выпуклая, так повернута, чтобы из всех, или почти всех аудиторий можно было увидеть, под разными углами и в дальней дали – океан, и только кабинеты сотрудников, среди которых, между прочим, оказался он сам, поскольку в им же построенном университете очень скоро начал читать лекции по истории архитектуры и вести занятия с мечтающими о продолжении его дела студентами, повернуты к склонам и соснам, – но форма этих холмов, пишет он, не могла, конечно, не отразиться и в двух, в свою очередь дополняющих друг друга и как бы рифмующихся друг с другом, для его замысла тоже весьма и весьма важных, внизу и в долине стоящих зданиях, получивших, следовательно, сходный с холмами, конусовидный облик, с плоской крышей, на которой, понятное дело, он не мог не разбить все такой же сад из камней, сосен и гравия; речь идет, как уже догадался читатель (*comme le lecteur a déjà deviné*), о Музее Естественной Истории и Музее Современного Искусства, строительство которых началось в следующем, 1954 году, уже, добавлю я от себя, после того, как А.Н.В. и Мария сыграли в Буэнос-Айресе скромную свадьбу (и потому, я полагаю, столь скромную – даже фотографий не сохранилась – что она не нужна была ни ей, ни ему, а нужна была ее родителям, родственникам, знакомым и налоговому инспектору; для них самих все было и так решено; спасибо за поздравления, пишет Мария своей давно замужней английской подруге, но, честное слово, *упрон ту word*, я предпочла бы на этот раз обойтись без светских и церковных вульгарностей; какое дело всем этим людям до моей жизни, а мне до их болтовни...). Это пристрастие к природным формам не помешало А.Н.В., разумеется (архитектор, как и всякий художник, дает себе правила, чтобы время от времени нарушать их, замечает он где-то), в одной из вьющихся и более или менее укрытых от ветра долин на дальнем, юго-западном краю Рио-Давиа, возвести, как выражается он, маленький лес

маленьких небоскребов (*un petit forêt de petits gratte-ciel*), замечательных, судя по фотографиям, своей разноростностью (деревья в лесу тоже не бывают ведь одинаковой вышины...); маленький лес стеклянных башен, отражающихся друг в друге, от девяти до тридцати этажей, общим числом, если я правильно считаю, семь; еще и тем замечательных, что каждая из них в горизонтальной проекции образует особенную фигуру, внезапный многоугольник, то вытянутый, то вдруг звездообразный, то вогнутый, так что они поднимаются в бурнооблачное патагонское небо, не сходясь ни с бутылками, ни с пеналами, как слишком часто сходятся, увы, небоскребы, но поднимаются и вырастают в это небо фантастически-геометрическими существами, очарованными игрой своих граней, своих отражений; их строительство, спланированное в 1954 и полностью законченное уже в начале шестидесятых, под наблюдением упомянутого выше Пабло Гассмана, с которым А.Н.В. познакомился и сдружился в эти аргентинские годы, лишь на время, если я смею судить, решило жилищные проблемы и в пятидесятые, и в шестидесятые годы все разраставшегося города; победить разраставшиеся вместе с городом окраинные трущобы А.Н.В., конечно, так и не удалось.

Intendente Belongo, Пабло Гассман, тогда еще совсем молодой, с живыми южными глазами – и больше я не вижу никаких персонажей в их рио-давской жизни. Одиночество им, по-видимому и наконец, надоело; с 1956 года все больше времени они проводят в Буэнос-Айресе; в 1957 окончательно туда возвращаются. К тому же все самое главное было в Рио-Давиа если еще не построено, то уже спланировано, задумано, начато; *intendente*, после свержения Перона начавший терять влияние, ушел в отставку, удалился на свою – настоящую, отнюдь не шуточную – эстансию, где и умер поздней осенью 1959 года, за несколько месяцев до отъезда своего *придворного архитектора* обратно в Европу. Куда уже давно не придворный архитектор поначалу, похоже, уезжать и не собирался, предполагая, по-видимому, вести свои все более международные дела – в 1958 году впервые летал он в Нью-Йорк, оттуда в Торонто – из любезного его сердцу, как в одном месте своих записок выражается он, Буэнос-Айреса, где у него было свое бюро, созданное, как кажется, не без помощи оставившей университетское преподавание, но и не желавшей

превращаться в мать, жену и домохозяйку Марии, которая, взяв на себя практическую сторону дела, переписку с заказчиками и заполнение налоговых деклараций, случилось все же, что и переходила на другую, солнечную сторону; так, во всяком случае, выражается уже цитированный мною выше Жан Лаваль, описывая, конечно, уже более поздние, парижские годы; вдруг, когда А.Н.В. уж слишком долго стоял перед каким-нибудь макетом, передвигая все одну и ту же стенку чуть-чуть вправо, затем чуть-чуть влево – а он, бывало, часами простаивал так, пишет Лаваль, не обращая внимания на то, что происходило вокруг, – становилась рядом с ним, сощуривала глаза и сладострастно, пишет Лаваль, почти развратно ухмыляясь, передвигала ту же стенку еще как-нибудь совсем по-другому, чего, разумеется, никто, кроме нее, сделать бы не решился. В бюро в Буэнос-Айресе царили, наверное, схожие нравы. Портрет совсем другого Лавалья висел в доме Марииных родителей, о котором (доме) я знаю только, что находился он (и находится; Вивианины кузены, племянники и дети племянников до сих пор живут там) на севере города, в том же районе Belgrano, где (несравненно более скромно, конечно) жил и Владимир Граве, недалеко от Avenida Sáenz, точно так же, как я почти ничего не знаю о самих этих родителях – А.Н.В. не пишет о них, от Вивианы же сколько-то внятных сведений об ее бабушке и дедушке я так до сих пор и не добился, как бы ни надоедал ей электронными письмами (вчера, сегодня, неделю назад). А.Н.В. упоминает лишь портрет другого Лавалья, генерала Хуана Лавалья, одного из героев (или злодеев) ранней аргентинской истории, тоже и в свою очередь переходившего с Сан-Мартинем через Анды, участвовавшего в неудачном перуанском походе, затем прогнавшего (и казнившего) одного губернатора Буэнос-Айроса с тем, чтобы самому быть изгнанным другим губернатором (еще большим злодеем) де Росасом и как-то очень страшно, очень глупо погибнуть на севере, недалеко от боливийской границы. Полагаю, что А.Н.В. занимала в первую очередь переключки имен; все-таки, срисовывая этот портрет в один из своих узких блокнотов – скуластое лицо с черной бородкой, эпические эполеты, аксельбанты, оргия орденов – он не мог не думать, наверное, как и я сейчас думаю, о прелести чужих преданий, очаровании чужой истории, истории, которая еще так недавно ничего не значила для тебя, с которой ты вдруг

вступаешь в неожиданные, почему-то волнующие тебя отношения; могу представить себе, с каким удовольствием слушал он рассказы своих тестя и тещи о бегстве какого-то легендарного предка вместе с этим генералом Лавалем в Монтевидео, откуда пытались они снова свергнуть набравшего силу де Росаса. Для Марии, во всяком случае, эти семейные предания явно значили больше, чем, может быть, она сама готова была признать; мы – унитаристы, несколько раз пишет она своей английской подруге; ты знаешь, как мы унитаристы (we, the Unitarians) относимся к военным варварам из провинции, так что уж лучше и не спрашивай меня об нынешней поганой политике; в послепероновской Аргентине все это, полагаю я, могло быть лишь ироническим анахронизмом, не совсем, наверное, понятным корреспондентке.

Вновь всплывает тема кафе, ни разу не звучавшая в Рио-Давиа, как если бы никаких кафе там и не было, а были только стройки в городе, и бесконечное сидение над чертежами, и бесконечное одиночество так называемой их эстансии, их пустынное море, их не тронутый миром берег. Конечно, и здесь работает он с утра до вечера, наверстывая упущенное, все же они находят время для той городской столичной жизни, от которой за пять лет успели, должно быть, отвыкнуть, которая тем большее удовольствие им теперь доставляет. Мария, никаких стихов не писавшая, не чужда была, я так понимаю, буэнос-айресским литературным кругам, с которыми связан был некогда ее первый, недолгий муж, критик и журналист; конечно, и в этой среде Александр Воско своим себя не почувствовал; он ни в какой среде не чувствовал себя, похоже, своим; все же литературные кафеинные сборища, горько и сладко напоминавшие ему русский Монпарнас (четверть века тому назад, в другой жизни), посещал охотно, временами спрашивая себя, должно быть, как мы все себя спрашиваем, когда думаем о тех, кого любили, кого потеряли, не смотрит ли на него сейчас Нина, откуда-то, вот из того окна, внезапным дождем залитого, как слезами, вон из того зеркала, подернутого патетической патиной. В его бумагах сохранились списки слов на *перевернутом языке*, который распространен, как я выяснил, в Аргентине, в столице особенно, почти так же, как распространен в Париже *verlan*; хулиганский и модный язык этот здесь называется *veste* – перевернутое *revés*, *наоборот*.

Кафе (café) превращается в fesa, начальник (patron) в tronpa, жара (calor) в lorca. Не Верлен, но Лорка здесь смотрит, значит, из-за угла... Все это прелестно, конечно, и не менее утешительной была для него возможность, после аргентинских литературных посиделок, после разговоров о Мартине Фьерро и его значении для современной словесности, о Виктории Окампо и о журнале *Sur*, перейти в другой мир, в свой мир, зайти к Владимиру Граве, к его второй жене, по-прежнему безымянной для меня, как и первая, боюсь, что навсегда уже для меня безымянной, в отличие от первой (см. следующую главу), но все так же отменно готовившей и борщ, и вареники, и солянку, и кулебяку, сыграть с Владимиром в шахматы, поговорить с ним о преднапряженном бетоне и об их лодочных экспедициях на реке Курляндской Аа. Все-таки они уехали, Мария и он, с трехлетней Вивианой, в шестидесятом году, угнетаемые, должно быть, беспросветной аргентинской политикой, маскарадною сменой хунт и диктаторов, из южноамериканской провинции стремясь в большой и свободный мир, совершенно так же, в сущности, стремясь в него, как он, Александр Воскобойников, тридцать лет тому назад стремился в большой мир из провинции родной и балтийской, с той, впрочем, разницей, что этот мир был теперь готов к появлению знаменитого архитектора, знаменитый же архитектор мог делать в нем, строить в нем что хотел, где хотел. Замечательно все-таки, что они выбрали Париж, не Лондон и не Нью-Йорк. Не думаю, что французское гражданство А.Н.В. сыграло какую-то роль в их выборе, скорее, кажется мне, их не общее парижское прошлое, у Марии недолгое, у Алехандро длительное, несчастливое, но, может быть, именно потому и звавшее его обратно, как если бы он хотел доказать себе и этому городу, что жизнь в нем может все-таки повернуться иначе, постаревшим, но победившим Растиньяком возвращаясь, значит, в Париж, смеясь, конечно, над собой и над этой мыслью, если она пришла ему в голову (не могла, наверное, не прийти), но еще и потому возвращаясь туда, я думаю, что как-никак у него там был сын, его чуждавшийся в детстве, десять лет им не виданный и вскорости сам уехавший, кстати, в Америку, но все-таки сын, начинающий архитектор.

Глава 14

Kommt, reden wir zusammen,
wer redet, ist nicht tot...

*Gottfried Benn*¹⁵

Большая выставка работ, чертежей, рисунков и фотографий Александра Воско, приуроченная к 110-летию со дня его рождения и организованная упомянутым выше, столь нелюбезным его дочери обществом его *друзей*, открылась в парижском Музее архитектуры в марте 2011 года; я, конечно, на это открытие съездил, благо в марте в немецких университетах каникулы между зимним и летним семестром. Там были известные, были и не известные мне чертежи, фотографии и рисунки; среди них замечательный, никогда мною прежде не виданный проект перестройки мюнхенского «Дома искусства», с приложением отпечатанного на машинке письма – не кому-нибудь, а прямо Францу-Йозефу Штраусу, тогдашнему (письмо датировано 1981 годом) баварскому премьер-министру, с которым А.Н.В., как из текста явствует, был знаком. Памятники тоталитарной архитектуры, не только нацистской, но и советской – о советской, впрочем, говорить еще рано, пишет он (в 1981 году...), так что поговорим о нацистской – эти памятники, по его мнению, сносить ни в коем случае не следует, тем более если речь идет о столь значительной и удачной – с чисто архитектурной точки зрения – постройке, как «Дом (немецкого) искусства» Людвиг Трооста; но и просто так стоять, посреди демократического нового мира, они, считает он, не должны. Их следует, по его глубочайшему убеждению, как-то так перестроить, чтобы ясно показать наше несогласие с ними, в то же время не уничтожая их эстетической ценности. Он очень рад, конечно, что в бывшем «Доме немецкого искусства», где нацисты устраивали свои чудовищные официальные выставки, теперь выставляют тот самый художественный авангард, который подвергался таким преследованиям в «коричневые годы», но само здание по-прежнему говорит на другом языке, грозном языке, и никакие, к примеру, плакаты, никакие

¹⁵ Поговорим друг с другом. Кто говорит – не мертв. *Готфрид Бенн*

рекламные вывески, с их кричащими красками, которыми руководство музея как будто пытается зданию ответить, своей цели не достигают, перекричать его не могут, а только уродуют его самым непростительным образом. Нет, здесь требуется решение радикальное, решение, которое сочетало бы в себе отчетливое политическое с убедительным художественным высказыванием. Такие здания должны быть отчуждены от своего первоначального смысла и замысла, своей исходной интенции, пишет он, используя немецкое понятие *Verfremdung*, которым обычно переводят формалистское «остранение»; термин, я полагаю, отлично ему знакомый. Он еще не пишет о «деконструкции», о которой, если я правильно понимаю, архитекторы заговорили только после знаменитой нью-йоркской выставки 1988 года (А.Н.В. на эту выставку уже не поехал, хотя устроитель ее, Филип Джонсон, и приглашал его очень настойчиво...); не пытается и описать свою идею словами, больше полагаясь, очевидно, на рисунки, вместе с письмом посланные им Штраусу; на рисунках этих шедевр нацистского зодчества является в стеклянной изломанной иронической оболочке – было трудно, в самом деле, удержаться от смеха, глядя на все это, – сквозь которую отлично видны и парадно-победительные колонны, и мощные плиты портика, и двери, предназначенные для арийского сверхчеловека, – оболочке, улетающий вверх, прямо в небо, точнее – в небо, но не прямо, а косо, так что воображаемая вершина ее, пункт схождения всех линий, оказывается уже не над самим зданием, а где-то сбоку, чуть ли не над протекающим по соседству буйным ручьем; стеклянные же – не колонны, но скорее пилястры, цитирующие и отражающие каменную колоннаду, тоже, соответственно, уходят вверх не прямо, а косо, и не параллельно друг другу, а стягиваясь, или стремясь стянуться, в пучок, не дорастая до воображаемой вершины, но в самом стремлении этом преодолевая, ломая торжественную тяжесть проступающего сквозь игру их граней оригинала... Ответ Ф.-Й. Штрауса, очень вежливый, был выставлен тоже. Он находит идею мастера в высшей степени оригинальной и остроумной и готов всячески содействовать если не прямо осуществлению ее, то, во всяком случае, ее плодотворному общественному обсуждению, без которого она, конечно, осуществлена быть не может. Все же инициатива такой дискуссии должна исходить от

городских властей, которым – конкретно: отделу культуры мюнхенского муниципалитета – письмо и рисунки уже переданы. С уважением etc. Что было дальше, не сообщалось, никто из присутствующих, ни Вивиана, ни Пьер Воско, не знал этого. Городские власти, похоже, предложением не вдохновились.

Я стоял и смеялся, действительно, глядя на эти рисунки, читая эту переписку с баварским правителем; я все же приехал скорее не ради экспонатов, сколь бы замечательны они ни были, а чтобы поучаствовать в процедуре, посмотреть на собравшихся. Я всех увидел там, в самом деле. Мой бесконечно дальний родственник М. превратился за прошедшие годы в легкого старого спортивного юношу, седого и в иронических морщинах на лбу и на подбородке; на вернисаж появился в кроссовках, в линялых джинсах (а я его видел в смокинге, четверть века назад), в сопровождении своего, как выяснилось, нового (они у него тоже сменяли друг друга) ami (об его склонностях и тогда уже догадаться было нетрудно), мексиканца (кажется) с кольцами на всех пальцах. Пьер-Поль застыл в своем мускулистом и жилистом сарказме; комиксами занимался по-прежнему; успеха по-прежнему не имел; зарабатывал на жизнь компьютерной графикой для какой-то большой фирмы (поганая работенка, boulot de merde, но что делать?); в остальном был таким же branché, таким же chébran, так же радостно следил за чужими faux-ras. Вивиана была, разумеется, вся в своих цепях и шарфах, вся, как прежде, заряжена электричеством моды, всех присутствующих целовала по два раза в щеку. Никому не было ни до ее моды, ни до нее самой никакого дела. Вообще никому не было дела ни до чего, ни до кого. Я подумал, что А.Н.В. постарался бы поскорее отсюда удрать, Мария тоже. Был, впрочем и как я понял, весь парижский, не только парижский, архитектурный beau-monde, архитектурный crême de la crême, вертевшийся, со всеми своими улыбками, восклицаньями, поцелуями, вокруг мрачно и неподвижно, в самом центре самого большого зала стоявшего твидового господина, с незажженной, но ядовито, на весь зал, вонявшей трубкой в зубах, величественными и едва заметными склоненьями яйцевидной головы и, соответственно, трубки (чубук которой казался как бы второй, уменьшенной его головою) принимавшего почтительные приветствия взыскующих славы

зодчих. Как, вы не знаете, кто это? воскликнула (негодующим шепотом) madame Chantal Vosco, отвечая на мой вопрос, это же сам (фамилию я тут же забыл), главный архитектурный критик *Times*... или (забыл тоже) *Herald Tribune*. Сам не подошел ни разу ни к одному рисунку, ни к одной фотографии, зато очень долго и милостиво беседовал с мужем madame Chantal, который, отдадим ему должное, всем своим видом, своими усами и жестами, показывал, что ему наплевать, у него есть замок, его интересуют грибы и вообще он слишком стар для всех этих игр; не дослушав критика, Pierre Vosco по-русски, довольно громко, предложил мне выйти на воздух, а то мы здесь, доложу я вам, задохнемся. Мы вышли, в самом деле, на воздух, весенний и синеватый; на ту террасу Трокадеро, откуда открывается пресловутый туристический вид на бессмертную башню, бесконечные крыши и всякий раз по-разному освещенные облака, и все японцы снимают всех других японцев на крошечные камеры и мобильные телефоны, и все бразильцы всех мексиканцев, и все русские, прежде чем сфотографироваться, становятся в очередь у белых будок за химическим хот-догом и прогорклыми блинами с вареньем. Вот здесь ваши папа и мама стояли в тридцать третьем году. Не совсем здесь, ответил Пьер Воско, здесь стоял старый дворец. Чуть ниже, у тогдашней, не существующей теперь балюстрады. Но так же смотрели на Эйфелеву башню, как мы теперь смотрим. Всего-навсего семьдесят восемь лет прошло с тех пор, большой человеческий век... Я подумал, что вот и его век кончается; постарался отогнать от себя эту мысль. И почему-то, вот это я помню точно, подумал о по-прежнему безымянной для меня дочери Владимира Граве, умершей в блокаду от голода. Ей тоже, подумал я, могло бы сейчас быть, как Пьеру Воско, лет семьдесят пять, семьдесят шесть... Понравился ли мне каталог выставки? тем временем спрашивал меня П.А.В. Он постарался включить в него как можно больше рисунков и рукописей отца, что, впрочем, теперь уже не так важно, поскольку они скоро будут опубликованы все, не все рисунки, конечно, но все дневники, наброски статей, отрывки воспоминаний; с Мишелем де Боттисом (здесь, да, присутствующим, да, он может меня с ним познакомить) проделали они огромную работу по расшифровке и приведению в порядок бумаг А.Н.В.; вы себе, наверно, представить не можете, как трудно разбирать его

почерк. Я мог, но предпочел промолчать. Я подумал, что он, скорее всего, и не знает, что Вивиана в свое время разрешила мне копировать эти бумаги, и что лучше ему оставаться в неведении.

Русская интеллигентная дама примерно моего возраста, невысокая, полная, стриженная, обратилась ко мне, когда мы снова зашли в музей. Как приятно, что кто-то говорит здесь по-русски; интерес к Александру Воскобойникову в России растет; будем надеяться, что и эта выставка приедет когда-нибудь в Москву, в Петербург. Она сама из Москвы? Нет, она из Петербурга, и нет, она не архитектор и не историк архитектуры, она просто интересуется всем этим. Она здесь в гостях у подруги... Лицо у нее было в легких веснушках, а речь и весь облик были так узнаваемы, так радостно и печально напоминали очень давнее прошлое, очень раннюю русскую юность, родной, покинутый и, конечно, не существующий более мир, что я чуть не предложил ей встретиться, к примеру, завтра, почему-то все же не предложил, и очень жалел об этом, возвращаясь после выставки и невеселого вечера, проведенного с Пьер-Полем и Вивианой в дорогом японском ресторане, к тем старинным друзьям, у которых в Париже всегда останавливаюсь.

Назавтра мы встретились с этой русской дамой в том же месте и в то же, или так мне кажется, время. Я поехал в Трокадеро, чтобы еще раз спокойно посмотреть выставку, без обнимающейся толпы, без качающих головами и трубками критиков. Толпа, впрочем, была, но не сравнимая с той, какая была накануне. В толпе мы с ней разминулись, столкнулись зато лицом к лицу в большой, на двух этажах, архитектурной книжной лавке при музее – наверное, одной из лучших архитектурных книжных лавок в Европе, – где я как раз купил автобиографию Луиса Салливана во французском переводе и собирался уже расплатиться, она же стояла у столика с разложенными на нем новинками, преграждавшего мне прямую дорогу к кассе. Мы оба рассмеялись, конечно. Ее зовут Марина, она совершенно случайно здесь оказалась, просто была рядом и решила снова зайти. Да, у нее есть время, и да, она с удовольствием погуляет со мной по Парижу. Я сначала рассказывал ей о себе, откуда мы спустились от Трокадеро к Сене; о ней самой я узнал, что она музыкант и преподает в консерватории, что происходит вообще из

музыкальной семьи, причем по женской линии, сказала она с улыбкой, уже ее мама и бабушка преподавали фортепиано, а бабушка и выступала когда-то с концертами. Говорить с ней мне было легко, и ей, похоже, со мною, как легко бывает говорить друг с другом мужчине и женщине, испытывающим быструю, взаимную и несомненную для обоих симпатию, но все-таки не влюбленных и как бы про себя уже решивших не влюбляться друг в друга; у Сены, когда мы перешли ее, окружила нас горластая группа явно восточноевропейских, румынских или албанских мошенников, помятых, потрепанных, краснорожих и красноруких, куривших, сплевывавших, хлопавших друг друга по плечу и по шее, подстерегавших туристов у Эйфелевки, мечтавших и нам что-то продать, у нас что-то выпросить, вообще поиметь с нас свой убогий профит; не без труда от них отделавшись, пошли мы в сторону моста и метро Bir-Hakeim, глядя на белые катера и темные лодки, покачивавшиеся на воде, черные ветки деревьев, высокие дома на другом берегу. Париж в марте мрачен, гол, сер. Поезд метро, пронесшийся по верхней эстакаде моста, как будто разбудил нас, еще не совсем оправившихся от борьбы с балканскими братьями; поезд, вылетающий на мост где-то в городе, всегда мне кажется явлением другого мира, намеком на какие-то иные возможности бытия. Вот по этому мосту Александр Воско, когда жил в Париже, каждый день ходил из дому в бюро и обратно. Она спросила меня, откуда я это знаю и не собираюсь ли писать его биографию. Не биографию, но какую-то, может быть, книгу о нем, о моем знакомстве с ним, о некоторых эпизодах его жизни, не упомянутых ни в одной истории архитектуры, известных мне, поразивших меня. Каких же? Мы сели в кафе на углу набережной и бульвара Гренель, кафе плохое, шумное, итальянское и проходное, примечательное, однако, тем, что из него по-прежнему виден мост, эстакада метро, Пасси и стеклянные, за эстакадой, дома. Веселый, но все-таки ужас был в ее сузившихся, совсем спрятавшихся за по-русски густо накрашенными ресницами, затем широко раскрывшихся карих глазах, когда я произнес имя Владимира Граве. Она имя это слышала с самого детства. Это, может быть, другой Владимир Граве, тот пропал без вести в начале войны. Это был, конечно, тот Владимир Граве, мы это сразу же выяснили, сличая даты и данные. Она смотрела на меня, и я

смотрел на нее. Мне тоже было и смешно, и немного страшно в этом итальянском, с зеркалами, кафе. Она должна начать издалека, говорила Марина, справившись с первым испугом, дую на капучинную пену (с выдавленным на нее шоколадным сердечком). Ее дедушка и бабушка были арестованы в тридцать седьмом, дедушка был тут же расстрелян, как впоследствии выяснилось, а бабушка вышла, удивительным образом, в тридцать девятом, в бериевскую обманную оттепель, если я понимаю, что она имеет в виду. Ее маме, когда дедушку и бабушку посадили, было девять, а когда бабушка вышла, соответственно, одиннадцать или двенадцать. Как звали маму, как звали бабушку? Маму звали так-то и так-то (я забыл как), она умерла в позапрошлом году, зимой. А бабушку звали так, как никого теперь не зовут – Серафима Станиславовна, вот как. И вот была подруга у бабушки, подруга по той музыкальной школе, где обе они работали, имя у нее было тоже запоминающееся, созвучное бабушкиному – у них была шутка, что потому-то и подружились они, – Софья Соломоновна, вот так ее звали. Да, вот именно так. Она считалась классической еврейской красавицей, Суламифью, а замужем была за партийным начальником, ходила в мехах и получала пайки из Смольного. Впрочем, недолго. Его-то первым и посадили. Потом посадили моего дедушку, потом мою бабушку. И когда посадили бабушку, рассказывала Марина, собирая ложечкой остатки капучиновой пены, эта Софья Соломоновна, Соня, Сонечка взяла мою маму к себе, хотя жила уже впроголодь, и ждала ареста, и воспитывала и кормила свою собственную дочку от первого брака. Которую звали – как же? Я уже понимал, о ком идет речь. Которую звали Ириной, Ирой, Ирочкой, все называли ее Иришей. Этой Ирише было тогда года три, а жизни ей было отпущено лет шесть, может быть, семь. Для моей мамы она навсегда осталась маленькой, вдруг обретенной, затем утраченной сестричкой. Вряд ли кто-то помнит или думает о ней на земле. Кроме нас с вами, сказал я. Нету даже ее фотографий, сказала Марина. А фотографии Софьи Соломоновны, тети Сони, у меня есть, да, конечно, есть фотография, где они вместе с моей мамой и еще двумя дамами стоят на фоне какого-то, кажется, водопада, похоже, что в Кисловодске или еще где-то, куда в тридцатые годы ездили отдыхать, покуда не отправлялись на Колыму. Софья Соломоновна там выглядит как

настоящая *femme fatale*, с отуманенными тайной скорбью глазами. А какой бесшабашной отвагой надо было обладать, чтобы взять к себе дочь врагов народа, при арестованном собственном муже, это вы понимаете. А что было бы, если бы ее саму посадили? Если бы ее саму посадили, так было у них условлено, мою маму забрал бы к себе Сонин первый муж, отец ее дочери, Ириши, Ирочки, Владимир Сергеевич Граве, инженер-строитель, пропавший без вести впоследствии, в начале войны.

Она смотрела по-прежнему на меня, и я смотрел на нее, ее глаза расширились, сужались за густо накрашенными ресницами. Ее мама прекрасно помнила этого Владимира Граве, дядю Володю, много раз рассказывала о нем. Он приходил к ним, заботился об Ирише, о Соне, наверное, все еще любил ее, она его не любила, или не могла простить, или, может быть, себя не прощала. Вообще была гордая, и помощь принимала неохотно. Детям он всегда приносил что-нибудь, какие-нибудь тогдашние сладости, тянучки, подушечки. Пакетик с подушечками и кулечек с тянучками. Мама в школе была первая по черчению и математике, лучше дяди Володи никто не решал задачки. Человек он был добрейший, очаровательный, с чудными шутками, которые мама на всю жизнь запомнила. *А младенцы идут спать*, говорил он в любое время суток, если дети шумели, или капризничали, или вообще *высказывали свое мнение*. Дети, понятное дело, его обожали; мама втайне была влюблена в него, как иногда во взрослых дядей влюбляются девочки... Бабушка, когда вышла из лагеря, рассказывала Марина, то ли не сразу вернулась в Ленинград, то ли вернулась, но жить ей было негде, во всяком случае моя мама еще долго жила у тети Сони, или даже они все вместе жили у тети Сони, в той коммуналке на Васильевском острове, где она оказалась после ареста своего второго мужа, начальника, или, может быть, бабушка с мамой куда-то от них уезжали, потом возвращались, этого я уже не могу сказать, говорила Марина, знаю только, что они все вместе провожали дядю Володю и на финскую, и на большую войну, что когда началась эта большая война и дядя Володя, призванный в самые первые дни, пришел прощаться, мои мама и бабушка при этом присутствовали, и что мама, уже почти взрослая, уже все понимавшая, навсегда запомнила спор и крик, которыми обернулось это прощание, потому что и Софья

Соломоновна, потерявшая мужа, и Серафима Станиславовна, потерявшая мужа и побывавшая в лагере, все-таки верили в *нашу* победу, а дядя Володя ни в какую *нашу* победу не только не верил, но, казалось маме, даже как-то не очень ее хотел, еще, как я теперь понимаю, в эти самые первые дни надеясь, что немцы будут воевать не против России, а в союзе с Россией против советской власти; надежды, заметил я, которые очень скоро развеялись у всех, у кого они были. Все-таки я не думаю, говорила Марина, что он с самого начала решил сдаваться. Мы не знаем, сказал я. А все-таки я думаю, что он шел на фронт, потому что не мог не идти, но и потому, что надо было идти. Начинается война – надеваешь шинель, берешь винтовку, идешь умирать. Эти его слова мама тоже запомнила. Еще она запомнила, как ругала себя и мучилась тетя Соня за то, что *так* простилась с ним, так бездарно, так глупо, что сама не сказала ему каких-то важнейших слов, тех слов, которые хотела и должна была сказать ему на прощанье. Почему Ириша и Софья Соломоновна остались в городе, я не знаю, кажется, Ириша заболела корью, и они пропустили транспорт, или еще что-то было такое, они не уехали. Когда мама с бабушкой вернулись из Ташкента, рассказывала мне мама, рассказывала Марина под итальянский грохот тарелок и разноплеменный шум туристических голосов, они пошли, конечно, в тот дом на Васильевском острове, а там, между прочим, теперь турагентство, где я покупаю билеты, когда лечу куда-нибудь за границу, вот сюда в Париж, неделю назад я была там, позвонили в ту коммуналку. Им долго не открывали. Появилась, наконец, злая, заспанная, вся насквозь пропахшая кухней соседка, рассказывала мне мама, узнала их, не желала разговаривать с ними. Вы там по эвакуациям прятались, а мы тут с голоду пухли. Потом все-таки смягчилась, отдала им какие-то, ей самой ненужные, видно, вещи, какие-то фотографии, какие-то рамочки без картинок, детский Иришин кошелечек, такой замызганный и потертый, что даже коммунальная алчность его презрела. Они обе умерли второй блокадной зимою, сначала Ирочка, потом Софья Соломоновна, говорила Марина, с уже слишком заметным влажным блеском в глазах, так что мне пришлось, я помню, сделать вид, что я смотрю только в окно, на проплывающую мимо толпу, и как жить, если в самом деле представить себе их смерть, если в самом деле представить себе, как они

питались мокрицами или пытались варить замазку оконных рам, ту замазку, которую дети любят иногда пальцами отколупывать от стекла, а потом уже ничего не пытались, просто лежали и ждали, когда умрут. А партийная сволочь в Смольном обжиралась икрой... Я никогда их не видела, говорила Марина, а все же для меня их смерть всегда была самой важной и самой страшной из блокадных смертей. Все ленинградцы потеряли кого-то в блокаду. Я потеряла женщину, которая спасла мою маму от детприемника, и девочку, которая для мамы была как сестренка, а вот теперь мы сидим с вами и говорим об этом в Париже, в итальянском кафе с видом на метро и на Сену, и это слишком странно, чтобы вполне быть правдой. А это и не вполне правда, сказала она помолчав. Это какой-то незаслуженный, чуть-чуть постыдный подарок. Все-таки немного совестно кататься в Париж и в Венецию после того, как твоему дедушке пустили пулю в затылок. Наше с вами место не здесь, а... где же? А хоть в «Сайгоне», она вдруг улыбнулась, где вы ведь тоже сживали, небось, в юности, когда приезжали из Москвы в Ленинград. Сживал, как же. Мы с вами там пили, может быть, кофе, бок о бок, или спина к спине, в каком-нибудь восьмидесят первом, восьмидесят втором году... В восьмидесят втором году как раз умерла моя бабушка, Серафима Станиславовна, сказала она на это. А Александр Воско как раз построил свой концертный зал в Гроссето, сказал я, и давал у себя в Лангедоке одно из самых интересных своих интервью, и возвратившись затем в Париж, ходил каждое утро пешком, уже восьмидесятилетний, через вот этот мост Bir-Hakeim, с его эстакадой. Я, собственно, в тот день, в том кафе, глядя на пролетающие по эстакаде вагоны метро, окончательно решил писать то, что теперь пишу, уже заканчиваю писать. Я чувствовал, что нахожусь в *его* мире, в мире смыслов и случаев, совпадений и соответствий, что мне нравится в нем находиться, но что справиться с веселым ужасом, счастливым страхом этого мира можно только превратив его в какие-то свои слова, свои фразы. С Мариной, столь неожиданно мне посланной, я не виделся больше, но продолжаю с ней переписываться; в тот день мы доехали с ней на метро – через все тот же мост Bir-Hakeim – до Триумфальной арки, где она пересела на другую какую-то линию, в толкливой спешке парижского подземного царства, я же – на RER, проходящую через Париж

электричку, чтобы доехать, наконец, до Nogent-sur-Marne, посмотреть в конце жизни и вместе с сыном построенные А.Н.В. виллы, уступчато-кирпично-стеклянные, впрочем, едва различимые за теми заборами, теми деревьями, за которыми, во всем мире, любят прятаться богачи.

Глава 15

Above the sea, the yet more shoreless day,
Riddled by wind, trails lit-up galleries:
They shift to giant ribbing, sift away.

Such attics cleared of me! Such absences!
*Philip Larkin*¹⁶

Есть вещи, о которых я хотел бы успеть подумать, прежде чем книга закончится. Его первый приезд в Париж и его туда возвращение. Его поездка в Аргентину в начале семидесятых, последняя встреча с Владимиром Граве, посещение Рио-Давиа. Его поздние записи; я еще не все из них процитировал, что процитировать из них следует... Он в первый раз приехал в Париж в каком-нибудь 1928 или 1929 году, я не знаю точно, и переехал в 1930-ом, женившись на Нине Саламовой. Он, значит, впервые попал в Лютецию в том же, примерно, возрасте, в каком я сам впервые туда попал; и как не вообразить себе теперь его путешествие из Риги, на поезде, с пересадкою, надо думать, в Берлине, в этом безумном Берлине 1928, допустим, года, так не похожем на тот темный и страшный, затем светящийся, но все равно страшноватый, через который я ехал шестьюдесятью годами позднее, в Берлине, где впервые оказался он в начале 1919 года, прежде чем убежать оттуда в Либаву, где бывал в двадцатые годы и просто так, и по дороге в Штутгарт, в Дармштадт и в Дессау, где на этот раз, наверно, не задержался, стремясь в места и страны, ему еще не известные; как, в самом деле, не вообразить себе его путь через Бельгию, в осенней дымке, вдоль мерцающего Мааса и горящих на солнце

¹⁶ Над морем еще более безбрежный день, наморщенный ветром, тянет озаренные галереи. Они сбиваются в гигантские ребра, затем развеиваются. Такие [небесные] мансарды, где меня нет! Такие отсутствия! *Филип Ларкин*

кирпичных домиков на другом берегу, мимо золотых холмов, загадочных замков – и как он сходит с поезда на Gare du Nord, где я сам сошел с поезда через шестьдесят лет и в начале этого сочинения, в последний раз столкнувшись при выходе с грузином-художником, забившим весь тамбур своими картинами, своими картонками, так что никто не мог протиснуться к двери, в последний раз метнувшим на меня грозный взгляд, когда я все-таки отодвинул одну из картонок, чтобы проститься с безликим проводником, с торжественно-государственным видом вытиравшим грязною тряпкою осаждаемый сажею поручень, и не без помощи от сажи освобожденного поручня спуститься, наконец, на платформу, где поджидал меня, вместе с другими знакомыми, мой бесконечно дальний родственник М., предложивший немедленно отправиться в соседнее с вокзалом кафе, чтобы я сразу и без отлагательств вдохнул парижского воздуха. В своих записях А.Н.В. несколько раз возвращается к теме утраченных иллюзий, обманутых надежд, несбывшихся ожиданий. После тридцати, пишет он в одном месте, жизнь грозит превратиться в рутину, из которой понемногу выпадает затем буква «т»... Дело здесь не только в тридцатых годах его жизни, но и в тридцатых годах столетия. Тридцатые годы были вообще ужасные, да и сороковые не лучше. Они были чудовищными для всех, не удивительно, что и для Володи, например, пишет он на одном из листочков, вложенных в папку с надписью «Вл. Гр.», для Володи, прошедшего через такие испытания, такую чашу испившего, но удивительно, что и для меня тоже с моей, в общем, благополучной судьбою; невольно начинаешь думать, что есть какая-то связь между твоей личной участью и судьбами мира, как если бы звезды вставали для всех так-то и так-то, благоприятно и неблагоприятно, благосклонно или неблагосклонно. Насколько же лучше были двадцатые годы, и для меня, и даже, наверное, для Володи, как бы трудно ни приходилось ему в царстве крестьян и рабочих... В шестидесятом году, когда Александр Воско вместе с Марией и капризничавшей Вивианой вернулся в Париж, мир стоял под благосклонными звездами, и его собственная жизнь стояла под ними же, и как, опять-таки, не попытаться вообразить себе этот второй приезд, их путь на поезде из Марселя, с молодым Петром Александровичем, все поглядывавшим, наверно, на мачеху, спокойно курившую свои

пахитосы, смотревшую в окно, думавшую, про себя улыбаясь, как повезло ей, что этому неожиданному, строгому пасынку уже двадцать пять, а не, например, пятнадцать, что он жить с ними не будет и что в сущности уже не очень важно, какие сложатся у них отношения. Мне все-таки хочется верить, что первые парижские дни они прожили в той биянкурской квартире, в которой П.А.В. еще так недавно жил с бабушкой Еленой Васильевной, после смерти мужа мучительно старевшей, но каждое утро надевавшей все свои дешевые кольца, когда-то привезенные из России, где еще так, по сути дела, недавно жил он и с дедушкой Петром Сергеевичем Саламовым, до последних дней правившим свои воспоминания о Мировой войне и Гражданской, о генерале Ренненкампе и злосчастном Бермондте-Авалове, о взятии Риги и крушении под Петроградом, до последних дней, в смысле фигуральном и буквальном, переставлявшим флажки на картах проигранных, никому уже не интересных сражений, в той очень скромной, с окнами на пыльную и шумную улицу биянкурской квартире, которой через пару, наверное, месяцев предстояло исчезнуть, поскольку никому она уже была не нужна, Pierre Vosco женился на своей буржуазной богачке, и уехал в Америку, и вообще ушел в другую, все более роскошную жизнь, а для его отца, мачехи и маленькой капризной сестренки, Вивианы, Вивианочки, как по-русски к ней обращался отец, квартира эта тоже, разумеется, не годилась. Все-таки она еще существовала, наверное, весной 1960 года, бедное эмигрантское окраинное жилище, с иконами в углу и фотографиями на стенах и на комод, вот, А.Н.В. говорил Марии, вот это мы с моим бывшим и будущим тестем в окопах под Калнецемом, на реке Курляндской Аа, а вот он, полковник Саламов, с генералом Юденичем, у них усы похожие, таким же торчком, это правда, а вот князь Ливен с его глубоко, словно пули, сидящими глазами, один из лучших, благороднейших людей на земле, вот подпоручик Тимофеев, научивший меня не бояться, а вот это Нина, конечно, такой была она, когда мы с ней познакомились. Красивая! говорила Мария, только здесь, в Париже и к собственному своему удивлению, начиная, может быть, ревновать его к тому прошлому, в котором ее, Марии, не было и быть не могло, которое там, в Буэнос-Айресе, там, в Рио-Давиа, на берегу безгрешного океана, было сказкой, здесь вдруг стало

реальностью. Да, красивая, говорила она, беря карточку в руки, всматриваясь в несчастливое нинино молодое лицо, в ее огромные, ложно загадочные, вправду отчаянные глаза, с этой карточкой в руках садясь за круглый белоскатертный стол, без всяких ромбов на сей раз, но на то же самое место, где Нина сидела когда-то, помогая шить своей матери, и слезы текли из ее огромных глаз по щекам, и вспыхивали на солнце, и она сама смеялась, стирая эти сверкающие слезы со щек, и тогда пятилетний Петя смотрел на нее из угла, как теперь смотрел на мачеху, думая, не отобрать ли у нее просто-напросто эту карточку, для него драгоценнейшую, и в то же время втайне очарованный, как же иначе, этой экзотической, Бог знает откуда взявшейся в его биянкурской квартире, красавицей. На другой день они отправились к фрау Шенк, бывшей компаньонке фрау Эльзы, как свою другую бабушку называл *Pierre Vosco*, никуда с ними, разумеется, не пошедший; и потом весь вечер бродили, наверное, вдвоем по Парижу, оставив Вивиану на попечение наскоро нанятой няньки, вспоминая, узнавая, не узнавая его, этот Париж, похорошевший и помолодевший с пятидесятого, еще послевоенного года, когда он, Александр, в последний раз был здесь, тем более с какого-нибудь тридцать восьмого или тридцать девятого, когда она, Мария, в последний раз здесь была, ходила по этим улицам, этим бульварам, и как, опять же, не попытаться вообразить их себе проходящими по *quai des Grands-Augustins*, мимо того места, того черного букинистического раскрытого ящика, возле которого безумная Нина кухонным ножом с деревянной ручкой, в классический кинжал превращенным молвою и прессой, заколола несчастного, ни в чем не повинного, во всем повинного капитана Вальтера Шликевица – и как, наверное, помедлил возле этого ящика, этих желтых книг и старых иллюстрированных журналов Александр Воско, большой и широкий, как, должно быть, прижалась к нему Мария, когда он объяснил ей, в чем дело, и как они прошли затем мимо той пиццерии, где вечность спустя и вечность назад познакомился я с Вивианой, и свернули в Латинский квартал, в котором не началась еще революция, но студенты в узких брючках и галстучках смотрели уже победителями, а в средневековых пыточных подвалах, где раньше не было вообще ничего, обнаружались ночные джаз-клубы, на афишах – Джон Колтрейн, и в толпе в переулках, за столиками в

ресторанах, за столиками в кафе, и затем на бульваре Сен-Мишель, и у Пантеона, где когда-то служил он, скучая службой, томясь чужими проектами, и в Люксембургском саду, и повсюду – новые лица, легкие лица, отбросившие прошлое, обращенные в будущее.

Время все-таки очень быстро идет по земле, да и звезды не медлят над нею. Последняя на земле и под звездами встреча Александра Воскобойникова с Владимиром Граве состоялась весной 1972 года, когда А.Н.В. и Мария впервые с 1960 приехали в Аргентину, за двенадцать лет вновь, наверное, превратившуюся для него – не для нее – в страну его снов, и вновь обернувшуюся реальностью, когда они сошли, на сей раз не с корабля, но с самолета, на незнакомом аэродроме, где встречали их ее родители, его друг Владимир, совершенно лысый, совершенно не изменившийся, все так же прелестно шутивший, через полгода задохнувшийся на Plaza de Mayo, в самом сердце аргентинской столицы и с разорванным сердцем, чуть ли не, как я вот только сейчас понял, сличая даты, в один из тех сентябрьских дней, когда в Мюнхене проходила олимпиада и баварские полицейские так бездарно пытались освободить израильских заложников, захваченных патетическими убийцами. Ни о чем об этом они не подозревали, конечно, но сидя, пишет Александр Воско на разлинованной поздней страничке, в одном из тех замечательных буэнос-айресских кафе, где сживали в пятидесятые годы (и мне очень хочется верить, что в том же самом, где был сделан уже описанный мною, давний и восхитительный снимок, на котором они словно играют в какую-то свою собственную, никому, кроме них, неведомую игру, и бармен в белом фартуке подливает в рюмку Граве прозрачное что-то...), плели, так пишет А.Н.В., прекрасные планы на будущее, в том смысле, что Владимир и его жена обязательно и наконец приедут к ним в Европу, к ним в Париж, к ним в Лангедок, а потом они все снова увидятся в Америке Северной, и не просто увидятся, но поскольку А.Н.В. должен был строить в Питтсбурге очередной небоскреб, Владимиру же Граве в его вообще-то замечательной и до сих пор благосклонной к нему фирме что-то слишком настойчиво стали вдруг намекать, что пора бы ему после семидесяти удалиться на пенсию, а он еще хотел работать, да и нуждался в заработке, то вот они и построят этот небоскреб

вместе, как строили некогда мост, – небоскреб, план которого (три башни, простых и прозрачных, прислоненных друг к дружке) А.Н.В. тут же, конечно, и нарисовал на салфетке. Бармен узнал их; был, похоже, и вправду обрадован; усы и брови его за двадцать лет поседел. Чем дольше говорили они о своих замечательных планах, глядя на все те же фотографии Хэмфри Богарта, Гарри Купера, небоскребы бутылок за стойкою бара, тем острее и определеннее, пишет Александр Воско, чувствовал он, что этого ничего не будет, что они не встретятся в Питтсбурге, что небоскреб он если и построит, то построит его один, или с Пабло Гассманом, или с Жаном Лавалем, что ни в Париж, ни в Лангедок Владимир и его жена не приедут, лангедокской башни его не увидят, все острее и определеннее чувствовал это, хотя, конечно, сам себе не мог объяснить почему, и Владимир был так весел, так рад видеть его и Марию, так смешно добивался и добился от бармена, чтобы тот заморозил водку, но не вздумал бросать туда лед, так сверкал стеклышками своих круглых очков, и лысина его так весело блестела под лампами, и так забавно рассказывал он об их приключениях на какой-то уругвайской реке, по которой взбрело им в голову, вместе с другой русской пожилой парой, не надо смеяться, плыть на сомнительных качеств лодке, качеств столь, как оказалось, сомнительных, что пришлось им, в конце концов, пристать на диком пустом берегу, где ничего не было, даже хутора с собакой, вообще ничего, так все это было чудесно и замечательно, а все же, пишет А.Н.В., ему хотелось – бежать, уйти куда-нибудь, возвратиться в гостиницу, и он не нашел, в конце концов, ничего лучшего, чем сослаться на банальную, неправдоподобную, всех удивившую и никого не убедившую, похоже, мигрень, и на другое утро они сами, Мария и Алехандро, отправились, в последний раз, в Рио-Давиа, где их принимали как возвратившуюся из изгнания королевскую чету, как возлюбленного монарха, пожаловавшего, наконец, к своим подданным, как любимую государыню, улыбающуюся журналистам, фотоаппаратам и телекамерам, но где слишком явственны, слишком горестны, пишет Александр Воско, были следы запустения, следы обнищания, трещины на им возведенных стенах, сорняки, и свалки, и заросли крапивы повсюду, и не расчесанный гравий в японских садах, и шалаши, и сараи в соседстве с его небоскребами,

так что они поспешили уехать оттуда, вернулись в Буэнос-Айрес, снова и теперь уже, в самом деле, в последний, самый последний раз встретились с Владимиром Граве, улетели по своим архитектурным делам в Сан-Паоло, возвратились в Париж.

В Питтсбурге, в 1973 году, состоялось, между прочим, знакомство А.Н.В. с Иваном Елагиным, преподававшим русскую литературу в местном университете. Знакомству предшествовала переписка, пару лет тому назад опубликованная в «Новом журнале». Дорогой Иван Венедиктович, возможно, мое имя небезызвестно Вам, возможно, Вы слышали его от моего друга Владимира Сергеевича Граве, с которым, я знаю, Вы обменивались письмами до самой его недавней, нелепой – невозможно смириться с ней! – смерти и который не раз рассказывал мне о Ваших выступлениях в тех дипийских лагерях в Мюнхене, где Вы с ним вместе «мыкались», как он любил выражаться. Позвольте, прежде всего, высказать Вам мое давнее и глубокое восхищение Вашими стихами! Многие Ваши строки помню я наизусть и так часто их про себя повторяю, что они уже сделались какой-то частью и моей жизни тоже... Глубокоуважаемый Александр Николаевич, отвечает ему Елагин, разумеется, Ваше имя знакомо мне, как может быть иначе! Но Вы совершенно правы, я впервые узнал о Вас из писем Владимира Сергеевича Граве в начале пятидесятых, когда Вы строили с ним – не сомневаюсь, что замечательный! – мост в Аргентине. С тех пор много утекло воды, и много всего совершилось на свете. А как я жалею, что не пришлось мне больше свидеться с Владимиром Сергеевичем, это Вы, наверное, понимаете сами. Необыкновенный и очаровательный был человек. Помню его в Мюнхене, на берегу бурливого Изара, с неизменной папиросой в красивой плотной руке, и как он объясняет своим спутникам устройство какой-то старинной плотины. Не то что спутники – даже спутницы слушали не отрываясь... В ответном письме Александр Воско цитирует особенно любимые им строки своего корреспондента («Как тогда я звал тебя на помощь – подойди, согрей своим плечом. Может быть, меня уже не помнишь? Мертвые не помнят ни о чем...»), попутно сообщая о времени своего предполагаемого прибытия в Питтсбург и о спланированной им и Марией, если строительные дела оставят им хоть сколько-то свободного времени, поездке на пароходе вверх по течению Мононгахилы –

само название звучит как поэма! – и посещения Мононгахильского национального парка, куда не столько он сам, пишет он, сколько его жена почему-то давно уже мечтает попасть.

Об этой их мононгахильской экскурсии сохранилась в бумагах А.Н.В. отдельная запись на отдельном листочке – одна из немногих датированных записей в его блокнотах и папках – причем запись, помеченная – подумать! – октябрём 1988 года, тем самым октябрём 1988 года, когда мы ели у его дочери несъедобное *pot-au-feu*, замечательный *tarte tatin*... Мы отправились в это маленькое путешествие с моим коллегой Роджером Стирлингом, пишет он, совсем, кстати, не родственником, просто однофамильцем Джеймса Стирлинга, *того самого* Стирлинга, но тоже очень неплохим архитектором, и его женой Джудит; парходик был очаровательный, колесный, вполне ностальгический; берега, уже тронутые осенью, отражались в тихой воде. Мы пошли потом в горы, с проводником, молодым и рыжебородым; чем выше мы поднимались, тем ярче, гуще делалась осень, золотая и рыжая; даже сосновые иглы на тропинке и между стволами были какие-то ярко-рыжие, особенно, конечно, на солнце. Виды были великолепные, далекие лесистые края, за ними еще края, и еще другие какие-то, уже совсем синие, в голубоватой и светящейся дымке, неподвижно стоявшей над ними. Мне все-таки было невесело; собеседником Стирлинг оказался сомнительным; об архитектуре мы все уже сказали друг другу на парходе; слушать его язвительно-вежливые препирательства с женой было скучно, да и противно. Противны были даже их новенькие, совершенно одинаковые ботсы и рюкзаки, нарочно купленные для этой поездки. И немного ревновал я, смешно вспомнить, Марию к этому молодому, с рыжей бородкой, проводнику, как-то уж слишком бойко болтали они друг с другом, и вообще все они, и Мария, и Роджер, и Джудит, были так сильно меня моложе, и такие были сильные, молодые, и я вдруг показался себе пятым лишним, докучливым стариком, которого эти молодые, сильные взяли с собой из милости, жалости и который плетется теперь позади, всех задерживая, всех раздражая. А мне ведь и было уже семьдесят два, и после этого я ни в какие горы, кажется, не ходил... Мне все это надоело, короче; я нарочно отстал от них, дал им уйти вперед. Мы поняли потом, что случилось; я свернул не на ту тропинку, на которую

свернули они; а места там дикие, и если заблудиться в них, то это может быть довольно опасно; у меня даже спичек не было при себе. Я ни о чем таком не думал, конечно, просто шел и шел дальше, а думал, что назавтра годовщина Володиной смерти, и повторял про себя бессмертное тютчевское *друг мой милый, видишь ли меня?* и вышел на какую-то поляну, скорее прогалину между высоких сосен, как будто янтарных на солнце, *вот тот мир, где жили мы с тобою*, и за этими янтарными соснами вдруг оказался песчаный, высоко и круто вверх уходивший косогор, с редкими кустиками колючей травы, отделенными друг от друга пустынной сыпучей стихией, и это так отчетливо напомнило мне ту дюну, тот, для какой-то русской царицы прорубленный проход между дюнами, что я не мог, конечно, не полезть по этой невозможной, в сущности, в таком отдалении от моря, непонятно как, без всякого моря, образовавшейся здесь дюне наверх, как мы полезли когда-то с Володей, и когда долез доверху, задыхаясь и с колотящимся сердцем, еще побродил среди сосен, в абсурдной надежде все-таки увидеть где-то там, с другой стороны холма, стальной солнечный блеск, зеркальную рябь прибоя, не увидел, лег навзничь, не на песок, на сей раз, но на длинные, мягкие, рыжие, прожженные солнцем, одуряюще пахнувшие смолой и хвоей иголки. И не только тот день мне вспомнился, когда мы лежали с Володей на песчаной поляне, но какие-то совсем ранние воспоминания вдруг пробились ко мне... откуда? Бывают минуты такого смягчения, такого расширения души (*einer solchen Erweichung und Erweiterung der Seele*), когда контуры времени вдруг начинают смещаться, сдвигаться, и мы уже сами не очень понимаем, в каком настоящем находимся. Это было, конечно же, как-то связано с подспудно нараставшей во мне тревогой, с подспудной мыслью, что я заблудился, что меня уже, наверное, ищут. Еще я гнал от себя эту мысль, еще говорил себе, что я сейчас спущусь на тропинку и встречу их, догоню их. Да и не до того мне было, слишком острым и радостным было ощущение какого-то другого времени, в котором я вдруг оказался. Может быть, я заблудился когда-то в детстве, в наших курляндских дюнах, кто знает?.. или может быть, когда я совсем был маленьким, меня забыли и оставили на какой-то сосновой прогалине, но все это уже было, все это уже было, и я не то что вспомнил эти иголки и сосны, а вдруг увидел их своими тогдашними

глазами, еще не научившимися смотреть на мир и деревья, вдруг так увидел их, как видел их в самом начале теперь кончавшейся жизни. Еще это был не я, еще не было у меня ни имени, ни судьбы, но уже я был, уже щупал руками это жаркое желтое солнце на иглах, эти густые синие холодные тени... Если приподняться на локте, виден был большой воздух за соснами, далекие кряжи, в голубой дымке, все так же светящейся. Время шло, а я лежал и лежал. Я вспомнил, как лежал на койке, по пути в Аргентину, кидаемый морем, и как вся моя жизнь проходила у меня перед глазами, под веками. Тогда она казалась чужой и мертвой жизнью, теперь была моей и живой. Я подумал, что все они живы по-прежнему, и тот отчаявшийся человек в паровой каюте, и даже тот забытый в лесу младенец, тот *пеленашка* (вдруг вспомнилось лесковское словечко; вспомнилось, рассмешило...). Сказать ли, что они живы, пока я сам жив, что они умрут со мною? Я знал в ту минуту, что это не так. Есть знание, которое мы после теряем, которое мы не можем, наверное, вынести, слишком большое, слишком тяжелое знание, не по плечу нам, несоизмеренное с нами... А все-таки я знал в ту минуту, твердо и окончательно, что никуда этот *пеленашка* не делся, что он жив, и всегда будет жив. Я увидел тех разных людей, которыми был когда-то, увидел, как если бы кто-то мне вдруг показал их – быстро-быстро, мне было в них незачем всматриваться, я и так прекрасно их помнил, – увидел мальчика с рисовальным блокнотом, ливенца на лошади, в германской шинели, молодого архитектора, мечтающего о Париже и славе, уезжающего зимою на дачу в Майоренгоф доделывать свой первый проект, выходящего на море, ослепленного ледяным блеском, снежными искрами. Никто из них не умер, я знал это невыносимым, мгновенным знанием, и мальчик жив, и ливенец, и молодой архитектор. И тот, кто бродил с Ниной по парижским окраинам, и тот, кто стоял в сорок девятом году на заплеванных ступеньках больницы, глядя на серое небо, каминные трубы, грязных голубей среди труб. А если все они живы, то и Володя жив, и мама жива. Володя меня видит, и мама на меня сейчас смотрит. Я не плакал, я лежал и смеялся. Были длинные белые, без завитков, но с отдельными комическими кляксами, росчерки на высоком и чистом небе над слегка, не в такт друг другу качавшимися янтарными кронами; иголки щекотали затылок и шею; по указательному пальцу полз муравей, рыжий и

вихлозадый; было лень, даже как-то жаль его скинуть; в конце концов я заснул, или, может быть, задремал, ненадолго, минут, наверное, на пятнадцать. А когда проснулся, увидел, что свет уже какой-то другой, косой, что небо бледнеет, и тут стало мне страшно. Лучше бы я остался лежать там, где лежал, они бы нашли меня сами. Но я-то думал, что они просто ушли вперед, и потому пошел дальше, спустившись по косогору, по неправильной тропинке, углубляясь в совсем уже дикие, как потом выяснилось, в стороне от всех дорог, всех туристских маршрутов расположенные места. Я понял, наконец, что иду не в ту сторону, моих спутников здесь не встречу. Но возвращаться назад сил не было, да я и не нашел бы дороги. Через какие-то я перебирался овраги, на какую-то залезал гору, в надежде увидеть оттуда жилье, дым костра, что-нибудь. Я подумал, что мне семьдесят два и что это совсем неплохой возраст для смерти. А в то же время и как бы по ту сторону моего собственного страха я по-прежнему знал, что все живы, все меня видят, и я не только сам видел свои прежние «я», и мальчика с блокнотом, и мальчишку на лошади, но я знал, что и они на меня сейчас смотрят, идут вслед за мною. А вместе с тем продирался через колючки, раздирал в кровь руки, пытался кричать, выбивался из сил. Пошел совсем темный лес, моя гибель. Солнце давно уже село, стало холодно, лес, когда я остановился, прислушался, оказался полон ночными шорохами, хрустами, уханием невидимой, ничего хорошего не возвещавшей мне птицы. Я снова лег на сосновые иглы. Я подумал, что если выживу, построю здание, в котором соединялись бы конец и начало чего-то... жизни... я не мог мыслить ясно, но ясно вдруг такое здание увидел, символ рождения и символ смерти, яйцо. Я опять лежал и смеялся. Я вспомнил, конечно, не мог не вспомнить Ледуксов шар, в каком-то смысле – начало всей современной архитектуры, начало утопии. Но шар – мертвый, а яйцо – живое, думал я уже в темноте, по ту сторону своего страха, яйцо – это всеединство, это жизнь в свернутом виде, в вечности, полнота жизни, еще не начавшейся. Мы разбиваем его, когда рождаемся; начинается история, начинается время; мы возвращаемся в него, когда умираем. А вместе с тем, когда мы умираем, мы тоже словно разбиваем яйцо, вот эту твердь, уже ночную и грозную, разрываем время, возвращаемся в вечность. Я построил потом такое здание, пишет А.Н.В., имея в виду, как легко догадаться,

Музей современного искусства в Осаке, одно из своих самых знаменитых, самых смелых, безудержных и безумных творений; было все-таки слишком темно и страшно, чтобы доставать блокнот и рисовать в нем что бы то ни было, пишет он дальше, но так отчетливо видел я ту волнистую, наискось уходящую вверх линию, которая отделяла бы от верхней стеклянной части нижнюю бетонную часть этого зданья, как будто лежащего на боку, клонясь к земле узким конусом, так отчетливо видел стеклянный же павильон за деревьями, из которого подземный ход вел бы в здание, так что никакая дурацкая лестница, дурацкая дверь не нарушала бы его совершенной формы, его законченной яйцевидности, так отчетливо видел все это, что блокнота мне уже и не нужно было. Нужно было только выжить, выйти и выбраться из этого леса. Еще я не хотел умирать, еще хотел кое-что построить. Ноги уже почти не слушались меня, воды не было. К утру я вышел на какую-то дорогу, совершенно пустынную; фермер, меня подобравший на своем пикапе, был седой ворчливый старик с красной складчатой шеей и отвратительным, вверх-вниз бегавшим кадыком, похожим на маленького злого зверька; всю дорогу до поселка он меня отчитывал за то, что я посмел заблудиться; все же дал мне выпить виски из старой погнутой фляжки. А пикап был совсем как наш аргентинский. Мария, минут пять, наверное, бившая меня в грудь кулаками, в гневе и горе, что-то ни мне, ни, наверное, ей самой не понятное кричавшая по-испански, потом рыдая рассказывала, что когда они хватились меня, искали и бегали, и после, когда вызывали спасателей и ждали вертолета, ждали рассвета, что все это время она твердо знала, последним знанием, непререкаемым знанием, что я упал в овраг и разбился, что споткнулся о корень, ударился головой о ветку, что они никогда меня не найдут, и если никогда не найдут, то она улетит в Аргентину и застрелится из спрятанного там револьвера.

Прошлой – теперь уже прошлой – осенью, когда я решил, наконец, писать то, что пишу, то, что теперь уже – заканчиваю писать, я уехал, как было сказано выше, в любимый Мюнхен и, сочиняя первые главы, набрасывая дальнейшие, ходил там две, затем еще две блаженных недели из одного кафе в другое кафе, из шумного «Венского кафе» на Венской же площади, вдоль Изара, через мост, мимо не охваченного стеклянной

оболочкой бывшего Дома немецкого, теперь просто искусства, через Хофгартен, Дворцовый сад в сыгравшее столь большую роль в моей жизни и в моей предыдущей книге («Город в долине») кафе «Аннаст» на углу Одеонсплатц и Людвигштрассе, где мы сидели когда-то с моим дорогим другом Павлом Двигубским и где случилось с нами одно комическое приключение, оттуда, через Дворцовый же сад и Английский, в студенческое кафе на выходе к университету, где за низенькими столиками сидят студентки-блондинки и студентки-брюнетки, студентки пухленькие и студентки-худышки, умные студентки в круглых очках, читающие Ханну Арендт, Вальтера Беньямина, и студентки-дурехи, в искусственном возбуждении кричащие что-то о семинарах и вечеринках, рефератах, каникулах, неудобствах железнодорожного сообщения с Берлином, прочих атрибутах своей жизни, которую уже так трудно принять всерьез взрослому дядьке, склоняющемуся над клетчатой тетрадкой посреди их глупого гомона, оттуда, по кленовой аллее, в Баварскую государственную библиотеку с ее огромными окнами, где, между прочим, отсканировал я в эти сентябрьские дни прошлого, теперь уже прошлого года, любопытнейшую, в Германии только в двух экземплярах, в Берлине и Мюнхене, имеющуюся книгу «Памятка Ливенца» (Рига, 1929), попечением и на средства светлейшего князя изданный сборник воспоминаний и документов, относящихся к его отряду, боям, походам, трагическому финалу войны, – для меня источник ценнейший, – из библиотеки же куда-нибудь на Шеллингштрассе, в английскую чайную или в *News Bar*, наконец – на *Münchener Freiheit*, чтобы на маленькой, едва намеченной стечением трех улиц площади – и совсем рядом с тем местом, где мы стояли когда-то с Петром Александровичем Воскобойниковым, наблюдая за поведением, падением свайного молота, за голоруким рабочим в кабинке (и где стоит теперь что-то очень плоское, очень стеклянное...) – закончить свои блуждания в новом, модном кафе *Wedekind* или, наоборот, в затрапезном *Drugstore*, более всех других мюнхенских кафе похожем, наверное, на те буэнос-айресские, в которых герои мои сживали когда-то, – кафе, не только тем примечательное, что сохранилось с, кажется, семидесятых годов со всеми своими аксессуарами, вентиляторами под потолком, блестящей, лаковой обшивкой стен,

зеркалами, золочеными столбиками, упертыми в потолок, и возвышенностью, вроде эстрады, отделенной этими столбиками от остального зала, хотя и обставленной такими же диванами, такими же стульями, но и тем еще примечательное, что сохранилось как будто и со своими посетителями все с тех же семидесятых, не потому что модные мюнхенские люди туда не заходят (они заходят туда, разумеется; Швабинг сам по себе – модное место), но потому что преобладают все же совсем немодные, пожилые, затрапезные завсегдатаи, с утра пьющие пшеничное пиво у стойки или поедающие (как обыкновенно и я это делаю) баснословно дешевый (пять евро, включая чай или кофе; по выходным дням, может быть, шесть...) и потому сомнительный завтрак с неизменным набором кислой копченой колбасы и печального, с мыльным привкусом, сыра; тем еще, наконец, примечательное кафе, что в глубине его, напротив эстрады, имеется табачно-газетно-минерально-водный киоск с неизбежной россыпью «Сникерсов» и вертящеюся витринкою, где случайный путешественник может выбрать себе на добрую память открыточку с лакированными видами Мюнхена, с двуглавой Фрауенкирхе, сияющими вершинами баснословных далеких Альп, пышногрудыми баварками, если ему угодно, в псевдонародных платьях, с пивными пенными кружками, выставленными вперед как орудия, призванные защитить их драгоценные декольте от посягательств похотливых приезжих, – киоск, тоже какой-то исторический, доисторический, мимо которого ведет наверх загибающаяся, лысовато-ковровая лестница с разложенными на ней рекламными буклетами, анонсами грядущих спектаклей: наверху, в самом деле, имеется театр – театрик – опереточно-водевильного типа, где никто из моих мюнхенских знакомых, кажется, ни разу и не бывал, так что все они лишь распахивают глаза, когда я заговариваю с ними об этом храме невзыскательной Мельпомены, неутонченной Талии, и где сам я однажды все-таки был, в середине девяностых годов, – не потому что меня могло хоть сколько-то заинтересовать сомнительное представление, которое в тот, теперь уже очень далекий вечер, давал там сомнительный мим, немолодой и в себе не уверенный, при помощи накладного бюста, намалеванных губ, педерастической походки и вульгарной воркотни пытавшийся изобразить легких нравов девицу, затем еще какую-то, возмущенную,

женщину, – но потому что меня влек и волновал сам театрик, с его немногими рядами пыльно-бархатных кресел, сценой без занавеса и затхлым запахом из-за кулис, театрик, в заброшенной своей затрапезности пугающе-радостно напоминавший мне тот, мною придуманный, театр на маленькой площади (где-то в неправдоподобной, мной тоже придуманной, в общем, Москве...), в котором, в моем первом, в начале девяностых годов как раз и законченном мною романе («Макс»), происходят разные, тоже не очень правдоподобные, события и спектакли... Мне кажется теперь, что все это было не совсем со мною, что это не я сидел здесь в 1995 году, пораженный тем, что вдруг нашел наяву тот театр, который так долго мне грезился, – и где нашел его! – в Мюнхене! – и не я писал этот роман, и не я говорил о нем с Александром Воско во время единственной нашей встречи, после Вивианина несъедобного pot-au-feu, и даже не я проходил здесь осенью 2007 года вместе с Петром Александровичем Воскобойниковым, ни за какие коврижки не согласившимся бы, наверное, заглянуть в такое кафе. Его отец был прав, мы состоим из разных, друг друга сменяющих персонажей... Прав ли он был и во всем остальном, вот, конечно, вопрос всех вопросов...

Прошлой, как бы то ни было, – теперь уже прошлой – осенью, скажу еще раз, когда я начал в Мюнхене писать то, что сейчас заканчиваю писать, и по спокойно-солнечному, празднично-прозрачному городу ходил из одного кафе в другое кафе, спектаклей в этом затрапезном театре, если память не изменяет мне, не было – то ли сезон еще не начался, то ли театрик совсем захирел, – не было даже репетиций, зальчик, в который заглядывал я, поднимаясь на второй этаж в сомнительной чистоты туалет, стоял пустой и пыльный, со своими немногими креслами и забранными черной глухой материей окнами; однажды, спустившись оттуда вниз и уже собираясь позвать китаянку-кельнершу, заплатить и уйти, обнаружил я за почти соседним столиком, отделенным от меня сплошной и высокой спинкой дивана, вытянутого по краю эстрады, двух человек, молодого и старого, отца, похоже, и сына, перебиравших большие бумаги, планы и сметы, произносивших слова слишком архитектурные, чтобы я мог уйти, не попытавшись подслушать их разговор. Связи целого было все же не уловить. Речь шла о каких-то балочных конструкциях

(Balkenkonstruktionen), каких-то стальных ригелях (Eisenträger), каких-то кирпичных круглых опорах (Rundpfeiler, gemauert), о какой-то деревянной опалубке (Holzverschalung). Подсчитывалось рабочее время, за которое, видно, предстояло платить заказчику. На балочные конструкции ушло у них семьдесят пять часов, на снос старых стен пятьдесят. Они сами, похоже, не знали сколько на что. Запишем пятьдесят, говорил сын. О'кей, отвечал отец. Отец сидел, увы, спиной ко мне, сын лицом. Сын был лыс, широк и плотен, в тяжелых очках и в белой майке «поло» с расстегнутым воротом; чуть-чуть похож был, пожалуй, на Филипа Ларкина, одного из любимых моих поэтов. Отец был совершенно сед, нисколько не лыс. Сын смотрел в свою смету, отец, казалось мне, на сына и сквозь него, сквозь окно, на прохожих, машины и облака. Затем вошли и сели с другой стороны от меня, слева, на той же эстраде, где сидел я сам, молодая женщина и старик, очень стройный, узкий, в черном костюме и серо-сиреневом матерчатом шарфе, повязанном, как теперь модно, то есть сложенном пополам и продевом двумя концами в таком образом созданную петлю; девушка была блондинка, не совсем настоящая, с проступающими сквозь белые пижонские пряди обыкновенными русыми волосами; на ней тоже был черный костюм; белая блузка под ним; и в лице та легкая детская припухлость, та расплывчатость, думал я, на нее глядя, которая любую молодую женщину делает, в общем, хорошенькой, исчезает, однако, с годами, и вот только тогда выясняется, хорошенькая она или нет. Она, похоже, брала у него интервью; на столике перед нею лежал диктофон. Впрочем, она молчала, он сам ей все рассказывал, что хотел рассказать, привычно, казалось мне, владея разговором и темой, она лишь почтительно поддакивала ему. О какой-то академии шла речь, я не сумел расслышать какой, о шестидесятых годах, годах его юности, о каких-то первых публикациях в каком-то не существующем больше журнале. Появился кофе, принесенный кельнершей-китайкой. Его узкие руки двигались уверенно, очень красиво; нос был резкий, с горбинкой; от носа вниз шли длинные складки, словно в скобки бравшие рот и все, что он говорил; глаза сощуривались в надменные, насмешливые, нежные щелочки. Я расплатился с китайкой и вышел на солнце, на улицу. Я никуда не собирался уезжать в тот день. Все-таки я шел к Английскому саду, к его

высоким кронам и небу над кронами, с ясной, абсурдной, ни к чему не относящейся, по ту сторону всех других мыслей и впечатлений звучавшей во мне мыслью, что я не могу здесь задерживаться, но должен еще поспеть на какой-то поезд, уходящий когда-то куда-то откуда-то, и что если я очень постараюсь, то, наверное, сумею вспомнить, откуда и куда он уходит, сумею вспомнить, если очень постараюсь, когда.